КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1931

АВГУСТ

КНИГА
ВОСЬМАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ'ЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

АВГУСТ

№ 8

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

«Мосполиграф»,
13-я типо-цинкография
«МЫСЛЬ ПЕЧАТНИКА»
Москва Петровка 17.
Уполн. главлита
№ Б—7608
Тираж 15000.
Зак. № 1840.

Право первой постановки принадлежит театру им. Мейерхольда

Список благодеяний

Посвящаю

Ю. Олеша

I. Пролог

В театре давали «Гамлета». После спектакля состоялся диспут. Диспут закончился. На сцене король Клавдий, королева Гертруда, Горацио, Лаэрт и Гамлет. Гамлета играет Елена Гончарова (Леля). Она в ботфортах и с рапирой в руке. На первом плане обыкновенный столик, крытый красным. Председательствующий — директор театра Орловский.

Орловский *(звонит)*. Диспут по поводу постановки «Гамлета» закончился. Теперь артистка Гончарова, как режиссер спектакля и исполнительница главной роли, ответит на записки. Пожалуйста, товарищ Гончарова. *(Протягивает ей пачку.)*

Леля *(читает первую записку, вторую читает)*. «Вы уезжаете за границу? На сколько времени?» — На один месяц я уезжаю. «Эта пьеса, которую нам показали — «Гамлет» — очевидно, писалась для интеллигенции. Рабочий зритель ничего в ней не понимает, это иностранщина и дела давно минувших дней. Зачем ее показывают?» — «Гамлет» — лучшее из того, что было создано в искусстве прошлого. Так я считаю. По всей вероятности, никогда русским зрителям показывать «Гамлета» не будут. Я решила показать его нашей стране в последний раз. *(Перебирает записки.)* Так. Дальше читаем. «Вы играете Гамлета, то есть мужчину. А по ногам видно, что вы женщина». — Судя по суровости оценки внешнего рисунка роли, писал беспартийный рецензент.

Орловский звонит.

Леля. «Вы знаменитая артистка, хорошо зарабатываете. Чего же вам не хватает? Почему же на фотографиях у вас такое беспокойное выражение глаз?» — Потому что мне очень трудно быть гражданкой нового мира.

Орловский звонит.

Леля. В чем дело? Я что-нибудь сказала плохое?

Орловский *(к публике)*. Товарищ Гончарова выражается в духе тех монологов, которые только что декламировала когда играла Гамлета. *(К Леле.)* Отвечайте проще.

Леля. Каждую мою фразу вы сопровождаете звонком колокольчика. Можно подумать, что мои фразы похожи на овец. Разве я блею?

Орловский. Продолжайте пожалуйста.

Леля. «Что вы будете делать за границей?» — Ну, что ж... по специальности... ходить в театры, знакомиться с артистами... смотреть знаменитые кинофильмы, которых мы никогда не увидим здесь.

Орловский *(звонит)*. Товарищ Гончарова слишком высокого мнения об иностранной кинопродукции. Наши фильмы, как, например, «Броненосец Потемкин», «Турксиб», «Потомок Чингисхана», завоевали себе полное признание в Европе.

Леля. Можно продолжать? *(Читает.)* «Зачем ставить «Гамлета», разве нет современных пьес?» — Современные пьесы схематичны, лживы, лишены фантазии, прямолинейны. Играть в них — значит терять квалификацию. *(К Орловскому.)* Можете не звонить, товарищ Орловский, я знаю, что вы хотите сказать. Да, да, — это мое личное мнение.

Орловский. Я и не звоню. Пожалуйста.

Леля *(читает).* «Как сделаться артистом?» — Чтобы сделаться артистом, надо родиться талантливым.

Орловский *(нервно).* Сколько еще записок осталось?

Леля. Немного. *(Прочла записку, разорвала, читает.)* «В эпоху реконструкции, когда бешеный темп строительства захватил всех, противно слушать нудные самокопания вашего Гамлета». — Товарищ Орловский, хватайтесь за колокол. Я сейчас скажу крамольную вещь. *(К публике.)* Уважаемые товарищи! Я полагаю, что в эпоху быстрых темпов художник должен думать медленно.

Орловский *(звонит).* Одну минуточку, товарищи... То, что высказывает товарищ Гончарова, есть ее личное мнение... Что касается театра нашего в целом, то мы не во всем согласны с артисткой Гончаровой. Это, так сказать, в дискуссионном порядке... Продолжайте, продолжайте...

Леля. Последняя записка. *(Читает.)* «Мы просим еще раз прочесть монолог Гамлета, где он говорит насчет флейты». — Вот я уж не знаю, что делать.

Орловский. Прочтите.

Леля. А где Ильин? Тот, кто играл Гильденштерна. Он не разгримировался еще? Коля!

Гильденштерн. Я здесь.

Леля. Ну, что ж, сыграем по желанию публики?

Гильденштерн. Давай.

Играют.

Леля-Гамлет. А, вот и флейты. Дай-ка сюда одну. Вы хотите отвести меня в сторону? Да что это вы все около меня вертитесь, точно выслеживаете и хотите загнать в западню?

Гильденштерн. Если, принц, я слишком смел в усердии, то в любви слишком назойлив.

Леля-Гамлет. Я что-то не совсем понимаю. Поиграй-ка на этой флейте.

Гильденштерн. Я не умею, принц.

Леля-Гамлет. Пожалуйста.

Гильденштерн. Поверьте, не умею.

Леля-Гамлет. Очень тебя прошу.

Гильденштерн. Я не могу взять ни одной ноты.

Леля-Гамлет. Это так же легко, как и лгать: наложи сюда большой палец, а остальные вот на эти отверстия; дуй сюда, и флейта издаст самые прелестные звуки. Видишь, вот дырочки.

Гильденштерн. Но я не могу извлечь из них ни одного звука; у меня нет уменья.

Леля-Гамлет. Ну, так видишь, каким вы меня считаете ничтожеством. Вы хотели бы показать, что умеете за меня взяться, хотели бы вырвать у меня самую душу моей тайны; хотели бы извлечь из меня все звуки — от самого низкого, до самого высокого. А вот в этом маленьком инструменте много музыки, у него прелестный звук — и все же вы не заставите его звучать. Чорт возьми! Или вы думаете, что на мне легче играть, чем на дудке! Назовите меня каким угодно инструментом. Хоть вы и можете меня расстроить, но не можете играть на мне.

Леля. Ну, вот и все. Никто не аплодирует. Ну, что ж. Кончайте диспут, товарищ Орловский.

Падает к ее ногам записка.

Леля *(поднимает и читает.)* «Что было написано в записке, которую вы порвали? Ответьте честно». — В этой записке был задан мне вопрос, вернусь ли я из-за границы. Отвечаю честно — вернусь.

Конец пролога.

Сцена вторая

ТАЙНА

В комнате Лели Гончаровой.

Вечером состоится прощальный прием друзей. Подруга Лели Катерина Семенова (актриса того же театра, старше Лели лет на десять) принесла закупленное. Обе хлопочут, приготовляя угощение.

Леля. Я уезжаю завтра. Ключ от комнаты передается вам, Катерина Ивановна. Заходите иногда снять паутину с моего Чаплина. *(На стене большой портрет Чаплина. К портрету.)* Чаплин, Чаплин! Маленький человек в штанах с бахромой. Я увижу твои знаменитые фильмы. Катя... я увижу «Цирк» и «Золотую лихорадку». Весь мир восторгался ими... Прошли годы... а мы до сих пор не видели их.

Семенова. Режь яблоки. Крюшон будем делать.

Леля. Я приеду в Париж... Дождь... я знаю: будеть дождь... сверкающий вечер... слякоть, — мопассановская слякоть. Ты представляешь себе? Блестят тротуары, зонты, плащи... Париж. Париж! Великая литература! И я пойду себе — одинокая, никому не известная, под стеночкой, под оградами — счастливая, свободная... И где-нибудь на окраине, в осенний вечер, в маленьком кинотеатрике я буду смотреть Чаплина и плакать. *(Пауза.)* Это путешествие в юность. Что я возьму с собой? Этот чемодан. И этот маленький чемоданчик. Теперь слушай: стол... надо стол запереть. Нет, подожди. *(Выдвигает ящик.)* Вот тут есть тетрадка, о которой я тебе говорила.

Семенова. Дневник.

Леля. Надо ее спрятать подальше. Вот сюда закопаем. Ключ тебе. Или, может быть, взять с собой за границу?

Семенова. Зачем таскать?

Леля. А я продам ее.

Семенова. Дневник актрисы.

Леля. Нет, это не дневник актрисы. Это тайна русской интеллигенции. Хочешь, покажу?

Семенова. Неинтересно.

Леля. Как для кого.

Семенова. Какая тайна? Анекдоты?

Леля. Вся правда о советском мире.

Семенова. Про очереди?

Леля. Дура! Иди, я тебе об'ясню.

Семенова. Мне некогда.

Леля. Смотри: тетрадка разделена пополам. Два списка. Вот первая половина: список преступлений революции.

Семенова. Тогда лучше спрячь.

Леля. Не бойся. Ты думаешь, это грубые жалобы на отсутствие продуктов? Не бойся. Это другое. Я говорю о преступлениях против личности. Есть многое в политике нашей власти, с чем я не могу примириться. Иди сюда. Смотри: а здесь, в другой половине — список благодеяний. Ты думаешь, я не вижу и не понимаю благодеяний советской власти? Теперь сложим обе половины вместе. Это я. Понимаешь? Это моя тревога, бред. Две половины одной совести, путаница, от которой я схожу с ума. Я спрячу ее в тот чемоданчик. Этого нельзя оставить здесь. Мало ли что. Кто-нибудь найдет. Ужасно! Истолкуют вульгарно, скажут: контрреволюционерка. *(Прячет тетрадку в чемоданчик.)* Вот и все. Больше никаких распоряжений не будет, Катерина Ивановна.

Семенова. А в самом деле: продай ее за границей.

Леля. Как? Оторвать половину? Только преступления. Ведь за список благодеяний советской власти за границей не дадут ни копейки. Показать только пункты злобы, а про пункты восторга умолчать? Нет! Эта тетрадка не разрывается. Я не контрреволюционерка. Я человек старого мира, который спорит сам с собой. Ну, забудем. Ладно. Будем крюшон делать.

Семенова. В результате всего я думаю, что ты останешься за границей навсегда.

Леля. Я вернусь очень скоро. Привезу тебе подарок.

Семенова. А вдруг кто-нибудь влюбится в тебя и ты замуж выйдешь?

Леля. За кого? Я их ненавижу! Мелкие чувства. Революция освободила нас от мелких чувств. Правда! Вот тебе благодеяние революции.

Семенова. Нож для консервов есть?

Леля. Поищи. В ящике. Нет, нет, в том. Ужасное у меня хозяйство.

Семенова. Никто тебе не мешает жить по-человечески.

Леля. У меня ничего нет. Книг нет. Мебели.

Семенова. Купи. В чем дело!

Леля. Платьев нет. А дом... Я пять лет живу в этой дыре. Я нищая.

Семенова. Это у тебя в натуре.

Леля. Бездомность.

Семенова. Никто не виноват.

Леля. Есть среди нас люди, которые носят в душе своей только один список. Если это список преступлений, если эти люди ненавидят советскую власть — они счастливы. Одни из них — смелые — восстают или бегут за границу. Другие, — трусы, благополучные люди, которых я ненавижу, — лгут и записывают анекдоты, о которых ты говорила. Если в человеке другой список — благодеяний, — такой человек восторженно строит новый мир. Это его родина, его дом. А во мне два списка: и я не могу ни бежать, ни восставать, ни лгать, ни строить. Я могу только понимать и молчать. Дом. Мебель. Вещи. Разве я живу? Я теку... теку... теку... Я не могу

принять новый мир как новую мою родину и потому не умею устроиться по-человечески. Как устраивались люди на родине — это известно. Вещи. Слова. Понятия. *(Пауза.)* Жасмин.

Семенова. Что?

Леля. На-днях мы давали спектакль у коммунальников. Меня повели в садоводство. Я увидела в теплице кусты жасмина. И я подумала: какой странный жасмин... Нет, это был обыкновенный жасмин... Но я вдруг подумала: жасмин, находящийся в другом измерении, не вещь, а идея... Потому что это жасмин нового мира. Чей он? Чой? Не знаю. Нет частной собственности. Да, да, да — в этом причина причин. Нет чужой цветущей изгороди, за которую заглядывает бедняк, мечтающий о богатстве... А это связано: значение жасмина со значением порядка, в котором он существует. Ощущение запаха и цвета жасмина становится неполноценным... он превращается в блуждающее понятие, потому что разрушился ряд привычных ассоциаций... Многие понятия блуждают, скользят по глазам и слуху и не попадают в сознание... Например, невеста, жених, гость, дружба, награда, девственность, слава... Добиться славы — значит стать выше всех... Вот почему я буду плакать, смотря фильмы Чаплина. Я буду думать о судьбе маленького человека, о сладости быть униженным и отомстить, о славе.

Семенова. Тебе-то плакать о славе?

Леля. Что это за слава, которой нельзя кичиться! Я не имею права чувствовать себя лучше всех. Вот главнейшее преступление советской власти против меня.

Стук в дверь.

Леля. Кто там? Войдите.

Входит Дуня Денисова, соседка, в худом платье, немолодая.

Леля. А... Дуня Денисова. *(К Кате.)* Ты еще не видела ее? Моя новая соседка. Она нищая. Профессионалка. Говорит, что безработная. Просто сволочь какая-то.

Катя *(в ужасе, конфузясь за всех)*. Леля!

Леля *(к Дуне)*. Что вам угодно, Дуня?

Дуня. Яблоки у меня украли.

Леля. Какие яблоки?

Дуня. Пяток. *(Пауза.)* Принесла домой пяток яблок. Только вышла — украли.

Леля. Кто?

Дуня. Почем я знаю.

Катя. Неужели она думает, что мы украли у нее яблоки?

Дуня. Я ничего не думаю. Я вижу, что яблоки лежат. *(Разом поднявшись, уходит.)*

Леля. Ты слышала? А это не преступление? Вот я сейчас запишу. *(Достает тетрадку.)* Актриса, игравшая Гамлета новому человечеству, жила рядом с нищенкой, в грязном кармане дома.

Входят Дуня и Петр Иванович, сосед, человек интеллигентный.

Петр Ив. *(к Леле, сразу строго)*. Вы зачем яблоки воруете? *(Пауза. К Дуне.)* Вы свои яблоки узнать можете?

Дуня. Она их на части порезала.

Петр Ив. По частям можно узнать.

Леля. Да, я должна сознаться. Действительно, мы украли у вас яблоки.

Петр Ив. Ясно.

Дуня. Зачем резали? Не имели права резать!

Петр Ив. Ей целые нужны яблоки. Она испечь хотела.

Дуня. Я испечь хотела.

Леля. А теперь компот сварите.

Петр Ив. Вы не указывайте.

Катя. Слушайте, я не понимаю... как вы смеете обвинять нас в краже яблок?

Дуня. Дверь открыта была. Ежели дверь закрыта — украсть нельзя.

Петр Ив. *(к Кате)*. Дверь открыта была?

Катя *(растерянно)*. Не знаю.

Дуня. Чего спрашивать. Через закрытую дверь нельзя украсть.

Катя. Да вы знаете, кто мы! Это Елена Гончарова, артистка. Она за границу едет.

Петр Ив. За границей другой порядок.

Дуня. Она мне указывает: компот варить. Я раз в год яблоки покупаю.

Леля *(истерически)*. Убирайтесь вон!

Стук в дверь. Врывается человек из-за стены, Баронский — сосед.

Баронский *(крикливо, громко, весь размахивается)*. Я все слышу из-за стены. Возмутительно! Барыня разговаривает с плебеями.

Катя *(оправдывается)*. Они говорят, что мы украли яблоки.

Баронский. Возмутительный тон! Тон возмутительный! *(К Леле, наскакивая.)* Кто вы? Кто? Аристократка духа, да?

Леля *(спокойно)*. Вы врываетесь в комнату без разрешения.

Баронский. Бросьте! Бросьте эти штучки! Меня не возьмете на это. Кто дал вам право издеваться над ними? Они темные люди. Да? А вы? Актриса. Да. Что вы молчите? Если они забитые, полузвери — верно. Да. Вы так думаете: полузвери? То вы. Артистка. Плевать! Артисты — это подлейшая форма паразитизма. Вам это не нравится? Конечно! Нет, успокойтесь. Вы ничем—слышите, ничем не лучше—слышите! Перед лицом будущего вы ничем не лучше ее, Дуни Денисовой. Не бойся ее, Дуня: она тоже пьет воду. Коммунальный водопровод. Пьете воду? А хлеб? Хлеб потребляете? Магазины для всех? Для всех граждан продажа. — Свет жжете? Дуня, не бойся ее. Потребительская заинтересованность,— слышите, — потребительская заинтересованность — вот формула, равняющая все головы.

Катя. Почему ты молчишь, Леля?

Леля. Мне совершенно все равно. Он мечется передо мной, кривляется, прыгает на меня. А мне совершенно все равно. Сквозь туман путешествий я вижу вас, Баронский, и уже не различаю ваших черт и не слышу вашего голоса...

Баронский. Не слышите? Зато мы слышали!

Леля. Что вы слышали?

Баронский. Что вы бежать хотите за границу. *(Пауза.)* Испугались?

Леля *(раздельно)*. Плюю на вас.

Баронский. Ах, плюете! Дуня, слышишь? Дуня, беги, кричи во весь дом: артистка Гончарова бежит за границу.

Открывается дверь. Входит директор театра Орловский и с ним юноша с большим букетом жасмина.

Орловский. Вот она.

Юноша. Здравствуйте, товарищ Гончарова.

Орловский. Это от коммунальников вам. Из садоводства.

Юноша. Вам понравился жасмин. Вы хотели куст. Но вы уезжаете. Куст завянет. А вот на дорогу вам — жасмин.

Леля. От кого?

Юноша. От рабочих. За спектакль.

Леля. Ну, что вы! Спасибо.

Юноша. Нюхайте и вспоминайте.

Леля. Я хочу записать несколько строк. Правда, Орловский? *(К юноше.)* Вы передадите?

Юноша. Ладно.

Леля. Только у меня хозяйство... Бумажки даже нет... *(Ищет.)*

Юноша *(берет тетрадку)*. Отсюда листик.

Леля. Нет, нет...

Юноша *(держит тетрадку)*. Это роль? Интересно, как работают актрисы.

Леля. Дайте сюда. Да, да, это роль.

Орловский *(профессионально)*. Какая роль?

Леля. Очень трудная, Орловский. Ну, ладно. На словах. Ну, скажите так: что спасибо, что я вернусь скоро, что я очень горжусь тем, что я артистка Страны советов.

Конец сцены

Сцена третья

ПРИГЛАШЕНИЕ НА БАЛ

В Париже. Зала пансиона. Хозяйка — госпожа Макендон. Появляется Трегубова. Это молодящаяся особа лет сорока пяти. Она торгует платьями. При ней большая фанерная коробка.

Трегубова. Здравствуйте, госпожа Македон!

Хозяйка. Вы принесли платья?

Трегубова. Сегодня волшебная вещь лежит в моей коробке... Это такое платье, что если...

Хозяйка. Вы опоздали. Американка уехала.

Трегубова. Я имела в виду русскую.

Хозяйка. Госпожу Гончарову?

Трегубова. Да.

Хозяйка. Вы хотите предложить платье ей?

Трегубова. Она молодая?

Хозяйка. О, да.

Трегубова. И красивая?

Хозяйка. О, да.

Трегубова. Я видела ее портрет в газете. Но этого мало, если говорить о платье. Портрет в газете так же отдаленно напоминает оригинал, как перчатка напоминает живую руку. Не правда ли? Цвет лица, волосы и то, как темнеют или загораются глаза...

Хозяйка. Это известная артистка. Вы знаете?

Трегубова. Мой друг показывал мне газеты. О ней пишут большими буквами: в Париж приехала артистка Гончарова. (*Пауза*). Она будет на балу?

Хозяйка. Госпожа Гончарова? Не знаю.

Трегубова. Наверно!

Хозяйка. Весь город говорит о бале.

Трегубова. Он состоится в воскресенье. Большой международный бал артистов. Портнихи работают, не покладая рук. Какое событие! Там будут все знаменитости, звезды всех искусств.

Появляется Леля.

Хозяйка. Вот идет госпожа Гончарова. Госпожа Гончарова, портниха спрашивает вас.

Леля. Что?

Трегубова. Здравствуйте, госпожа Гончарова.

Леля. Здравствуйте...

Трегубова. Я с платьями.

Леля. Ко мне?

Трегубова. Если угодно.

Хозяйка. Это госпожа Трегубова. Она уже много лет обслуживает клиентов моего пансиона.

Трегубова. Вот моя витрина. *(Указывает на витрину с платьями.)*

Леля. Да, но мне сейчас... просто не нужно.

Трегубова. А почему не посмотреть?

Леля. Вы русская?

Трегубова. Да.

Леля молчит.

Трегубова. Что вас смущает?

Леля. Дело в том, что в Париже есть русские, с которыми...

Трегубова. Я понимаю. Эмигранты? Нет. Я двадцать лет живу в Париже. Госпожа Македон может подтвердить это.

Хозяйка. О, да.

Трегубова. Итак, мадам. Прекрасное бальное платье...

Леля. Не стоит вам беспокоиться.

Трегубова. Пустяк. *(Открывает коробку.)*

Леля. Ого... Какая роскошь!

Трегубова. И ваши волосы...

Леля. Но это очень дорого.

Трегубова. Такая модель в доме, имеющем мировую славу, стоит десять тысяч франков. У Пуарэ. У Лелонга. У Армана. Там вы платите за фирму. Вам скажут: эта модель неповторима, уник. Оно единственное. И действительно — чертеж уничтожают. Но есть возможности копировать модели, которые считаются уничтоженными... Мы вносим кое-какие вариации...

Леля. Оно серебряное.

Трегубова. И в результате наряд, который у Пуарэ стоит десять тысяч франков, вы получаете за четыре.

Леля. Четыре тысячи франков?

Трегубова. Всего лишь.

Леля. Закройте коробку.

Трегубова. Вам не понравилось?

Леля. Нет, просто дорого.

Трегубова. Чтобы сверкнуть, не дорого.

Леля. Да я нигде не собираюсь сверкать.

Трегубова. А на балу?

Леля. Не понимаю.

Трегубова. Международный бал артистов.

Федотов входит. Хозяйка спешит ему навстречу. Там происходит между ними разговор.

Трегубова. Подумайте, это не простой бал. Париж устраивает торжество артистам...

Хозяйка. Это к вам, госпожа Гончарова.

Леля *(к Трегубовой)*. Простите...

Трегубова. Пожалуйста. *(Коробки не закрывает.)*

Леля. Нет, нет, я отказываюсь.

Трегубова. Ну, что ж, мадам... *(Закрывает коробку, удаляется.)*

Федотов *(приближается)*. Здравствуйте, товарищ Гончарова. Вас зовут Елена Николаевна? Моя фамилия Федотов.

Леля. Здравствуйте. Вы из Москвы?

Федотов. Нет, наоборот, я в Москву. Из Америки возвращаюсь. В Париже я проездом. Узнал, что вы здесь и пришел приветствовать вас. *(Рукопожатие.)*

Леля. Спасибо, садитесь. Так вы из Америки?

Федотов. Да.

Леля. А что делали в Америке?

Федотов. По тракторным делам. Наша комиссия ездила. Комиссия товарища Лахтина. Трое: Лахтин, Дьяконов и я. Вот. Будем знакомы. Вы не заняты? Может быть, торопитесь?

Леля. Нет... я очень рада.

Федотов. Я ведь большой поклонник вашего театра.

Леля. Да?

Федотов. Серьезно. И потому мне особенно приятно встретиться на чужбине с такой согражданкой.

Леля. Как вы узнали, что я здесь?

Федотов. Из газет. В Париже сенсация. Международный бал артистов. И, знаете: про вас пишут. Пишут, что на балу будет сверкать советская звезда Елена Гончарова.

Леля. Чепуха какая. Меня и не приглашали.

Федотов. Тем лучше. Да вы знаете, какой это бал?

Леля. Международный бал артистов.

Федотов. А кто его устраивает?

Леля. Вероятно, ложа артистов.

Федотов. А кто дергает за веревочку?

Леля. Не знаю, кто дергает за веревочку.

Федотов. Так я вам об'ясню. Этот бал устраивает банкир Лепельтье. Тот Лепельтье, знаете, старший, текстильщик, Валтасар Лепельтье. Его задавил кризис, он закрывает фабрики, но при скверной игре нужно делать хорошую мину, и вот он затеял бал. Понимаете? Это демонстрация мнимого благополучия. Там всякая сволочь будет, эмигрантские знаменитости, фашисты... А между тем готовится бал посерьезнее.. безработные идут на Париж...

Леля. Безработные?

Федотов. Голодный поход безработных. А вы говорите — бал.

Леля. Это не я говорю, это вы говорите.

Федотов. Да, простите, пожалуйста, я немного раскричался, давно на собраниях не выступал. Но в случае, если вы получите приглашение, советую — откажитесь и опубликуйте об этом в коммунистической прессе.

Пауза.

Федотов. Вчера я был в полпредстве, там ждут вас.

Леля. Я все собираюсь.

Федотов. Давайте вместе поедем.

Леля. Давайте.

Федотов. Послезавтра встретимся у нас.

Леля. Где это у вас?

Федотов. Лахтин, Дьяконов и я — мы живем в пансионе на улице Лантерн. Это недалеко от полпредства. Я запишу вам адрес. Послезавтра, в семь часов вечера. Есть? *(Пишет.)* Ну что вы здесь делаете? Изучаете музеи?

Леля. Ничего не делаю. Хожу.

Федотов. Просто ходите?

Леля. Иногда останавливаюсь и смотрю; вижу — лежит моя тень. Я смотрю на нее и думаю: моя тень лежит на камне Европы. *(Пауза.)* Я жила в новом мире. Теперь у меня слезы выступают на глазах, когда я вижу мою тень на камне старого. Я вспоминаю, в чем состояла моя личная жизнь в мире, который вы называете новым. Только в том, что я думала. Революция лишила меня прошлого и не показала мне будущего. А настоящим моим стала мысль. Думать. Я думаю, только думала, — мыслью я хотела постигнуть то, чего не могла постигнуть ощущением. Жизнь человека естественна тогда, когда мысль и ощущение образуют гармонию. Я была лишена этой гармонии, и оттого моя жизнь в новом мире была неестественна. Мыслью я воспринимала полностью понятие коммунизма. Мозгом я верила в то, что торжество пролетариата естественно и закономерно. Но ощущение мое было против. Я была разорвана пополам. Я бежала сюда от этой двойной жизни, и если бы не бежала, то сошла бы с ума. В новом мире я валялась стеклышком родины. Теперь я вернулась, и две половины соединились. Я живу естественной жизнью, я вновь обрела глаголы настоящего времени. Я ем, трогаю, смотрю, иду... Пылинка старого мира, я осела на камне Европы. Это древний могучий камень. Его положили римляне. Никто не сдвинет его.

Федотов *(горячо)*. Его вырвут скоро из земли, и будут воздвигаться из него баррикады. Вы говорите: ваша тень на камне Европы? Вы только вашу увидели тень? А я вижу другие тени... Я вижу людей, превратившихся в тени... людей, раздавленных камнем Европы...

Леля. Может быть. Может быть! Не знаю. Я уже три недели отдыхаю от мыслей о революции...

Федотов. Отдыхаете от мыслей о революции? О чем жы вы теперь думаете, если не думаете о революции. Можно думать либо о революции, либо о контрреволюции. Других мыслей сейчас не бывает.

Леля. Каждый хочет думать только о себе.

Федотов. Это обывательский разговор.

Леля. То есть человеческий. Я артистка, и сущностью моей должна быть человечность.

Федотов. Нет человечности.

Леля. Скучно. Вы хотите сказать, что нет человека вообще, а есть представитель класса? Скучно. Слышала. Думала. Продумала. Неправда это. Артистка только тогда становится великой, когда она воплощает демократическую, общепонятную и волнующую всех тему...

Федотов. Эта тема — социализм.

Леля. Неправда.

Федотов. А какая же?

Леля. Тема одинокой человеческой судьбы. Тема Чаплина. Урод хочет быть красивым. Нищий — богатым. Лентяй хочет получить наследство. Матери хочется приехать к сыну...

Федотов. То есть — тема личного благополучия? Кулаческая тема.

Леля. Если угодно — кулаческая.

Федотов. Хорошо, что вы хоть понимаете.

Леля. Я все понимаю, в этом мое горе. Помогите мне. Я не знаю, что происходит со мной. Я одна во всем мире, только я одна. Это все в душе у меня: борьба двух миров. И не с вами это я спорю, а спорю сама с собой... Веду сама с собой мучительный долгий спор, от которого сохнет мозг. Смотрите, что делается со мной: волосы мои седеют. Я была гимназистка, в день окончания гимназии цвела акация, лепестки падали на страницы, на подоконник, в сгиб локтя... Я видела свою жизнь: она была прекрасна. И в тот год произошла революция... С того дня я стою нищая, на коленях стою, прямая, как истукан, протянув руки, шершавые, как песок.

Молчание.

Федотов. Почему вы не явились в полпредство?

Леля. Я никого не хочу видеть.

Федотов. Вы официально обязаны явиться.

Леля. Я не знаю...

Молчание.

Леля. Слушайте...

Федотов. Что?

Леля. У меня к вам просьба.

Федотов. Пожалуйста. Какая?

Леля. Дайте мне денег. *(Молчание.)* Простите меня. Я пошутила, конечно.

Федотов. Елена Николаевна, у вас какая-то рваная психика.

Леля. Вы только теперь заметили, тонкий наблюдатель? А я, между прочим, серьезно просила у вас денег. Я не хочу возвращаться в Россию.

Федотов. Это все ужасно, то, что вы говорите! Бросьте, Елена Николаевна. Стыдно. Что с вами происходит? Шатаетесь? Раздваиваетесь? Висите в воздухе? Колеблетесь? Довольно, наконец. Подумайте: безработица, голод... Прозревают слепые, зубы оскалены... Какая там может быть философия? Борьба за рынки, за каучук, за нефть... Изобретаются пушки... война приближается... И вдруг вы о своей личности... На что вы жалуетесь? Она подавлена — эта ваша личность? Вы думаете, что ваши интеллигентские жалобы чем-нибудь отличаются от жалоб кулака на то, что коллективизация лишила его хутора? Ничем. Это одно и то же. О чем вы говорите? Не хотите возвращаться домой? Хотите остаться здесь? Да? И это говорите вы... которая уже была там, в советской стране... уже вместе с пролетариатом укладывала первые камни нового мира, уже поднимала на плечи такую огромную славу, славу пролетарской революции... Унижаетесь до мысли о том, чтобы остаться здесь, бежать из самого лучшего мира, из самой умной, самой передовой, единственной мыслящей среды — среды трудящихся нашего Союза. Это сон, сон, это вы бредите, Елена Николаевна. И я не верю вам. Париж, Париж! Вот мы стоим в Париже... да! Но тот Париж, который в мечтах у вас, этого Парижа нет теперь, он уже призрак. Культура обречена на смерть. Вы думаете, что буржуазная Европа также молода, как и вы. Это развалившийся храм, а вы поклоняетесь обломкам его колонн. Если вы хотите остаться здесь, тогда будь-

те последовательны... Если хотите остаться в лагере лавочников, кулаков, мелких собственников, тогда идите и стреляйте в безработных вместе с полицией. Да, да, да! Это одно и то же. Кто жалуется на советскую власть, тот сочувствует полиции, которая расстреливает безработных в Европе. Нечего притворяться, нечего прикрываться философией, ваша изысканная философия есть просто философия лавочника или полицейского. Значит, вы с ними! Совершенно ясно, что не может быть другого положения, которое занимаете вы — или здесь или там. Где же вы? С нами или с ними?

Леля. Поцелуйте меня в лоб. Официально. От имени полпредства.

Федотов. Ну, вот видите... И отлично.

Пауза.

Федотов. А вам очень хочется на бал?

Леля. Только не говорите полпреду. Хочется.

Федотов. Тщеславие?

Леля. Да.

Федотов. Тем интересней вызвать злобу. Они вас на бал, а вы откажетесь.

Леля. Вы — симпатяга.

Федотов. Вы — тоже.

Леля. Ну до свиданья.

Федотов вынимает из кармана брюк револьвер.

Леля. Что это?

Федотов. Боевая привычка. Револьвер поближе к руке. *(Прячет револьвер в карман пальто.)*

Федотов направляется к выходу. В это время из-за стеклянной стены ресторана вступает в залу Татаров. Федотов задерживается.

Татаров. Если я не ошибаюсь, вы госпожа Гончарова?

Леля. Да, это я. *(Леля молча отвечает на поклон.)*

Татаров. Здравствуйте. *(Протягивает ей руку.)*

Федотов *(кричит издали)*. Елена Николаевна, не разговаривайте с этим человеком *(Приближается.)* Что вам угодно?

Татаров. Простите... я пришел поговорить с артисткой Гончаровой, бежавшей из Москвы...

Леля. Я не знаю вас.

Федотов. Ни слова, Елена Николаевна!

Татаров. Это ваш муж? Вы бежали вместе?

Леля. Я вовсе не бежала.

Федотов. Кто вы такой?

Татаров. Моя фамилия Татаров.

Федотов. Редактор эмигрантской газеты «Россия»?

Татаров. Да.

Федотов. Зачем вы пришли сюда?

Татаров. Борьба за душу. Ангел... вы. Я, конечно, диавол. А госпожа Гончарова — праведница.

Федотов. Уходите отсюда немедленно.

Татаров. Милостивый государь...

Федотов. Вам хочется спровоцировать нашу артистку?

Татаров. Я пришел разговаривать не с вами.

Федотов. Уходите отсюда, или я... *(Хватается за карман.)*

Татаров. Застрелите? Не думаю. Не рискнете. Здесь не любят убийц. Здесь человеческая жизнь — не отвлеченное, а весьма конкретное понятие. Прежде всего явятся полицейские, два полицейских с усиками в черных пелеринках, — они схватят вас за руки, возьмут небольшой разгон и ударят вас спиной о стенку несколько раз — пока не отобьют вам почки. Потом с отбитыми почками, харкающего кровью, повезут вас...

Федотов. У меня чешутся руки. Я когда-то был комбригом, Елена Николаевна.

Леля. А вы знаете, Федотов, интересно! Живой эмигрант! Пусть говорит. Я потом буду рассказывать в Москве: живого эмигранта видела... Я близорукая, жаль... А ну, повернитесь. Какой вы сзади? Или пусть пройдется. Здравствуйте. Я узнаю вас. Вы карикатура. Я часто видела вас на первой странице «Известий». Вы нарисованный плоскостный человечек. Как же вы смеете протянуть мне руку! Вы человек двух измерений. Вы тень, а я скульптура. Пожать вам руку! Это антифизический акт.

Пауза.

Татаров неподвижен.

Леля. Идемте, Федотов. Я провожу вас. Пусть он улетучится, как тень. *(Уходит с Федотовым.)*

Татаров *(один)*. Тень? Хорошо! Но чья тень? — Твоя.

Хозяйка появляется.

Хозяйка. Господин Татаров.

Татаров молчит.

Хозяйка. Что случилось, господин Татаров? *(Татаров молчит.)* Ваша подруга, госпожа Трегубова, только что была здесь. Она приносила платья. Вы пришли за нею? Она ушла минут десять тому назад. Вы поссорились с нею?

Входит посыльный.

Посыльный. Госпожа Гончарова живет у вас?

Хозяйка. Да.

Посыльный. Пакет. *(Передает пакет. Уходит.)*

Хозяйка *(читает штамп на конверте)*. «Международная ложа артистов». Ах, господин Татаров, русская... если бы вы увидели ее! У меня поселилась приезжая русская. Она в вашем вкусе. Госпожа Трегубова говорила мне: вы любите блондинок.

Татаров. Дайте мне конверт. Я вручу его русской, и это будет повод познакомиться.

Хозяйка. Бедная мадам Трегубова! Вы, вероятно, изменяете ей на каждом шагу!

Входит Леля. Хозяйка бочком уходит.

Татаров. Елена Николаевна.

Леля останавливается, молчит.

Татаров. Этот юноша помешал мне выполнить поручение, данное мне Международной ложей артистов...

Леля стоит в полоборота, молчит

Татаров. Я пришел, чтобы передать вам приглашение на бал.

Леля. Давайте. *(Берет конверт. Разрывает его в клочки.)* И уходите вон.

Татаров уходит. Леля одна. Хозяйка возвращается.

Хозяйка. Ну, как? Вам понравилось платье? Вы знаете, что первоклассная портниха и, кроме того, она допускает кредит.

Врывается из-за стеклянной стены человек, видимо быстро бежавший до того. Мечется. Видимо его преследуют.

Хозяйка. Помогите! Помогите! *(Паника.)*

Вбегают трое штатских с револьверами. Схватывают бежавшего.

Леля. Что вы делаете? Что вы делаете?

Штатский. Уберите ее.

Лелю выталкивают за стеклянную дверь, Хозяйка убегает вверх по лестнице. Стеклянную дверь захлопывают. Наступает тишина. Леля через стекло, изнемогающая от ужаса, видит, как преследователи хватают неизвестного за руки, берут разгон и ударяют о стенку спиной. Леля колотит в стеклянную преграду кулаками. Пойманный избит. Он валится. Он не кричит, не стонет. Вся сцена происходит в полном безмолвии и тишине. Неизвестного волокут к выходу. Хозяйка спускается полумертвая от страха.

Хозяйка. Что, господа?.. что, господа? кто это?

Леля за стеклянной стеной почти в истерике. Она кричит, еле слышная из-за стены.

Леля *(за стеной)*. Пустите! Пустите! Как вы смеете?!Что вы сделали с человеком!

1-й штатский *(к хозяйке)*. Кто это?.. У вас живет?

Хозяйка. Русская актриса.

Вбежавший *(лежа на руках тех, кто избивал его, раскинув руки, с ногами, волочащимися по полу, в полусознании, хрипло)*. Русская?.. Да здравствует Москва!

Конец сцены

Сцена четвертая

СЕРЕБРЯНОЕ ПЛАТЬЕ

У портнихи

Вечер. Татаров и Трегубова.

Татаров. Я вошел к ней вскоре после вас. Но оказалось, что советское посольство уже приставило к ней чекиста. Я не успел сказать двух слов, как он стал угрожать мне.

Трегубова всплескивает руками.

Татаров *(оскорбленный, с возмущением и одновременно с некоторой завистью)*. Бандит!

Трегубова. Господи... пугаете меня!

Татаров. Я ушел ни с чем. Но если бы при ней не было чекиста, я заставил бы ее разговориться.

Трегубова. Она очень осторожна. Она сказала, что не со всеми русскими в Париже ей хотелось бы разговаривать.

Татаров. С эмигрантами?

Трегубова. Да.

Татаров. Этой гордости хватит на неделю. Видали мы многих праведников из советского рая, которые, подышав запахами Парижа, отказывались навсегда от своей веры.

Трегубова. Мне показалось, что она очень горда.

Татаров. Святая в стране соблазнов. Не верю. Мы ее скрутим. Что? Не удастся? Почему вы на меня так смотрите? Не удастся? Или — что? Я не понимаю, не понимаю ваших остановившихся глаз. Поверните к чорту эту тускнеющую бирюзу.

Трегубова. Я подумала о другом.

Татаров. О чем?

Трегубова. Если вы в состоянии так ненавидеть, то, значит, вы можете очень сильно любить.

Татаров молчит.

Трегубова. А меня вы не любите и никогда не любили. *(Татаров молчит.)* Ну, не надо. Не сердитесь. Я не буду говорить об этом.

Татаров. Чтобы читать у нее в душе, к ней приставили ангела с револьвером. Приставьте меня к ней, а не чекиста, — и тогда обнаружатся все ее тайны.

Трегубова. Она была юной девушкой, когда вы бежали из России. Разве вы ее знали на родине?

Татаров. Да.

Трегубова. Все может быть. Ваше прошлое мне неизвестно. Ответьте: может быть, эта актриса — ваша дочь?

Татаров. Может быть.

Трегубова *(с чувством большого волнения)*. Это правда?

Татаров. А может быть, племянница.

Трегубова. Ваша племянница?

Татаров. А может быть, и не моя, а другого адвоката, похожего на меня.

Трегубова. Какого адвоката, Николай?

Татаров. Или не адвоката. Может быть, директора банка. Или члена земской управы, или профессора... Не все ли равно. Чего тут не понимать? Русские интеллигенты, мы из одного племени с ней. Но случилось так, что я вот — жалкий изгнанник, а она — высокомерная гостья с моей родины. Я не верю в ее высокомерность. Я знаю, что она несчастна. И пусть она будет немая, как зеркало, но я все-таки услышу ее голос. Я заставлю ее кричать о своей тоске.

Трегубова. Может оказаться, что ваши подозрения неправильны.

Татаров. Вы думаете, что она честна?

Трегубова. Да. Вы сами читали мне статьи о ней. Как ее ценят большевики.

Татаров. И все-таки она лжет им. Я докажу это.

Трегубова. Она была в фаворе.

Татаров. Тем интересней опыт. Да, она была в фаворе. Ей разрешалось многое. Она ставила «Гамлета». Подумайте: «Гамлета« — в стране, где искусство низведено до агитации за разведение свиней, за рытье силосных ям... Советская власть избаловала ее. И все-таки я утверждаю, что, несмотря ни на что, самым пылким ее желанием было — бежать сюда... Пользуясь ею, этим удачнейшим экземпляром, я докажу... еще раз, лишний, убедительнейший раз я докажу, что в России — рабство. Мир говорит об этом. Но что слышит мир! Он слышит жалобы лесорубов, темное мычание рабов, которые не могут ни мыслить, ни кричать. А теперь я могу извлечь жалобу из высокоодаренного существа... И миру станет вдвое страшней. Знаменитая актриса из страны рабов закричит миру: не верьте, не верьте моей славе! Я получила ее за отказ мыслить... Не верьте моей свободе: я была рабом, несмотря ни на что.

Трегубова. Разве рабы такие? Это счастливая женщина по виду.

Татаров. Счастливая? Гордая? Неподкупная?

Трегубова. Так мне кажется.

Татаров. Праведница? Без греха?

Трегубова. Да.

Татаров. Я убежден, что грех у нее есть, а если его нет, то я его выдумаю. *(Пауза.)* Ее пригласили на этот пресловутый бал. Это уже большой козырь.

Трегубова. Она отказалась от платья.

Татаров. Потому что сперва пришло платье, а потом пришло приглашение. Если бы наоборот...

Трегубова. У нее нет денег.

Татаров. Это второй козырь. Дайте ей платье в кредит. В платье, которое обшито кредитом, очень легко можно запутаться и упасть...

Трегубова. Вы знаете, что я ни в чем не могу отказать вам. Но я боюсь.

Татаров. Чего?

Трегубова. Вы сказали о ней: «красавица из страны нищих». Ответьте мне: вы влюбились в нее?

Входит Дмитрий Кизиветтер, молодой худощавый блондин, лет 25.

Трегубова. Зачем вы пришли, Дмитрий?

Кизеветтер. Я ищу тебя, Николай.

Трегубова. Я вас просила, Николай Иванович, не назначать этому человеку свиданий у меня в доме.

Татаров. Он живет со мной потому, что он сирота и нищий. Его отец, Павел Кизеветтер, был моим другом.

Трегубова. У вас есть свой дом.

Татаров. А в вашем доме я не могу принимать того, кто мне мил?

Трегубова. Я его боюсь.

Татаров. Вы отказываетесь от дружбы со мной?

Трегубова. Вы меня измучили...

Кизеветтер. Она боится меня? Почему?

Трегубова *(к Татарову)*. Разве вы не видите, что он безумный?

Татаров. Глупости.

Кизеветтер. В чем же безумие мое?

Трегубова. Я не хочу, чтобы вы бывали здесь.

Кизеветтер. В чем же безумие мое?

Трегубова. Оставьте меня! *(Плачет.)*

Молчание.

Татаров. Лидочка, бросьте. Ну, дайте руку. *(Берет ее руку, целует. Поднимает ее голову и целует в губы.)* Отнеситесь к Диме ласковей. Он безработный. Думаете ли вы об этом? Их рассчитали пять тысяч.

Кизеветтер. В окно мне стрелять за то, что меня рассчитали?

Татаров. В советского посла.

Трегубова. Зачем вы говорите безумному такие вещи?

Татаров. Европа ослепла. Дайте мне трибуну. Я закричу в глаза Европе: большевизм вторгается в тебя! Дешевый хлеб... Каждое зерно советской пшеницы — бацилла рака. Каждое зерно — новый безработный. Европа, ты слышишь? Он с'ест тебя изнутри — рак безработицы. Дайте мне трибуну! Римский папа. Хм... Наденьте на меня тиару и далматик римского папы!.. А! Я — а не он, жирный итальянец в очках, должен призывать Европу на борьбу с большевиками.

Кизеветтер. Ты бы хорош был в тиаре. А тетушка смотрит на меня с ужасом. Она удивляется: Дима шутит. Я ведь блондин, тетушка, светлый блондин, воспитанник кадетского корпуса. И главное, добрый. Я никого не хочу убивать. Честное слово. И почему это я такие серьезные мысли должен продумывать? А?

Молчание.

Кизеветтер. Слышишь, Николай Иванович?..

Татаров. Ну?

Кизеветтер. Молодость — а?

Татаров. Ну?..

Кизеветтер. Неужели молодым всегда приходилось продумывать такие трудные, кровавые мысли?

Татаров. Он с отцом бежал сюда, когда ему было двенадцать лет.

Кизеветтер. А?.. Молодость?.. Всегда так бывало с молодыми, или бывало иначе?.. Шопен. Молодой Шопен, он тоже так странно жил?

Татаров. Молодой Шопен жил на острове Майорке. У него была чахотка.

Кизеветтер. Чудно! Я согласен. Своя кровь льется из своего горла. А почему я должен лить чужую кровь из чужого горла? А?

Трегубова. Он бредит!.. Разве вы не слышите!

Кизеветтер. Я, например, ни разу в жизни не видел звездного неба в телескоп. Почему? Почему моей молодости не положено было смотреть в телескоп?

Трегубова. Я не могу слушать его!

Кизеветтер. У меня нет галстука! А галстуков сколько угодно. Денег у меня нет. А у кого деньги? Раздайте всем деньги. А? Слишком много населения, и слишком мало денег. Если население увеличивается, его надо уничтожать. Делайте войну. *(Молчание.)* Или, например, у меня никогда не было невесты. А? Я хочу, чтобы у меня была невеста!

Татаров. У меня никогда не будет невесты.

Кизеветтер. Почему?

Татаров. Потому, что распалась связь времен.

Кизеветтер. В кого мне стрелять за то, что распалась связь времен?

Татаров. В себя.

Трегубова. Вон! Вы слышите! Вон!.. Я не могу...

Татаров. Ну, ладно, Дима. Ступай. Подожди меня на скамье.

Кизеветтер уходит. Молчание.

Трегубова. Вы собираетесь уходить? Я думала, что вы переночуете.

Татаров. Послушайте меня внимательно. Вы завтра отправитесь в пансион. Возьмите с собой лучшие платья.

Трегубова. Я ей показала одно, которое она назвала серебряным. *(Вытаскивает на середину комнаты коробку.)*

Татаров. Это магическая коробка. Вы не умеете мыслить символами, Лида. Эти блестки и нити, этот мерцающий воздух, — знаете ли вы, что это такое? Это то, о чем запрещено думать в России, это желание жить для самого себя, для своего богатства и славы, это человечина — и называется это легкая промышленность... Это вальс, звучащий за чужими окнами, это бал, на который очень хочется попасть. Это сказка о Золушке.

Трегубова. Вы так нежно меня поцеловали давеча. Я хочу вернуть вам долг. *(Целует его).*

Татаров. Вы говорите: праведница, честность, преданность, неподкупность. Вы увидели на ней нити и блестки, которых на самом деле нет. И большевики, которым это выгодно, видят на ней этот наряд честности и неподкупности. А мне ведь ясно: королева-то голая. И только теперь мы ее покажем миру в ее истинном виде, когда наденем на нее ваше платье.

Трегубова. Вы меня очень нежно поцеловали, и я хочу вам вернуть долг с процентами. *(Целует его.)*

Татаров. Пустите ее в вашу коробку еще раз, скажите, что все это даром, и она сойдет с ума.

Стук в дверь.

Трегубова. Кто там?

Впускает Лелю.

Трегубова. А... пожалуйте.

Татаров выходит на передний план. Садится в кресло спиной к сцене. Надевает очки.

Леля. Вы узнаете меня?

Трегубова. Госпожа Гончарова.

Леля. Я узнала ваш адрес у хозяйки пансиона.

Трегубова. Садитесь, будьте любезны.

Леля. Мне нужно платье.

Трегубова. Я рада вам служить, мадам.

Леля. Но дело в том, что... *(Замялась.)* Хозяйка говорила мне, что вы допускаете кредит...

Трегубова. Да, мадам.

Леля. Я бы хотела то...

Трегубова. Серебряное?

Леля. Да.

Татаров. С кем вы говорите, Лида?

Трегубова. Дама пришла за платьем.

Татаров. Я дремал.

Леля смущена присутствием постороннего.

Трегубова *(успокоительно).* Это мой муж.

Татаров. Простите, что я сижу к вам спиной. Вы расположились вблизи лампы, а свет вредит моему зрению.

Леля. Пожалуйста.

Пауза.

Трегубова. Итак, мадам, — померяем.

Леля. Давайте.

Трегубова. Вот сюда. *(Указывает на комод.)* Я отгородила себе ателье.

Леля, унося чемоданчик, и Трегубова уходят в отгороженное место, где начинается примерка.

Трегубова. Вы собираетесь на бал, мадам?

Леля. Да, я предполагала.

Трегубова. В России балов не бывает?

Леля. Нет.

Трегубова. Теперь вы побываете на балу.

Татаров. Когда вальс звенит за чужими окнами, человек думает о своей жизни.

Пауза.

Леля. Чем занимается ваш супруг?

Татаров. Я пишу сказки.

Леля. Вы давно покинули Россию?

Татаров *(врет).* Еще до войны, когда мир был чрезвычайно велик и доступен. *(Пауза.)* Советские дети читают сказки?

Леля. Смотря какие.

Татаров. Например, о гадком утенке?

Леля. Не читают.

Татаров. Почему? Прекрасная сказка. Помните? Его клевали — он молчал, помните? Его унижали — он надеялся. У него была тайна. Он знал, что он лучше всех. Он ждал: наступит срок, и я буду отомщен. И оказалось, что он был лебедем, этот одинокий гордый утенок. И когда пролетали лебеди, он улетел вместе с ними, сверкая серебряными крыльями.

Леля. Это типичная агитка мелкой буржуазии.

Татаров. Как вы говорите?

Леля. Мелкий буржуа Андерсен воплотил мечту мелких буржуа. Сделаться лебедем — это значит разбогатеть. Не правда ли? Подняться над всеми. Это и есть мечта мелкого буржуа: терпеть лишения, копить денежки, таиться, хитрить и потом, разбогатев, приобрести могущество и власть — то есть стать капиталистом. Это сказка капиталистической Европы.

Татаров. В Европе каждый гадкий утенок может превратиться в лебедя. А что делается с гадкими утятами в России?

Леля. В России стараются, во-первых, чтобы не было утят гадких. Их тщательно выхаживают. В лебедей они не превращаются. Наоборот, они превращаются в прекрасных толстых уток. И тогда их экспортируют. Тут уже начинается новая сказка капиталистического мира.

Татаров. Какая?

Леля. Сказка о советском экспорте.

Татаров молчит.

Трегубова. Какие платья теперь шьют в России? Короткие или длинные?

Леля. По-моему, какие-то средние.

Трегубова. А какой материал в моде?

Леля. Где?

Трегубова. В России, мадам.

Леля. В России? Чугун в моде.

Молчание.

Трегубова. А какие платья носят по вечерам?

Леля. Кажется, утренние.

Трегубова. А в театр?

Леля. В театр ходят и в валенках.

Трегубова. Как? Во фраке и в валенках?

Леля. Нет, только в валенках.

Трегубова. Почему? Потому что не любят фраков?

Леля. Нет, потому что любят театр.

Татаров. Это правда, что в России уничтожают интеллигенцию?

Леля. Как — уничтожают?

Татаров. Физически.

Леля. Расстреливают?

Татаров. Да.

Леля. Расстреливают тех, кто мешает строить государство.

Татаров. Я стою в стороне от политических споров, но говорят, что большевики расстреливают лучших людей России.

Леля. Теперь ведь России нет.

Татаров. Как нет России?!

Леля. Есть Союз советских республик.

Татаров. Ну, да. Новое название.

Леля. Нет, это иначе. Если завтра произойдет революция в Европе... скажем: в Польше или в Германии... тогда эта часть войдет в состав Союза. Какая же это Россия, если это Польша или Германия? Таким образом, советская территория не есть понятие географическое.

Татаров. А какое же?

Леля. Диалектическое. Поэтому и качества людей надо расценивать диалектически. Вы понимаете? А с диалектической точки зрения самый хороший человек может оказаться негодяем.

Татаров. Так. Я удовлетворен. Следовательно, некоторые расстрелы вы оправдываете?

Леля. Да.

Татаров. И не считаете их преступлениями советской власти?

Леля. Я вообще не знаю преступлений советской власти. Наоборот: я могу вам прочесть длинный список ее благодеяний.

Татаров. Назовите хотя бы одно.

Леля. Только приехав сюда, я поняла многое. Я вернусь домой со списком преступлений власти капиталистов. Вот хотя бы о детях, о которых мы только что говорили... Знаете ли вы, что в России разбит камень брачных законов... Ведь мы, русские, уже привыкли к этому, как-то не думаем об этом... А у вас существуют незаконные дети. То есть религия и власть казнит ребенка, зачатого любимой от любимого, но без помощи церкви. Вот почему

вас так много гадких утят. У нас гадких тят нет. Все наши дети — лебеди.

Татаров молчит.

Леля *(к Трегубовой)*. По-моему, все в порядке. Платье мне очень нравится. Но теперь самое главное: это стоит...

Трегубова. Четыре тысячи франков.

Леля. Я заплачу вам на-днях.

Татаров. Вы ждете денег из России?

Леля. Да. Кроме того, я думаю выступить один раз в мюзик-холле «Глобус».

Татаров. В каком жанре?

Леля. Я сыграю сцену из «Гамлета».

Трегубова. Будьте любезны, маленькую расписочку...

Леля. Да, да — конечно...

Татаров. Вы ищете листок бумаги, Лида? У вас плохо поставлена канцелярия. Вот вам листок. *(Вынимает из кармана блокнот, отрывает листок, передает Трегубовой.)* Пишите. На той стороне. *(Диктует, Трегубова пишет.)* «Получила от портнихи, госпожи Трегубовой, платье ценою в 000 франков»... Вставьте «бальное». Бальное платье ценою в 4000 франков. Означенную сумму обязуюсь уплатить»... Когда?

Леля. Дня через три.

Татаров. Ну, пишите: «в среду, восьмого». Год и подпись.

Леля *(подписывается)*. Елена Гончарова.

Трегубова. Благодарю вас.

Леля. Ну, вот. До свиданья.

Трегубова. До свиданья, мадам.

Татаров. Приветствую русскую.

Леля уходит со свертком, но без чемодана.

Трегубова. Ну, что же, мой друг... Вы ошиблись в расчетах. Как видите, она патриотка своей новой родины. Она даже оправдывает расстрелы...

Татаров. И разглаживает при этом складки парижского платья.

Трегубова. У нее разгорелись щеки, когда она говорила о незаконных детях.

Татаров. Если гражданка Советской страны громит буржуазию и в то же время мечтает попасть на бал буржуазии, я не слишком верю в ее искренность.

Трегубова. В этом платье у нее божественный вид.

Татаров. Это лебединое оперение появилось на утенке.

Трегубова. И он улетел.

Татаров. Оставив у меня в руке небольшое перышко. Посмотрите, что напечатано на обратной стороне ее расписки.

Трегубова *(читает)*. «Россия, ежедневная газета, орган об'единенного комитета русских промышленников».

Татаров. Следовательно, ваша неподкупная расписалась на бланке эмигрантской газеты в получении бального платья. Это пикантно, не правда ли! Во всяком случае — не плохая сенсация для завтрашнего выпуска газеты: «Святая собирается на бал».

Трегубова. Она забыла чемоданчик...

Татаров. Как вы говорите?

Трегубова. Чемоданчик забыла.

Татаров. Интересно. *(Берет чемоданчик.)*

Трегубова. Она сейчас вернется.

Татаров раскрывает чемодан, роется в нем поспешно, нашел тетрадку, перелистал. Стук в дверь. Пауза. Татаров прячет тетрадку за борт пиджака, возвращается к креслу. Трегубова захлопывает чемодан.

Трегубова. Войдите.

Входит Леля.

Леля. Простите пожалуйста.

Трегубова. Вы забыли чемодан?

Леля. Да.

Трегубова. Не стоило беспокоиться. Я бы прислала на дом.

Леля. Ну, что вы! Спасибо.

Леля — к выходу. И, выходя, встречается на пороге с Кизеветтером. На одно мгновение они задерживаются друг против друга. Она отброшена его стремительностью. Он столбенеет, потрясенный ее возникновением. И тотчас же она исчезает.

Молчание.

Татаров *(с тетрадкой)*. Я открыл ее тайну, Лида.

Трегубова. Это дневник?

Татаров. Это грех, о котором я говорил.

Кизеветтер *(твердо)*. Я прошу мне ответить, кто эта женщина, которая выбежала отсюда?

Татаров. Красавица из страны щих.

Кизеветтер. Я еще раз прошу ответить: кто эта женщина?

Татаров. Твоя невеста.

Конец сцены

Сцена пятая

ФЛЕЙТА

За кулисами мюзик-холла «Глобус». Вечер. Маржерет и Леля в костюме Гамлета. На столе Маржерета стакан с молоком и булка.

Леля. Я надела костюм, чтобы вы получили полное впечатление.

Маржерет молчит.

Леля. Может быть, вы заняты?

Маржерет. Почему занят?

Леля. Ну, так. Ведь у вас такое большое дело...

Маржерет. Почему — большое?

Леля. Ну, как же... Мюзик-холл... Столько артистов... Трудно...

Маржерет. Почему трудно?

Леля. Как вы смешно разговариваете.

Маржерет. Почему смешно?

Леля. Все время... спрашиваете: почему.

Маржерет. Потому, что я занят.

Леля. Вот видите. Я этого и боялась.

Маржерет. Почему боялись?

Пауза.

Леля. Может быть, мне уйти?

Маржерет. Уходите.

Пауза.

Леля. Вы не хотите меня испробовать?

Маржерет. Хочу.

Леля. Я могу сыграть сцену из «Гамлета».

Маржерет. Почему из «Гамлета»?

Леля. Я предполагала... сделать так, понимаете. «Известная русская артистка»... на афише: «Елена Гончарова...' отрывки из «Гамлета». *(Маржерет молчит.)* Ну, хорошо... Вот сейчас я сыграю... Так... Что бы лучше всего? Ага! Разговор с Гильденштерном.

Играет, переходит с места на место, изображает двоих.

«А, вот и флейты. Дай-ка сюда одну. Вы хотите отвести меня в сторону? Может быть, хотите загнать в западню?»

Тут говорит Гильденштерн. Ведь вы знаете эту сцену. Я не буду об'яснять.

«Да, принц, я слишком смел в усердии, зато в любви я слишком настойчив».

Гамлет: «Я что-то не совсем понимаю. Поиграй-ка на этой флейте».

«Я не умею, принц».

«Пожалуйста».

«Поверьте, не умею».

«Я очень тебя прошу».

«Я не могу взять ни одной ноты».

«Но это так же легко, как и лгать: на эту дырочку положи большой палец, а остальные вот на эти: дуй сюда и флейта запоет».

Маржерет *(машет рукой)*. Нет, нет, не годится.

Леля *(скандализованная)*. Почему?

Маржерет. Неинтересно. Флейта, да. Вы флейтистка?

Леля. Почему флейтистка?

Маржерет. Теперь вы начинаете спрашивать: почему. Словом, не годится. Что это? Эксцентрика на флейте? Тут надо удивить, понимаете! «Флейта запоет» — этого мало.

Леля. Вы не слушали, вы н

Это совсем другое...

Маржерет. Ну, если другое, тогда расскажите — что такое другое. Другое, может быть, интересно. Интересная работа с флейтой может быть такая: сперва вы играете на флейте...

Леля. Да я не умею.

Маржерет. А вы сами говорили, что это очень легко.

Леля. Да это не я говорила.

Маржерет. Вы даже очень образно выразились: что это так же легко, как лгать.

Леля. Вы не слушали, вы заняты.

Маржерет. Вы видите, я занят, я даже не имею времени выпить стакан молока, а вы отнимаете у меня время. Кончим разговор. Я говорю вам, что интересной работа с флейтой может быть такая... Сперва вы играете на флейте... Какой-нибудь менуэт... Чтобы публика настроилась на грустный лад. Вот. Затем вы флейту проглатываете... Публика ахает. Переключение настроения: удивление, тревога. Затем вы поворачиваетесь к публике спиной, и оказывается, что флейта торчит у вас из того места, откуда никогда не торчат флейты. Это тем пикантней, что вы женщина. Вот. Слушайте меня, это замечательно. Затем вы начинаете дуть во флейту, так сказать, противоположной стороной — и тут уже не менуэт, а что-нибудь повеселее: «Томми, Томми, встретимся во вторник». Понимаете? Публика в восторге, хохот, буря аплодисментов.

Леля. Вы говорите, что я отнимаю у вас время, а сами тратите его на шутки.

Телефонный звонок.

Маржерет. Алло! Что? Приехал? Это неправда. У меня порок сердца. Я могу не вынести удара. Приехал! Ура! Скорей! Скорей! *(Бросает трубку, к Леле.)* Приехал! Вы слышите! Приехал! *(Бегает по коридору.)* Приехал... Приехал!

Леля. Господин Маржерет, я прошу выслушать меня серьезно.

Маржерет *(возвращается, увидел как бы впервые Лелю)*. Что? Ах, вы. Да... Да, да, простите. Я ведь разговаривал с вами. Но у меня ужасная особенность. Когда у меня мысли заняты, я слушаю и ничего не понимаю... вмешиваюсь в разговор... У меня уже целую неделю заняты мысли, я все ждал, понимаете, я все думал: приедет или не приедет? Приедет или не приедет? Приехал! Он собирается танцовать на международном балу артистов. У меня освободились мысли. Да. Так что вы хотите? Вы — флейтистка?

Леля. Я трагическая актриса.

Маржерет. Почему трагическая?

Леля. Вы опять спрашиваете: почему.

Маржерет. Верно, верно, останавливайте меня. У меня опять заняты мысли.

Леля. Вы забавный человек. Чем же теперь у вас заняты мысли?

Маржерет. Подождите... *(Морщится, подносит руку ко лбу.)* Чем-то заняты.

Леля. Ведь тот, кого вы ждали, приехал.

Маржерет. Подождите... Так, так, так... Дайте мне освободить мысли от того, чем они заняты. Да. Готово. Так это они ж вами и заняты, чорт возьми! Что вам нужно от меня?

Леля. У себя на родине я была известная... если хотите... знаменитая артистка. Ведь мне не надо начинать сначала.

Маржерет. Да, да, да, да! Все понимаю. Отлично! Как вы говорите? Почему сначала? Верно. Верно. Верно!

Леля. Или вы не подозреваете, с кем вы говорите?

Маржерет. Превосходно. Превосходный план. Сперва — никто ничего не подозревает... Так... как будто не знаменитость, а так.. ерунда какая-то, очередной номер... И никаких афиш. Я прикажу уничтожить афиши. Мы сделаем так: сегодня же — первое выступление. Мировую знаменитость мы выпустим в середине программы, заменой номера... Без анонса, без рекламы. Браво! Браво! Это сильнее всяких реклам...

Леля. Как?.. сегодня? Но нужно подготовиться.

Маржерет. Кому?.. Кому нужно подготовляться? Ему?

Леля. Ах, я не поняла... Я думала, что вы обо мне говорите. Я устала от вашей манеры мыслить и разговаривать... *(Пауза.)* Ах... *(Пауза.)* Неужели это правда? Скажите, кто это приехал?

Маржерет. Он. Он приехал к балу. А! И согласился у меня выступить...

Леля. Я знаю! Я знаю!

Маржерет. Если вы знаете, ни слова. Вы провалите весь план. Ведь публика ничего не подозревает... Молчите. *(Хватает ее руку, сжимает.)* Да, да, это он..

Леля. Он! Да неужели? Он войдет сюда? Сейчас? Я вас очень прошу: позвольте мне здесь остаться... Я согласна на все условия...

Маржерет. Условия: десять долларов в неделю.

Леля. За что?

Маржерет. Как за что? За вашу работу.

Леля. За какую?

Маржерет. Да за флейту, чорт вас возьми! Как трудно с вами разговаривать.

Леля. Как вам не стыдно!

Маржерет. Почему стыдно? Этого мало? Разве это так трудно: обнажить зад и наигрывать менуэты?

Леля. Когда он придет сюда, я расскажу ему, как вы, европейский импрессарио, издевались над иностранной артисткой. Мне понадобились деньги. Это может быть с каждым. Я унижалась там, где я могла бы главенствовать. Он поймет. Он сама культура, сама человечность, он поймет и возмутится вами, слышите! Он заступится за меня, потому что он лучше вас всех, он лучший человек вашего мира...

Маржерет. Кто? Кто лучший человек нашего мира? Как вам не стыдно. Он ничтожный, жадный, мелкий человек!..

Леля. Неправда. Этого не может быть.

Маржерет. Ну, да — конечно, вы готовы ему все простить. Люди сделали

его богом. Мир помешался на сексуальности. А он, вне всякого сомнения, чемпион сексуальности. Для мужчин — он мужчина, для женщин — он женщина. Может быть, он в самом деле бог? Когда я слушаю его пение, я испытываю такое состояние, как будто передо мной медленно раздевается предназначенная для меня женщина... Тогда я начинаю следить за женским лицом. Феноменально! Он поет, а у каждой из них опускаются веки, как у курицы, они стекленеют, они мертвы... Это экстаз. А что он поет? Дурацкие песенки! Но какая-то тайна сокрыта у него в эрогенной зоне.

Леля. Я думала, что вы говорите о другом.

Маржерет. Никто другой не может сравниться с ним. Он бог.

Леля. Я думала, что приедет Чаплин.

Маржерет. Почему Чаплин?

Шум, воодушевление, приближается люм.

Маржерет. Улялюм. Великий Улялюм.

Входит Улялюм. Артисты со всех сторон. Улялюм смотрит на Лелю. Все видят, что Улялюм смотрит на Лелю. Леля готова попятиться.

Улялюм. Кто это, Маржерет?

Маржерет. Я приготовил ее для тебя.

Улялюм. Кто ты? *(Леля молчит.)* Я — Улялюм.

Леля. Не знаю.

Улялюм. Кто же ты? Негр? Нет, ты не негр. У тебя золотые волосы и лицо персидской белизны. Кто же ты? Галл? Ты древний галл?

Леля. Я не знаю вас. Почему вы так говорите со мной?

Улялюм. Я Улялюм.

Леля. Не знаю.

Маржерет. Она притворяется, чтобы поразвлечь тебя.

Улялюм. Зачем ты штаны надела?

Леля. Оставьте меня в покое.

Улялюм. Чудесно! Сегодня я видел во сне свое детство. Сад, деревянные перила. Я спускался по старой лестнице, скользя рукой по перилам, слегка нагретым солнечными лучами. Ты — воплощенная метафора. Сними куртку, умоляю тебя. У тебя руки круглые, как перила.

Леля. Вы странный человек.

Улялюм. Люди сделали меня богом. Я тоже был мальчик. Зеленые холмы были. Ты пришла из детства, где был город Рим, построенный римлянами. Иди сюда.

Леля. С некоторых пор жизнь кажется похожей на сон.

Маржерет. Идите. Вам улыбнулось счастье.

Улялюм. Подойди ко мне.

Леля. Смешно!

Улялюм. Ну, я сам могу подойти. *(Подходит.)* Я поцелую тебя.

Леля. Я вспомнила. Я знаю. Я слышала вашу песенку... с пластинки... в Москве... зимой... Когда я мечтала о Европе...

Улялюм. Можно поцеловать тебя?

Леля. Можно.

Улялюм целует Лелю. Пауза. Общее восторженное молчание.

Улялюм. Кто ты? *(Маржерету.)* Где ты достал ее, Маржерет?

Маржерет. Она дует прямой кой во флейту.

Улялюм. Тьфу! А вдруг она, не помывши флейту, стала дуть в нее губами

Смех.

Леля. Ну это ж неправда... Ну господин Маржерет, ведь вы же сами все выдумали.

Улялюм *(не обращая на нее внимания)*. Маржерет, ты меня хочешь выпустить сейчас?

Маржерет. Да. Ты должен ляться, как молния.

Леля. Господин Улялюм!

Улялюм. Ну, что тебе?

Леля. Вы обидели меня.

Улялюм. Чем я тебя обидел?

Леля. Вы не знаете меня... Вы можете подумать, что так и есть на самом деле... Я пришла в театр по делу, я думала, что это театр... а это камера пыток... Вы хорошо говорили о детстве...

Улялюм. Воспоминания детства разлетаются, как одуванчик.

Леля. Вы странный человек.

Улялюм. Нет женщины, которая не полюбила бы меня.

Леля. Я знаю... конечно...

Улялюм молчит

Пауза.

Леля. Я так мечтала о Европе Мне бы не хотелось, чтобы у вас создалось плохое

впечатление обо мне... У себя на родине я считалась красивой... Ведь вы сами обратили внимание на меня...

Улялюм. Приди завтра.

Леля. Вы не так понимаете Я схожу с ума.

Пауза.

Где-то аплодисменты. Окончился номер. Подбегают к Маржерету люди.

Маржерет. Сейчас... Сейчас тебе, Улялюм. Ты готов?

Улялюм. Идем. *(Уходят.)*

Леля остается одна. Шум в зале, аплодисменты, крики, топот. Тишина на секунду — и вновь буря. Затем снова тишина и в тишине разливаются звуки рояля — вступление к песенке. Улялюм начинает петь. Леля покидает мюзик-холл. Ходы, переходы, коридорчики. Леля спускается по лесенке. Пение удаляется. Леля остановилась и слушает. Теперь, униженная и одинокая, она слышит звуки праздника, отгороженного чужими окнами. И слушая их, она думает о своей жизни.

Леля. Я хочу домой... Друзья мои, где вы? Что у вас слышно? Новый мир... оборванные люди... Молодость моя... Я хотела продать свою молодость... Я мечтала о тебе, Париж. Я искала славы твоей... Ведь я же знаю это, и как же я могла забыть, что славы нет выше, чем слава тех, кто перестраивает мир... Каждая женщина мать детей, рожденных в новом мире, согбенная в очереди, сияет большей славой, чем все звезды Европы. Чего я хотела? Бального платья? Зачем оно мне? Разве я не была красивой в платье, сшитом из тряпочек! Я хочу домой... Как там спектакли идут без меня? Родина, я хочу слушать шум твоих диспутов. Рабочий, только теперь я понимаю твою мудрость и великодушие, твое лицо, обращенное к звездному небу науки. Я смотрела на тебя исподлобья и боялась тебя, как глупая птица боится того, кто ей дает корм... Прости меня, Страна советов, я иду к тебе... я не хочу на бал... я хочу домой... я хочу стоять в очереди и плакать...

Улица. Осень. Листья. Сверкает асфальт. Скамья. На ней человечек. Приближается фонарщик.

Фонарщик. Эй, человек,

Человек. Ужинаю.

Фонарщик. Во сне?

Человек. Нет, во сне я пообедал. Хотел оставить на ужин немного лукового супа, но, понимаешь успел — проснулся.

Фонарщик. Вот как. Ты, ижу, безработный?

Человек. Тебе нельзя отказать в сообразительности.

Фонарщик. Я бы тебе дал на ужин...

Человек. Не беспокойся, пожалуйста. Разве ты не видишь, что я ужинаю?

Фонарщик. Веселый человечек. Что же ты ешь?

Человек. Дерево. Вон там — видишь — стоит дерево. Я его ем. В конце концов оно похоже на миногу. Если бы не листья.

Фонарщик. Вот чудак-то! Если мне придется есть дерево, я его обязательно с'ем с листьями. Разве плохо, если к миногам подают салат?

Человек. Ты прав. Но я уже наелся. Теперь я хочу сладкого. Я буду есть решотку. Видишь? Очень вкусно. Напоминает вафлю. Только, чорт возьми, что-то попало в мою еду. Ага, женщина. *(Приближается Леля.)* Идет женщина. Это артистка из мюзик-холла.

Фонарщик. Мадам, вы ему испортили десерт.

Человек. Маржерет выгнал меня. Скажите ему, что безработные сожгут его театр.

Леля. За что он вас выгнал?

Человек. За сочувствие безработным. Кроме того, он не любит членов профсоюза. Я флейтист из оркестра. А вы?

Леля. Я тоже член профсоюза.

Фонарщик. Дайте ему на ужин А то ему захочется свинины, и он с'ест полицейского.

Леля. Конечно, конечно, я знаю.. *(Дает ему деньги.)*

Человек. Скажите ваш адрес, и я верну вам долг.

Леля. Я завтра уезжаю. *(Удаляется.)*

Фонарщик. Только ты смотри, не проснись.

Человек. Я ошибся. Это актриса не нашего театра.

Фонарщик. Ты посчитай: хватит на тарелку супа?

Человек. Темно.

Фонарщик. Я зажгу фонарь.

Поднимает шест. Зажигается фонарь над их головами. И в свете его обнаруживается боль-

шое сходство человечка с Чаплиным. Котелок, шевелюра, усики, грубые большие сапоги, тросточка. Фонарщик помогает ему считать, заглядывая в его ладонь.

Фонарщик. Ого! Это целый океан супа.

Человек. А я мечтал только о маленькой луковице величиной в гланду.

Фонарщик. Ну, теперь ты можешь с'есть луковицу величиной, по крайней мере, в этот фонарь. *(Тушит фонарь.)*

Конец сцены

Сцена шестая

ЛОГИКА

В кафе на улице Лантерн. За столиком Федотов и Лахтин.

Лахтин *(читает газету)*. В белогвардейской газете «Россия» помещена статейка, где сказано, что вчера в некоем пансионе ты, советский гражданин Федотов, выстрелом из револьвера убил сотрудника газеты «Россия» Татарова. Принимая во внимание, что сия статья напечатана в газете белогвардейской, допускаю, что ты вышеуказанного Татарникова...

Федотов. Татарова.

Лахтин. Неважно. Я допускаю, что ты этого Татарникова не убил. Я даже предполагаю, что ты не ранил его. Я готов думать, что ты в него и не стрелял вовсе. Можно даже утверждать, что в него стрелять и не собирался. Я верю даже, что у тебя и в мыслях не было стрелять в этого Татарниковского.

Федотов. Ложь.

Лахтин. Неужели ты размахивал револьвером в таком притоне?

Входит лакей.

Лакей. Дама вас спрашивает.

Федотов. Это Гончарова.

Встал, ушел, возвращается с Гончаровой, дает ей стул. Лахтин — поклон.

Леля. Здравствуйте.

Лахтин Я очень рад. *(Рукопожатие.)* Сергей Михайловичем прошу величать.

Федотов. Сейчас отправимся в полпредство. Товарищ Дьяконов сейчас находится там, он позвонит нам и скажет, когда выезжать.

Леля. Очень хорошо.

Лахтин. А вы помните меня? Нет? Нас уже знакомили в Москве однажды, на спектакле. В вашем же театре. Не помните? Я тогда баки носил.

Федотов. Неужели баки носил?

Лахтин. Продолговатые такие бакбарды. Как котлеты.

Федотов. Зачем?

Лахтин. Не знаю—зачем. Сдуру завел.

Федотов. Для смеху. Вот как, значит, мы познакомились с вами в Париже, что вы теперь играете?

Леля. Гамлета.

Лахтин. То есть Офелию?

Леля. Нет самого Гамлета.

Федотов. Да что вы? Женщина играет мужчину?

Леля. Ну да.

Федотов. Но, ведь, по ногам-то видно, что вы женщина.

Леля. Теперь женщина должна думать по-мужски. Революция. Сводятся мужские счеты.

Лахтин. Я вам чаю налью.

Леля. Мне право стыдно, что вы так беспокоитесь. Как вы жизнерадостны.

Лахтин. Вы знаете, у меня, кажется, подагра.

Федотов. А, может быть, датра?

Лахтин. А, может быть, и не подагра. Тоска по родине.

Федотов. Или, вернее всего — насморк хронический.

Лахтин. Да, я запустил грипп. Ну, слушайте, пейте, ешьте, бутерброды берите. Вы первый раз в Париже?

Леля. Да.

Лахтин. Надолго?

Леля. Я хочу уезжать.

Лахтин. Куда? В Ниццу поедете?

Леля. Нет, я хочу домой, в Москву.

Лахтин. Да что вы? Когда?

Леля. Как можно скорее.

Федотов. Давайте, вместе поедем.

Леля. Спасибо. Я с удовольствием.

Лахтин. Ну, и чудно.

Леля. Ну, расскажите, как там в Америке.

Федотов. Да ничего, всего много... только неорганизованно как-то. Без карточек. *(Пауза.)* Елена Николаевна на бал собирается.

Лахтин. Куда?

Федотов. На бал.

Леля. Оставьте, Федотов. Я никуда не собираюсь.

Лахтин. На какой бал?

Федотов. Международный бал артистов.

Лахтин. Вас пригласили?

Леля. Да.

Лахтин. Наглость какая. Приглашать советскую актрису на бал дрессированных обезьян. Вы, конечно, отказались?

Леля. Да.

Лахтин. Еще бы. Вы подумайте, что бы сказали ваши товарищи там, в Москве, если бы вдруг стало известно, что вы согласились плясать на балу Вальтасара Лепельте, который обрекает на голодную смерть своих рабочих.

Входит Дьяконов.

Федотов. Познакомьтесь, Дьяконов. Елена Николаевна Гончарова.

Дьяконов. Кто?

Федотов. Что с тобой?

Дьяконов. Кто?

Федотов. Что с тобой?

Дьяконов. Вы Гончарова?

Леля. Да.

Дьяконов. Зачем вы пришли сюда?

Федотов. Ты пьян?

Дьяконов. Подожди. Вы просмотрели сегодняшние газеты, Сергей Михайлович?

Лахтин. Нет, не успел. А что такое?

Дьяконов *(подсаживается к нему)*. Я только что был в полпредстве, я сообщил, что мы собираемся притти на прием вместе с артисткой Гончаровой. Тогда мне вручили эти газеты, чтобы информировать вас. Вот три французских и две белогвардейских: «Россия» и «Возвращение».

Лахтин. То, что отмечено синим?

Дьяконов. Да.

Лахтин. «Россию» я начал читать. Так, так. О вас тут, о вас.

Леля. Обо мне? Что именно?

Лахтин. Вот сволочная газетка. Едва приедет человек из Москвы...

Дьяконов. Читайте, Сергей Михайлович.

Лахтин. Здесь напечатано так: «Бежавшая из советского рая актриса Гончарова беседовала с сотрудником газеты «Россия». На руках у нее имеется разоблачительный материал совершенно своеобразного культурно-исторического значения...

Федотов. Вы не волнуйтесь, Елена Николаевна, они специалисты по клеветничеству. Они еще не такое напишут.

Дьяконов. На этот раз они написали правду.

Леля. Что вы говорите?

Лахтин. Давайте тише.

Федотов. Дьяконов, не скандаль.

Дьяконов. Ну, а это, Сергей Михайлович? *(Протягивает листок.)*

Лахтин. Это вы писали?

Леля. Не вижу. Да, это расписка насчет платья.

Лахтин. Каким образом к вам попал бланк эмигрантской газеты?

Леля. Не знаю.

Лахтин. Это хуже.

Дьяконов. Теперь прочтите в газете «Возвращение» и во французских газетах кое-что.

Леля. Какая чепуха.

Лахтин. Тише, тише. Так. Статья носит название: «Тайна советской интеллигенции в обмен на парижское платье». Вы продали свой дневник эмигрантам?

Леля. Какой дневник?

Лахтин. «Каждая строчка этого документа омыта слезами. Это исповедь несчастного существа, высоко одаренной натуры, изнемогающей под игом большевистского рабства. Это сверкающая правда о том, как диктатура пролетариата расправляется с тем, что мы считаем величайшим сокровищем мира, человеческой свободной мыслью. На первой странице читаем: «Список преступлений советской власти».

Федотов. Это правда?

Леля. Да. Но это не так. У меня есть тетрадь, она состоит из двух частей. Выслушайте меня... Ах, это ужасно! Я сейчас вам об'ясню. В этой тетради два списка. Один преступлений, другой — благодеяний.

Лахтин. Ничего не понимаю.

Леля. И я не продавала. Это какая-то сплетня. Я не знаю, как это проникло в печать, но пойдемте в мой пансион, я покажу вам эту тетрадь и вы поймете. Я сейчас принесу, хорошо?

Дьяконов *(вынимает из портфеля Лелину тетрадь)*. Эта тетрадь?

Леля. Да.

Лахтин. Откуда она у тебя, Дьяконов?

Дьяконов. Этот дневник и расписку с сопроводительным наглым письмом прислал в полпредство эмигрантский журналист Татаров, с которым г-жа Гончарова имела дело.

Федотов. Как, это тот самый Татаров, который был у вас утром, тогда в пансионе?

Лахтин. Дай-ка сюда. *(Читает.)* «Список преступлений».

Леля. Дальше, дальше смотрите, список «благодеяний».

Лахтин. Нет, никакого другого списка нет.

Леля. Как? Половина оторвана? Кто же оторвал?

Дьяконов. Вы же сами оторвали, чтобы выгоднее продать.

Леля. Я не продавала.

Лахтин. Подожди, Дьяконов. Расскажите, как все было.

Леля. Я хотела пойти на бал, да, да, это так. Я пошла к портнихе, взяла платье, расписку потребовали. Я расписалась, а ее муж — я не знала — ее муж оказался этим самым Татаровым. Он подсунул мне бланк.

Дьяконов. Платье стоит 4000 франков. Где вы надеялись взять такую сумму?

Леля. Я хотела заработать.

Дьяконов. Где? Ясно. Эти 4000 франков вы получили за дневник. Это написано во французской газете.

Лахтин. Подожди, Дьяконов, могут врать, я не верю газетам.

Леля. Товарищи, честное слово, я ничего никому не продавала.

Лахтин. Я вам верю. Вам захотелось потанцовать на балу?

Леля. Разве это страшное преступление?

Лахтин. Но вы знали, что этот бал носит не ясно выраженный, но все-таки фашистский характер.

Леля. Я ведь еще не решила, пойду я или не пойду. Я колебалась.

Лахтин. Так, но платье все-таки купили? Погоня за платьем привела вас к эмигрантам.

Леля. В ловушку.

Лахтин. Да, и коготок увяз.

Дьяконов. Но коготок-то был?

Лахтин. Я говорю, что дневник у вас украли и без вашего ведома напечатали. А если его не было, то его нельзя было бы украсть. Ваше преступление в том, что вы тайно ненавидели нас. Может быть, за то, что у нас нет балов и роскошных платьев.

Леля. Я вас любила, клянусь вам.

Дьяконов. Не верю.

Леля. Как вам доказать — не знаю.

Дьяконов. Поскольку клевета ваша обнародована, надо доказывать не нам, а Парижу и Москве. Мы можем вам поверить, а пролетариат — нет.

Леля. Да, я понимаю. Что же мне делать?

Федотов. Необходим преду.

Дьяконов. Не знаю, захочет ли полпред принять ее. Здесь действует общее правило. Советский гражданин, перешедший в лагерь эмиграции, ставит себя вне закона.

Лахтин. Это не твое дело. В Москве разберутся.

Леля. Я — вне закона?

Дьяконов. Юридически — да.

Леля. Предательница? Тогда все интеллигенты — предатели! Всех надо расстрелять!

Лахтин. Зачем вы клевещете на интеллигенцию?

Федотов. Успок Елена Николаевна.

Лахтин. Я сейчас позвоню в полпредство.

Дьяконов и Лахтин — к выходу.

Дьяконов. Я бы к стенке поставил эту сволочь.

Уходят.

Леля. Федотов, как же теперь быть, голубчик ты мой?

Федотов. Елена Николаевна, давайт спокойно.

Леля. Если я пойду пешком, через всю Европу, с непокрытой головой, и приду на Триумфальную площадь в театр, к общему собранию, стану на колени...

Федотов. Не надо пешком, не надо через всю Европу. Поедем в поезде, по определенному маршруту: Париж, Берлин, Варшава, Негорелое... Теперь довольно философствовать. Вот видите, что получилось. Кому сыграла на руку ваша философия. Но это неважно, чорт с ним. Вы не преступница. Это Дьяконов порет горячку. Отложим до Москвы, а в Москве обсудим. Москва прощала более серьезных преступников, прямых врагов.

Леля. Судить меня?.. Я, ведь, сама судья себе. Я уж давно осудила себя. Разве я живу? *(Пауза.)* Мне дурно,, Федотов.

Федотов Я сейчас принесу... *(Ушел.)*

Леля — к пальто Федотова, которое он снял в начале сцены, крадет из кармана пальто револьвер.

Возвращается Лахтин.

Лахтин. Полпред принимает нас.

Федотов. А где же Елена Николаевна?

Лахтин. Что это значит?

Федотов. Не знаю.

Лахтин. Где же она? Ты что ?

Федотов. Да так, неприятность все это.

Лахтин. Ты веришь ей?

Федотов. Да. Я боюсь, она наделает глупостей. Может быть, слишком резко мы говорили с ней. Я думаю, что она с нами... наша... правда?

Лахтин. Но почему она скрылась? Что мы скажем полпреду?

Федотов. Вы отправляйтесь в полпредство, а я поеду за ней... искать. Может быть, она в пансионе.

Лахтин. Если ты увидишь её, скажи, что ерунда.

Федотов. Скажу, что ерунда.

Лахтин. Скажи, что все устроится

Федотов. Скажу, что все устроится.

Лахтин. Скажи, что в Москву поедем вместе.

Федотов. Ладно, скажу, что вместе.

Лахтин. Скажи в ее стиле, что пролетариат великодушен.

Федотов. Скажу в ее стиле, что пролетариат великодушен.

Конец сцены

Сцена седьмая

БУКЕТ

У Татарова. Леля. Татаров.

Лежит в развернувшейся упаковке серебряное платье.

Татаров. Если вы пришли только затем, чтобы возвратить платье, то вы обратились не туда, куда следовало. Здесь живу я. Госпожа Трегубова живет в другом месте. Но вы узнавали мой адрес, следовательно, вы хотели меня видеть. Теперь вы молчите. Не понимаю. Вы обижены на меня?

Леля молчит.

Татаров. А я думаю, что вы должны быть благодарны мне. Тем, что я украл ваш дневник, я оказал вам большую услугу. (*Леля молчит.*) Советский режим недолговечен. Его уничтожит война, которая разразится не сегодня — завтра. Образуется правительство научной, технической и гуманитарной интеллигенции. Ни для кого не секрет, что начнутся репрессии. Преследования коммунистов и тех, кто им служил наиболее рьяно. Ну, что ж. Возмездие. Конечно, новая власть проявит великодушие. Но на первых порах — военная диктатура, — маршал, который вступит в Москву, будет действовать сурово — как русский патриот, как солдат. Тут ничего не поделаешь. Гуманисты в белых жилетах потупят на некоторое время взоры. И вот представьте себе... если бы не случилось того, что случилось, если бы дневник ваш остался при вас, — скажем, вы вернулись бы обратно в Москву и продолжали бы притворяться большевичкой... и вот произошел бы переворот. Тогда, в один прекрасный день, на рассвете, вас привели бы в комендатуру в числе прочих... Тут уже поздно было бы доказывать и разбираться в дневниках. Вас бы расстреляли, как любую чекистку. Ведь так?

Леля молчит.

Татаров. Теперь вы чисты. Ваш дневник напечатан. Его читают Милюков, генерал Лукомский, русские финансисты, помещики и — главное — та молодежь, которая мечтает ворвавшись в Россию, отомстить за своих расстрелянных отцов и братьев, за молодость свою, не видевшую родины... Они читают вашу исповедь и думают: она была в плену, ее мучили, ее вынуждали служить власти, которую она ненавидела. Она была душой с нами. Следовательно, я помог вам оправдаться перед теми, кто будет устанавливать порядок в России

Леля молчит.

Татаров. Ведь это ясно: где-то в подсознании вашем жила вечная тревога, мысль об ответственности... за кровь, которую при вашем молчаливом согласии проливали большевики. Теперь вам бояться нечего. Я был врачом вашего страха.

Леля молчит.

Татаров. Теперь вы можете быть спокойны. Родина простит вас. И вознаградить. Не долго ждать. У вас будет особняк, автомобили, яхта. В серебряном платье вы будете блистать на балах. Мы встретимся. Я стану во главе большой газеты. Я приеду к вам в театр, неся розы в папиросной бумаге. Мы посмотрим в глаза друг другу, и вы очень крепко пожмете мне руку.

Леля. Встань к стенке, сволочь!

Она резко встает. В руке у нее браунинг. Татаров бросается на нее. Происходит борьба. Леля роняет браунинг. Из-за занавески выходит спавший до этого Кизеветтер. Он

поднимает браунинг. *Леля* в растерзанной одежде лежит, брошенная на диван. Тишина. *Кизеветтер* с браунингом.

Татаров. Дай сюда револьвер.

Кизеветтер молчит.

Татаров. Я говорю: отдай револьвер.

Кизеветтер. Отойди. *(Подходит к Леле.)* Не бойтесь меня. Я буду вашей собакой. *(Леля молчит.)* Я вас не знаю. Я видел вас только один раз в жизни. Вы слушаете меня? Мы встретились на пороге — помните? И вы прошли через все мои железы.

Татаров. Ты можешь вести эту сцену без револьвера.

Кизеветтер. Я — нищий. Но если вы продаетесь за деньги, я сделаюсь вором и убийцей.

Леля *(к выходу, с криком).* Пустите меня! Пустите меня!

Кизеветтер *(бросается за ней, к ногам ее, обнимает ее колени).* Не уходи, не уходи... Мир страшен... черная ночь стоит над миром... ничего не надо... только двое... мужчина и женщина должны обнять друг друга...

Татаров. Пусти ее.

Кизеветтер. Не подходи! *(Стреляет в него. Промах. Тишина.)*

Татаров. Эпилептик.

Кизеветтер *(плачет, лицом*

Шум за дверью. Стук).

Татаров *(подходит к дверям).* В чем дело?

Голос за дверью. Открой, русский!

Татаров. Случайный выстрел.

От дверей бегут. Стихает за дверью.

Татаров. Они пошли за полицией. *(Кизеветтер неподвижен. Молчание.)* Где вы достали револьвер? *(Леля молчит.)* На нем гравировка: «Александру Федотову, комбригу». Вы получили его в посольстве? Какая неосторожность! Если вам поручили меня убить, то следовало снабдить вас другим оружием.

Леля. Меня никто не посылал. Я сама решила убить вас.

Татаров. Из револьвера, принадлежащего сотруднику полпредства?

Леля. Я его украла.

Татаров. А!.. Ну, это естественней. Но полиции выгоднее вам не поверить. На основании этой семизарядной улики будет создана версия, что советское посольство инспирует своих агентов на террористические акты против эмиграции. *(Леля молчит.)* Это повод для ответных актов с нашей стороны. Скажем, для покушения на советского посла.

Леля. Да, я понимаю.

Татаров. Вы хотели свести со мной личные счеты, а в результате может погибнуть советский посол. Вы понимаете? А дальше! Дальше может начаться война. Порох готов. И в России скажут, что вы бросили в него искру. *(Леля молчит.)* Вы, действительно, запутались... Ладно, я еще раз окажу вам услугу... *(Стук в дверь. Татаров у двери.)* Кто?

Голос за дверью. Именем закона.

Татаров *(к Леле).* Спрячьтесь.

Леля уходит за занавеску. *Татаров* открывает дверь. Входят два полицейских в черных пелеринках, с усиками. Молчание.

Первый. Что здесь было, расскажите, будьте любезны?

Татаров. Нечаянный выстрел.

Первый. В воздух?

Татаров. Да.

Второй. В потолок?

Татаров. Я думаю, что в косяк.

Первый. Кто стрелял?

Татаров. Он.

Первый. Кто вы, будьте любезны?

Кизеветтер. Меня зовут Дмитрий Кизеветтер.

Второй. Почему вы стреляете в воздух? Вы именинник сегодня?

Молчание.

Первый. Чем вы занимаетесь?..

Татаров. Он безработный.

Первый. Ага... Откуда у вас оружи ?

Кизеветтер. Не знаю.

Второй. Дай ему в морду, Жан.

Первый. Подожди. Это ваш револьвер?

Кизеветтер. Нет.

Первый. Это русский револьвер. Интересно. Русские снабжают безработных оружием.

Леля *(выходит).* Это неправда.

Второй. Мадам, красивые женщины не должны вмешиваться в политику.

Кизеветтер. Я стрелял в него из-: женщины.

Первый. Из-за вас?

Леля молчит.

Кизеветтер. Да, из-за нее.

Первый (*к Татарову*). Это правда?

Татаров. Да.

Первый. Вы подтверждаете, что произвели покушение на убийство?

Кизеветтер. Да.

Первый. За это полагается каторга... (*Молчание.*) Вы хотите на каторгу?

Кизеветтер молчит.

Второй. Дай ему в морду, Жан.

Первый. Подожди. Если вы не хотите на каторгу, то лучше не настаивайте на версии о покушении.

Кизеветтер. Хорошо.

Первый. Условимся, что вы просто выстрелили в воздух.

Кизеветтор. Хорошо.

Первый. Но из русского револьвера. Если безработный стреляет из русского револьвера во французский воздух, значит, его руку держат большевики. Следовательно, этот безработный хочет сделать революцию при помощи иностранцев. Значит, он изменник. За это полагается гильотина. Вы хотите на гильотину?

Кизеветтер. Нет.

Первый. Так что же нам делать? (*Пауза.*)

Леля. Этот человек не при чем... вы слышите! Во всем виновата я...

Первый. В чем?

Леля. Этот револьвер принесла я.

Первый (*к Татарову*). Кто это?

Татаров. Актриса.

Первый. Откуда у вас русский револьвер?

Леля. Я его украла.

Первый. Где?

Леля молчит.

Первый. Очевидно, в советском посольстве. Французская полиция охраняет советское посольство. Это известно вам. Таково международное правило. Красть вообще нехорошо, а красть в посольстве иностранной державы к тому же и невежливо. Если вы произвели кражу в посольстве, я должен вас арестовать, как воровку. За это полагается тюрьма. Вы хотите в тюрьму за ограбление советского посольства?

Леля молчит.

Татаров. Она испугалась выстрела, и сама не знает, что говорит.

Второй. Ваша любовница?

Татаров. Да.

Второй. Мне тоже нравятся блондинки. (*Пауза.*)

Первый. Итак, случай разучен. Что мы имеем, если забыть о выстреле? Безработного труса и револьвер из советского посольства. И, кроме того, мы знаем, что приближается поход безработных. (*Пауза.*) Если вы любите стрелять, почему бы вам не выстрелить еще раз?

Кизеветтер. В кого?

Первый. Во многих сразу.

Второй. Я думаю, что комиссар одобрит это предложение.

Первый. Мы попросим вас выстрелить в безработных.

Второй. Из большевистского револьвера.

Первый. Они ответят, и тогда драгуны получат законное право на то, чтобы разгромить их. А вы благополучно избегнете каторги. Идемте.

Леля. Негодяй! Негодяй! Вы негодяй!

Первый. Спрячь ее за занавеску, Гастон.

Второй. Я боюсь: она, наверное, царапается.

Первый. Ну, ладно. Она успокоится в об'ятиях своего милого. Идемте, молодой человек.

Кизеветтер неподвижен.

Первый. Ну?..

Второй. Дай ему в морду, Жан.

Кизеветтер идет.

Первый. Нет. Вы впереди, а сколько сзади.

Уходят. Тишина.

Татаров. Итак, вместо того, чтобы шагать под дождем в неуютный комиссариат, вы остались в теплой комнате. (*Леля к дверям.*) Куда вы?

Леля. Я пойду домой.

Татаров. Куда? В пансион? У нет денег.

Леля. В Москву.

Татаров. Как?

Леля. Пешком.

Татаров. Вы сошли с ума! Я вас не пущу. На дворе буря. Вы безумны. Оставайтесь здесь. Я лягу на диване. (*Стук в дверь.*) Тсс... Они пришли за вами. (*Обхватывает ее и бросает на кровать, задергивая занавеску. Открывает дверь.*)

Входит Трегубова. Молчание

Трегубова. В такую ночь я не могу быть одна, Николай Иванович. *(Татаров молчит.)* Я принесла бутылку лафита, чтобы выпить с вами, как прежде. И принесла астры, которые напоминают вам сады нашей родины. *(Татаров молчит.)* Чем вы взволнованы? Что случилось, Николай Иванович? *(Видит платье.)* Ах, вот как!.. Мое сердце не обмануло меня... Она у вас. *(Пауза.)* В бальном платье она пришла к вам. У нее молодые плечи. *(Раздергивает занавеску.)*

Леля сидит, как истукан.

Трегубова. Здравствуйте, гадкий утенок. *(Пауза.)* Почему же вы молчите? Поднимите ваши глазки. Я их выцарапаю. Шлюха! Шлюха! Девка бульварная! Вот тебе! Вот тебе! *(Бьет ее по лицу букетом.)*

Конец сцены

Сцена восьмая

ПРОСЬБА О СЛАВЕ

Ночь. Улица. Рабочие.

Агитатор. Товарищи, я предлагаю разойтись!

1-й голос. Трус!

Агитатор. Запальчивость — не значит: храбрость. Дерзость — обезьяна отваги.

2-й голос. Сам обезьяна.

3-й голос. Говори проще.

Агитатор. Ночью нельзя говорить просто. Ночью или говорят шопотом, или кричат.

Подросток. Убирайся вон, полицейская маска!

Агитатор. Что ты орешь, парень? Рыжий парень, глупый Жак! Ну, что ты орешь?

Подросток. Да здравствует Москва!

Агитатор. Дубина! Ты читаешь газеты?

Подросток. Я не умею читать.

Агитатор. Как же ты смеешь мечтать о переустройстве мира, если ты неграмотен! Москва! Москва! Рыба, глупая рыба, — вас обманывают. Они верят Москве. А ты был в Москве?

Подросток молчит.

Агитатор. Не был? Ну и молчи. А кто-нибудь из вас был в Москве?

Голос Лели. Я была в Москве.

Появляется Леля.

Веселый голос. *(Где-то поет куплет.)*

По середине рынка.
Стоит твоя корзинка.
Блондинка,
Блондинка.
Красотка моя.

Агитатор. Очень приятно. Ну, что же, расскажи этим невеждам о советском рае.

Леля. Сними шапку, когда говоришь с рабочими. *(Сбрасывает с него шляпу.)*

Гул одобрения, смех, рукоплескания.

Агитатор. Ах ты, дрянь! Я оттаскаю тебя за космы.

Подросток дает агитатору пинка в зад. Тот падает.

Веселый голос *(продолжает)*:

Сегодня после рынка
Приди ко мне, блондинка
Блондинка,
Блондинка.
Красотка моя.

Замешательство. Появляется пожилой господин со свитой. Он видит опрокинутого агитатора и возбужденную Лелю.

Пож. господин. Революция еще не началась, господа.

Леля. Поэтому он отделался только шляпой, а когда начнется революция, за шляпой полетит и голова.

Пож. господин. Кто эта фурия?

Агитатор. Пьяная потаскуха.

Молчание

Пож. господин. Я пришел говорить с вами. Будем говорить спокойно.

Леля. Вы сами волнуетесь.

Пож. господин. Дурочка, если, бы я боялся вас, я не пришел бы сюда. Или тебе кажется, что мы живем в восемнадцатом веке?

Леля. Да, мне снятся маркизы, щие на фонарях...

Пож. господин. Ты политически не развита. В наши дни миром правят не маркизы и не короли, а машина, изобретенная демократией и носящая имя капитала.

Леля. Ну, что ж. И фонари теперь другие: электрические.

Пож. господин. Я рычаг машины, которую ты сама изобрела.

Леля. Вы не представлялись мне. Я не обязана знать, кто вы.

Пож. господин *(к свите.)* Можно подумать, что она актриса, которую наняли в эту ночь играть одну из ведьм французской революции. Чего ты бесишься! Она воображает меня аристократом. Дитя мое, я сын метельщицы, я был бедняком, был в юности помощником кузнеца, потом стал слесарем...

Один из свиты. Ночь слишком сырая, чтобы затягивать беседу.

Пож. господин. Я пролетарий по крови и могу говорить с вами на общем языке. Чего вы хотите?

Ткач. Хлеба.

Леля. Ах, только хлеба? Нет! Нет! Почему вы боитесь его?..

Пож. господин. Ты мне мешаешь.

Поднимает трость и перпендикулярно упирает ее в грудь Леле, как бы желая отодвинуть ее.

Леля. Мне больно.

Пож. господин. Не провоцируй своих товарищей. Ты не похожа на женщин с фабрики. Я думаю, что ты служишь в полиции.

Леля схватывает трость. Вырывает ее. Пож. господин неподвижен. Свита отнимает трость у Лели.

Веселый голос *(поет)*:

Снимаю я с блондинки
Юбченку и ботинки—
Блондинка,
Блондинка,
Красотка моя.

Пож. господин. Затруднения пройдут. Нужно подождать.

Ткач. Голодая?

Пож. господин. Ты ежедневно получаешь тарелку супа.

Ткачиха. А дети!

Пож. господин. Не рожайте детей в такое время. Скажи твоему мужу, чтобы он сдерживал себя. Я не могу отвечать за экстаз твоего мужа.

Леля. Бейте его! *(Бросается на него.)*

Свита отталкивает ее. Она падает, лишаясь чувств от удара головой. Паническая тишина. Появляется группа рабочих во главе с тем самым неизвестным, которого видела Леля схваченным и избиваемым в пансионе. Его зовут Анри Сантиллан.

Веселый голос *(поет)*:

Сперва я только в спинку
Поцеловал блондинку.
Блондинка,
Блондинка,
Красотка моя.

Пож. господин. Анри Сантиллан. Член коммунистической партии, бывший депутат — здравствуйте. Вас выпустили из тюрьмы?

Сантиллан молчит.

Пож. господин. Они вас уважают. Вы должны предупредить их. Они заняли улицу. Приближается утро. Вы мешаете городу проснуться. Правительство имеет право вызвать драгун.

Сантиллан. Мы разойдемся, если правительство выслушает наши требования.

Пож. господин. Говорите. Я передам.

Сантиллан. Это длинный список.

Леля приходит в себя, слушает.

Пож. господин. Диктуйте.

Сантиллан. Мы требуем...

Голос. Ясли детям. Зеленые города.

Пож. господин. Кто будет диктовать?

Голос. Сантиллан! Мы живем в лачугах. Требуй дома построить рабочим.

Голос. Дворцы культуры!

Ткач. Больных рабочих лечить на курортах!

Голоса. Курорты трудящимся!

— Охрану труда!

— Отдых беременным!

— Прекратить эксплоатацию подростков!

— Большие кухни на помощь женам!

— Свободу нациям!

— Шестичасовой рабочий день!

— Фабрики рабочим!

— Заводы!

— Землю отнять у помещиков!

— Науку на службу пролетариату!

— Всю власть трудящимся!

Леля. Браво! Браво! Ты слышишь? Читайте, читайте список благодеяний.

Пож. господин. Чтобы провести этот список в жизнь...

Сантиллан. Нужна социальная революция.

Пож. господин. Мой бывший коллега, член палаты — вы утопист. Вас слишком рано выпустили из тюрьмы.

Крики. Долой! Долой! Да здравствует советы!

Пож. господин. Сырость к рассвету усиливается. Идемте, господа.

Пожилой господин со свитой уходят.

Леля. Я помню... я помню... я вспомнила все. Сады, театры, искусство рабочим!

Крики. Да здравствует Москва!

Леля. Я видела глобус в руках пастуха. Я видела Красную армию.

Крики. Да здравствует Москва!

Леля. Я видела знанье в глазах пролетария. Я слышала лозунг: долой войну! Я вспомнила все.

Сантиллан. Как ты попала к нам?

Веселый голос *(поет)*.

> И вот в конце картинки
> Приходит муж блондинки,
> Блондинка,
> Блондинка,
> Красотка моя.

Появляется нач. полиции со свитой. Тишина.

Нач. полиции *(к Сантиллану)*. С кем говоришь?

Сантиллан молчит.

Нач. полиции. Вы должны покинуть город по следующему маршруту...

Сантиллан. Мы не уйдем из города.

Леля *(увидела появившегося Кизеветтера)*. Этот человек... осторожно... умоляю вас... Полицейские поручили ему... он убьет вас...

Сантиллан. Откуда ты знаешь? Ты разве служишь в полиции?

Нач. полиции. Итак, мы ждем.

Сантиллан. Чего ты ждешь, палач?

Нач. полиции. Взять его! *(Выходит полицейский.)* Протяните руки.

Полицейский вынимает наручники.

Нач. полиции. Руки...

Сантиллан неподвижен.

Нач. полиции. Силой...

Полицейский с наручниками делает движение. Сантиллан ударяет его по руке. Кизеветтер стреляет в него. Леля успевает закрыть Сантиллана собой. Паника. Гнев.

Крики. Убили русскую! Смерть! Смерть!

Леля. Нет. Нет. Не надо. Не отвечайте им... Этот человек свел со мной личные счеты... Из ревности. *(Падает.)*

Полиция смывается. Револьвер брошен. Сантиллан поднимает его.

Леля. Это я... украла... у товарища...

Веселый голос *(поет)*:

> Две родинки-кровинки
> На шейке у блондинки,
> Блондинка,
> Блондинка,
> Красотка моя.

Леля *(у ног Сантиллана)*. Я узнала вас... в пансионе... полиция... а я побежала за платьем... простите меня... *(Затихает.)*

Голоса. Она воровка.

— Он ее из ревности.

— Любовник ее.

— Оба служили в полиции!

— Предательница!

Потаскуха!..

Леля. Простите меня... я знаю... Я вижу: идут... идут... войска советов... с лохмотьями красных знамен, с ногами, разбитыми о камни переходов... валить стены Европы... Товарищи... скажите им... что я все поняла... раскаялась... *(Встает.)* Париж. Париж. Вот слава твоя, Париж!

Рушится. Ткачиха наклоняется над ней.

Ткачиха. Не слышу. Не слышу.

Леля обнимает ее голову, шепчет.

Ткачиха. Она просит накрыть ее тело красным флагом.

Сантиллан. Поднимите флаги. Приближаются драгуны. Мы пойдем навстречу.

Идут безработные. Леля лежит мертвая, не покрытая.

Марш.

Конец

Фабрика снов

Хроника наших дней

Илья Эренбург

(Окончание)

IX. Шлак жизни

1

Аппараты делают из металла и стекла, пленку из целлулоида и желатина. Из чего делают сны?.. Из долларов, из улыбок или, может быть, из ночного зияния?..

У рабочих руки и ремесло. У фигурантов только тоска. Они ничего не умеют делать. Самые счастливые живы своим уродством: горбом, кривизной, злым оскалом или придурковатой улыбкой — это специалисты. У большинства нет ни горба, ни особых примет: пять пальцев, обыкновенное лицо, средний рост. Они не работают на настоящих фабриках, там, где выделываются вещи: пленка, линзы, прожекторы. Они презирают низкий труд: это люди с тонкой душой и с неумеренным честолюбием. Они хотели прыгнуть и они упали. В кино это называется «фигурацией». Трудно сосчитать, сколько их: они не записываются в союзы и они неохотно определяют свою профессию. Одни называют себя «актерами», другие просто «неудачниками». Столько-то выходят в люди, столько-то кончают самоубийством, но каждый день из тихих захолустных городков, где липы и душные сплетни, приезжают все новые и новые.

Луизу бросил муж. Что она будет делать?.. Контора? Нет, контора — это скука и потом там надо что-то уметь... Она пойдет сниматься. Говорят за это платят сто франков...

Карл остался без работы. Вот фигурантам хорошо — двадцать марок!.. У Карла грудь на выкат и томный взгляд. Это наверное в цене... Решено, он будет сниматься...

Джон Бернстайн — неудачный изобретатель. Мэри не может найти покровителя, Джона Мелда уличили — он передергивал карты, Михайлова прогнали из «монархической партии», Беппо бежал — фашисты его хотели арестовать, — все они рвутся в Холливуд: пять долларов, легкая работа, — ходить и улыбаться, притом не пошлость, не гросбухи, не машинка, нет, святое искусство! Они увидят себя на экране... Скорее сниматься!..

Они толпятся у ворот. Они заискивающе кланяются. Они еще верят и в чистоту искусства и в свою звезду.

Подумайте, Рамон Наварро тоже был фигурантом... Вдруг: «Бен-Хур»... Это как лотерея... А Осси Освальд?.. Она начала с таких же поклонов: в Бабельсберге ее не хотели взять... Теперь это настоящая «звезда»!.. Да, что говорить! Глория Свансон, и та была фигуранткой!..

Сторож открывает ворота. Это ворота для фигурантов — актеры входят через калитку. Окрики. Виноватые улыбки. На сегодня хватит. Неудачники плетутся домой. Счастливцы входят в павильон и невольно закрывают глаза: едкий

свет слепит. Режиссер командует: «На места!..» Работа начинается. Восемь, десять, пятнадцать часов — это ведь не низкий труд, это служение искусству. Болит спина. Болят руки. Глаза слезятся. Фигуранты старательно улыбаются — они сегодня на великосветском приеме. Они задыхаются от горячего воздуха и от усталости. Они больше не помнят о Глории Свансон. Потом они зажимают в руку несколько монет и уныло жуют бутерброды.

2

Фрейлен Эльза жила прежде в Иене. Там много развесистых деревьев и старых философов. Философы курят дешевые сигары, а деревья весной утомительно пахнут. Фрейлен Эльза дочь почтового чиновника. Ее отец весь день заполняет бланки переводов. Вечером он играет в кегли или говорит об иностранной политике. Фрейлен Эльза скучала. Она не любила ни штопать носки, ни чистить картошку. Когда отец говорил: «бог даст, выйдешь замуж за хорошего человека», она уходила к себе и подолгу плакала. Она любила только одно: кино. Там она жила другой жизнью, высокой и стремительной.

Фрейлен Эльза помогала фрау Фукс делать шляпы. На заработанные деньги она ходила в кино, выписывала журнал «Фильм-Курьер» и покупала открытки с портретами «звезд». Отец думал, что она живет с ним, в тихой Иене. На самом деле она жила с Гретой Гарбо, с Бестер Китоном и Адольфом Менжу.

Она писала письма в редакцию: какие волосы у Греты Гарбо? Сколько она весит? Какого роста Вилли Фрич? За кем замужем Глория Свансон? Секретарь редакции, проверив приложены ли на ответ марки, диктовал: «нежно-золотые», «пятьдесят семь кило», «один метр шестьдесят девять», «за маркизом Фазел де-ля-Кудре». ...Фрейлен Эльза подбегала к зеркалу: она, кажется, одного роста с Лией де-Путти, у нее светлые волосы, как у Греты, глаза у нее не хуже, чем у Глории... Вот ресницы... Фотогеничны ли ее ресницы?.. «Замуж за хорошего человека...» Какая пошлость! Она выйдет замуж за маркиза или за Вилли Фрича: он так прекрасен в «Венгерской рапсодии», к тому же он не женат.

Фрейлен Эльза пишет Гарольду Лойду: «Я очень несчастна. Здесь никто не понимает кино. Это маленький город. Все думают о пошлом — только деньги и деньги. Я чувствую, что я рождена для искусства. Я могу быть Гретой Гарбо. Я читала вашу биографию. Вы тоже были несчастны. Вспомните то время, когда вы продавали конфекты... У меня очень фотогеничные глаза. У меня звучный голос. Я учусь говорить по-английски. Вы должны помочь мне стать актрисой. Я вас уважаю и люблю. Я не хочу денег, я хочу только играть, я хочу заставлять людей плакать и смеяться...»

В особом департаменте «Парамаунта» служащий вскрывает письма фрейлен Эльзы. Он устал, он просмотрел сегодня четыреста писем. У него веснушки и меланхолия. Он бегло смотрит на адрес и диктует: «Гарольд Лойд просит меня поблагодарить Вас за Ваше внимание, которое его глубоко тронуло. Он посылает Вам при сем свою фотографию с собственноручной надписью...»

Фрейлен Эльза вешает фотографию на стенку. Гарольд Лойд приветливо улыбается. Конечно, он очень занят, он не может отвечать на все письма. Надо вступить в этот заколдованный мир! Там можно запросто встретить Гарольда Лойда или Фрича. Сказать все. Заставить понять и полюбить. Сидя в Иене, ничего не дождешься, кроме «хорошего мужа» и этих носков...

Носки летят на пол. Чемоданчик раскрыт. Почтовый чиновник хмуро сморкается. Прощайте, философы и деревья!.. Фрейлен Эльза спешит к славе!..

Вот уже восемь месяцев, как фрейлен Эльза живет в заколдованном мире. Она притихла и осунулась. Правда, ей удалось стать фигуранткой, но это трудно и скучно. Кажется, штопать носки и то веселей... Она снимается раза два в неделю. Жить приходится впроголодь. Отцу она пишет: «Я хорошо зарабатываю, и к рождеству я тебе пришлю коробку сигар. Я надеюсь скоро получить крупную роль...» На самом деле она ни на что не надеется. В нее не влюбились

ни Фрич, ни Лидке. Один раз она стояла рядом с Фричем, она попробовала заговорить с ним, но тот устало отмахнулся. Денег нехватает даже на комнату. Второй месяц она должна хозяйке. Она больше не ходит в кино и не выписывает журналов. Иногда она останавливается возле гастрономических лавок и подолгу смотрит на выставленную снедь.

Сегодня — с'емка. В вагоне фрейлен Эльза читает оставленную кем-то газету. По привычке она заглядывает в отдел кино. Гарольд Лойд получает в неделю 20 000 долларов: у него очки и удача... Грета Гарбо получает в неделю 15 000 долларов: она «русая сирена». Сколько это 20 000 долларов?.. Фрейлен Эльза погрубела душой: она теперь думает о деньгах. Она разыскивает в газете биржевую таблицу: доллар — 4 марки 20 пфеннигов... Помножить двадцать на сорок два... Приехали!.. Фрейлен Эльза бежит на работу.

Режиссер Пабст говорил злодею: «потом вы ее укусите...» Пабст любит в кино правдивость: даже хорошая актриса не сумеет передать испуг и боль. У этой фигурантки наивная мордочка. Может выйти занятно... «Вы ее укусите повыше локтя...» Актер несколько смущен, но Пабст его успокаивает: «Вы положите на укушенное место доллар. Это — по сценарию и это ее утешит: доллар вы оставите ей...»

Фрейлен Эльза покорно ложится на кушетку. Сейчас ее будут обнимать — это нужно для картины. Она согласна на все. Фрич в нее не влюбился, но она провела четыре ночи с заведующим бутафорией, он обещал устроить ей маленькую роль. Он противно хрипел и ронял слюну, потом он надул ее. Лучше не вспоминать об этом!.. Ее обнимают. Она должна приятно повизгивать. Она повизгивает: это ее первая роль, это не просто фигурация, это на десять марок больше... Вдруг злодей пребольно ее кусает. Она кричит. На руке лиловый полукруг. Пабст потирает руки: хорошо! Фрейлен Эльза готова обидеться: над ней зло пошутили, но с'емка продолжается: на лиловый полукруг ложится зеленая бумажка. Что это?.. Доллар, настоящий доллар!.. Фрейлен Эльза вспоминает: «4 марки 20...» Можно купить чулки... А чулки необходимы для работы...

Вечером фрейлен Эльза останавливается возле колбасной. Какие вкусные вещи!.. Но не следует мечтать: она уже с'ела пару сосисок. Надо сделать вечернее платье — без этого не берут на с'емки... Доллара больше нет... Гарольд Лойд—20 000... Да, у него очки и удача. А у фрейлен Эльзы только тоска нудная и неотвязная. Она идет к себе, прячась от брюзгливой хозяйки. Без сил она валится на кровать. Ей снятся старые философы и деревья. Она плачет во сне.

— Фрейлен Эльза, почему вы плачете? Вы безнадежно влюблены в Вилли Фрича? Или, может быть, вы хороните святое искусство?..

Фрейлен Эльза ничего не отвечает. Ее слезы только свидетельство о профессии — все фигурантки страдают воспалением роговой оболочки и все они плачут по ночам. Эти слезы длинны и постоянны, как осенний дождь.

3

Море выкидывает на берег гнилые доски и мертвые водоросли, берег моря длинен. Куда выкидывает жизнь свой сор?.. Для женщин дорога ясна. На узких улицах Галаты они сидят раздетые и раскрашенные: они ждут матросов. Что делать мужчинам?.. Они идут в «Иностранный легион», они стреляют из французских винтовок в арабов. Другие становятся фигурантами. Эти никого не убивают, они только грустно копошатся возле фабричных ворот. У них должны быть благородные лица и чистые манишки. Они веселятся, танцуют или непринужденно беседуют, двенадцать, пятнадцать часов сряду: ведь это не рабочие, это сор жизни, его во-время не замели.

Среди фигурантов много русских: потеряв надежду, они сберегли мундиры. Их берегут для картин из русской жизни: это теперь в моде.

Рабочие быстро построили бутафорский дом. На двери: «Ресторан Феодосия». Сверкают эполеты, высятся залихватские папахи, кокетливо подмигивают вышитые на рукавах черепа. Балалайки. Пьяный рокот. Романсы. Водка. У окна полевой телефон, карта генераль-

ного штаба, угрюмые лица: «красные близко...» Впрочем, никому нет до этого дела. На бочке толстяк-интендант разливает водку. Это туземный Вакх.

На стол сажают полуголую женщину. С нее сдирают шаль, плохо сдирают: без темперамента. Повторить всю сцену!

— Давненько мы не видались с вами, полковник...

— Простите, вы в каком полку служили?..

Режиссер доволен: русские офицеры играют самих себя. Восемьдесят душ... Вот этот седоусый — настоящий генерал. Они знают, как кутить, как бить стаканы, как веселиться по-русски. Режиссер кричит помощнику:

— Переведите им — пусть веселятся! Еще веселее! Если они будут хорошо веселиться, мы их позовем снова...

Послушливо интендант разливает водку, поручик кидает рюмки на пол, а красавец-полковник обнимает женщину, и послушливо женщина взвизгивает. На ней еще тряпка. Показать бедра. Ведь публика обожает бедра!.. Женщина упирается.

— Переведите — вздор! Стыдно? Наплевать! Пусть думает, что она на пляже!.. Всю сцену сначала! И пусть они веселятся!..

Им переводят, и они веселятся. За это веселье они получат по пятнадцати марок. Зачем сохранили они мундиры? Надеются на реставрацию или решили удовольствоваться судьбой фигуранта?.. Кто знает...

Во время перерыва — шопот:

— Говорят, китайцы вербуют русских... 200 долларов под'емных и на дорогу... Махнем...

Мечты прерываются криком режиссера. Веселиться! Бить зеркала! Хватать женщин! Отрабатывать пятнадцать марок!

— Вот, может быть, на будущей неделе снова возьмут!.. Они должны снимать красных... Мундиры здесь выдадут, а с лица мы сойдем за большевиков...

Еще одна мечта: если не в китайскую армию, то хотя бы на новую с'емку, сыграть большевиков. Потом — гвардейцев. Потом — опричников. Потом мужиков в боярских кафтанах, которые танцуют камаринскую и крестятся. Все равно кого. Все равно как. Все равно где: в Бабельсберге, в Жуанвиле, в Холливуде. Хорошо, если раз в неделю!.. 480 франков. 15 марок. 5 долларов. В соседнем кабачке — кусок говядины и рюмка сивухи. Потом тяжелый свинцовый сон.

Да, кино — великая индустрия! Здесь ничего зря не пропадает. Из человеческого шлака здесь делают красивые картины, марки и франки, катушки пестрой пленки и полные томных вздохов длинные вечера.

4

Чарли восемь лет. У него пухлые щеки и глаза мудреца. Дома мать его ставит в угол, и он угрюмо хныкает. На фабрике «Парамаунта» никто не ставит Чарли в угол, его треплют по плечу и ему дают конфеты. Чарли каждый день на фабрике: он работает, он помогает матери, он содержит свою старшую сестру. Всем нравится мордочка Чарли. Помилуйте, такой карапуз, а глаза взрослого!.. Это настоящий скептик. Когда пастор говорит о евангельских чудесах, Чарли пренебрежительно усмехается: он знает эти трюки! Увидев как-то мать в слезах, он заметил: «Ты очень плохо плачешь, вот Элен Морган, та умеет плакать...» Сам Чарли никогда не плачет— зачем плакать, если этого нет в сценарии? Правда, глаза у него часто слезятся, но это пустяки, это от ламп, доктор впускает ему в глаза капли. У Гертруды Лоуренс тоже часто слезятся глаза, она «звезда», ей платят уйму. Чарли пока зарабатывает мало, но он вырастет и получит роль. Он будет как Губерт Хинлей!..

Чарли приносит домой три доллара. Мать, растроганная, гладит его по голове. Она шепчет:

— Чарли, ты любишь маму?..

Чарли пожимает плечами: мама не умеет играть. Вот Элен Морган, та спрашивает: «ты меня лю-бишь», и режиссер от восторга закрывает глаза. А после этого целуются. Конечно, Элен в душе наплевать на Джона, она связалась с другим. Но это трюк. Все трюк — и пастор, и мама, и Чарли!..

У Чарли короткие штанишки и очень старые глаза.

Чарли много: публика любит на экране детские лица. С ранних лет они учатся поддельному труду и необходимому для жизни разочарованию. Законы различных государств запрещают брать для с'емок детей до трех лет. К четырем годам дети созревают для диковинной работы. Они перестают плакать детскими слезами, они плачут от глазных заболеваний. Они узнают сначала кино, потом жизнь. Это хорошая школа: жизнь оказывается похожей на экран. Тогда они становятся неврастениками или бандитами. Избранных сажают на электрический стул. Остальные копошатся в щелях больших городов: они мечтают о роли. Они до конца остаются фигурантами. Тогда на помощь приходит петля, бром или тяжелая рука полицейского.

«Уфа» недаром гордилась своей картиной «Метрополис». Эта картина влетела в копейку! Газеты восторженно сообщали: 6 000 000 марок!.. Конечно, «Парамаунт» потратил на «Бен-Хура» в три раза больше, но за Америкой не угонишься. Для европейцев «Метрополис» мотовство. Что за картина: фантастический город, гигантские лифты, подземелья, тысячи исполнителей, утопия, поэзия!.. Немцы не примитивные янки, они могут придумать нечто поглубже колесницы «Бен-Хура»!

Газеты, листовки, афиши усиленно расхваливали картину. Два города: верхний и нижний. Внизу — рабы, наверху — господа. Рабы готовы взбунтоваться. Но в дело вмешивается любовь: девушка с глазами мученицы, «звезда», Бригитта Хельм. Молодой человек. Он пришел сверху. Он оценил глаза мученицы. Он примиряет два города. Это торжество разума и это хороший жених. Спешите в театры «Уфы, вы, обитатели верхнего города, или, говоря точнее, западных кварталов Берлина! Вы помните революцию, голодных возле булочных, оравы спартаковцев, выстрелы, камни, кровь! Вы пережили это, как скучную прозу, как телеграммы газет, как закрытые наглухо ставни. Вы вновь переживете это, как красивую сказку с глазами Бригитты — и с декорациями в шесть миллионов!.. Когда картина пройдет в шикарных театрах, ее будут показывать повсюду. Ее увидят также обитатели нижнего города. Они еще недавно бунтовали. Они слушали речи грубых агитаторов. Они хотели насытиться пошлым хлебом. Они увидят, что все дело в глазах мученицы и в красоте избранного посредника. С радостью пожмут они руку, которую им протягивают, хотя бы на полотне, обитатели верхнего города. Прекрасная картина и к тому же полезная! «Уфа» не остановилась ни перед какими затратами. Знаете ли вы, что это стоило шесть миллионов? Знаете ли вы, что с'емки продолжались много месяцев? Знаете ли вы — здесь голос становится тихим и задушевным, — что эта картина стоила также нескольких человеческих жизней?.. Одни уверяют: пять, другие: шесть. Шесть миллионов и шесть жизней!..

Разумеется, никто никого не убивал, дело обошлось без полиции. Вся суть в фантазии постановщика и в хрупкости человеческого организма. Пенять следует на природу. По сценарию вода заливает город. В воде сотни детей. Это чрезвычайно эффектно!..

«Уфа» помогла безработным: их дети получили работу. Дети стояли в воде час, два, три. Операторы крутили, режиссер искал хорошего угла с'емки, рабочие переставляли лампы. Потом дети пошли домой. Некоторые заболели. Некоторые умерли. Одни говорят — пять, другие — шесть. Впрочем, дети часто умирают, тем паче дети безработных. Это относится к статистике смертности, но не к достижениям «Уфы».

Для рекламы, однако, не мешает напомнить, правда глухо, как бы невзначай, как бы оговорясь: картина стоила нескольких человеческих жизней! Это сразу заинтересует публику. Это повысит сборы. А нам нужно окупить наши шесть миллионов...

В «Международном бюро труда» почтенные адвокаты, позевывая, обсуждали вопрос о защите детского труда. В кинопромышленности замечены некоторые из'яны... Представитель Германии самодовольно улыбается: не у нас! Предста-

витель Германии вынимает из портфеля лист:

«Ребенка могут нанимать только для с'емок, которые никак не отражаются пагубно на его нравственном или физическом состоянии»...

Закончив труды, члены «Бюро» расходятся. Представитель Германии говорит одному из своих коллег:

— У вас кажется теперь идет «Метрополис»?.. Я очень рад — это заслуженный успех!.. Глаза Бригитты Хельм... И потом наводнение — нет, это действительно колоссально!..

Представитель Германии — эстет и философ: ему нравятся назидательные картины.

5

Кино щедро оплачивает труд. Шаляпину за участие в картине предложили 200 000 долларов. У Шаляпина голос и слава. Ему платят не зря.

Фигуранту, который согласен спуститься с самолета на парашюте, платят 80 долларов: такова ставка. Он мог бы получать 8 долларов, как обыкновенный фигурант. Спускаясь на парашюте, он рискует разбиться. Он получает 80 долларов. Ему также платят не зря.

Публика любит смотреть, как другие рискуют своей жизнью. Когда-то она удовлетворялась трапециями цирка, теперь она выросла и поумнела, она хочет более возвышенных зрелищ: борьбы на крыше курьерского поезда или на крыльях самолета, прыжков с цепного моста или с крыши небоскреба, рвущихся снарядов или затопленных подземелий, все это вперемежку с любовью, после первого признания и до заключительного поцелуя.

Звезды падают только на осеннем небе, волнуя запоздалых мечтателей. «Звезды» Холливуда никогда не падают. Они не прыгают вниз и не приближаются к фитилю сапера. Для этого существуют фигуранты и фигуранты дублируют.

В бюро Вилля Хейса имеется одна весьма элегическая папка. «Царь кино» не любит в нее заглядывать: ведь он малиновка и пресвитерианец. Это статистика несчастных случаев. В среднем Холливуд отмечает 15 несчастных случаев за день. За последние 5 лет — 10 794 иска: смерть или увечья. Высокое искусство всегда требовало искупительных жертв.

Может ли «звезда» рисковать своей жизнью? Ведь у нее слава, поклонники во всех частях света и солидный контракт: столько-то тысяч долларов в неделю. «Звезды» принадлежат не себе, но «Парамаунту» или «Фоксу». Они также принадлежат человечеству. Другое дело — фигуранты, этим нечего терять. Для них существует тариф: спуск на парашюте 80 долларов, головой вниз — 150 долларов, борьба на крыльях самолета — 225 долларов. С крыльев легко свалиться. Здесь мало ловкости, здесь необходимо равнодушие к жизни. Платят именно за равнодушие и хорошо платят — 225 долларов. Человек или разбивается, или на радостях плотно ужинает, покупает жене новое платье, а себе ботинки.

Публике нравятся военные картины — вокруг Холливуда фронт: окопы, танки, пулеметы, свист снарядов, носилки санитаров. Это бутафорская война, но она все же обошлась в 250 000 долларов — эту сумму пришлось выплатить семействам 55 погибших. Впрочем стоит ли на этом настаивать? Настоящая война обошлась куда дороже. Притом военными картинами мы воспитываем в зрителях дух человеколюбия и любви. Для этого никто не пожалеет 55 жизней.

Джузеппо долго искал работу. Когда-то в Америке люди находили все: золото, нефть, счастье. Теперь не те времена. Оскудела земля и нет в великой Америке счастья. Джузеппо строил дома, потом дома перестали строить и Джузеппо оказался безработным. Он пробовал продавать яблоки, но продавцов яблок было больше, нежели покупателей. Он угрюмо голодал. Он перебирался из города в город. Наконец попал он в сказочный Холливуд. У него не было ни кривого глаза, ни крючковатых рук классического злодея. Джузеппо был обыкновенным малым и его не брали для с'емок. Каждый вечер с четырех до восьми в «Централ-Кестинг» звонили по телефону администраторы различных фабрик: десять тысяч звонков. Десять

тысяч фигурантов радостно спешили на работу. Девяносто тысяч оставались без работы и среди них Джузеппо.

«Фокс-Фильм-Корпорешен» ставил картину, рядовую картину, без особых трюков и без дорогих «звезд»: любовь, разлука, злодей хочет ограбить отца девушки, влюбленный спасает отца, погоня за злодеем: сначала в автомобиле, потом на самолете. Злодей — летчик, влюбленный — пассажир: борьба на крыльях. Конечно, это не новинка, но публика это любит. У модисток дух захватывает, а картина, как было сказано, для средней публики.

Актер бодр и жесток в кожаном шлеме. Его рука злодея ложится на руль. Все это заснято. Теперь — борьба на крыльях. Завтра к одиннадцати — достать дублера. Актер будет отдыхать: он, конечно, не имеет права принимать участье в столь опасных с'емках — его жизнь застрахована.

Так нашлась работа и для Джузеппо. В Америке каждый может пристроиться, пристроился Цукор, пристроился Фокс, теперь пристроится бедняга Джузеппо. Ведь ему обещали за 2 часа 225 долларов!.. Правда можно сорваться, но сорваться можно и с лесов: пока в Америке строили дома, Джузеппо карабкался по доскам и по канатам, на двадцатом, на тридцатом этаже. Он привык к пустоте под ногами и к гулу ветра. Не колеблясь подписывает он бумагу. Обыкновенный контракт. Обыкновенный рабочий. Номер такой-то. В одиннадцать утра.

Наверное Джузеппо попросту отощал от восьми месяцев недоедания. Ноги подвели его: он не устоял. Он полетел вниз, как бутафорская кукла. Зато оператор, тот не опешил: он продолжал крутить до конца. Сцена таким образом была заснята и влюбленного пассажира теперь можно обвенчать с признательной девушкой. Картина неожиданно поднялась в цене: борьба вышла на редкость эффектно!.. Актер, игравший злодея, получил несколько восторженных писем. Режиссеру повысили оклад. Что касается Джузеппо, то ему пришлось отнять ноги. Зато ему спасли жизнь. О несчастном случае сообщила только одна газета, да и то мелким шрифтом. Мистер Уильям Фокс даже не узнал о столь ничтожном событьи: его не интересует производство, он покупает залы и продает картины.

Большой театр. Под'езжают автомобили. Нарядные дамы. Деловые мистеры. Вечерний сеанс. Новая картина «Фокса». Возле театра стучит деревяшками Джузеппо. Он открывает дверцы автомобилей. Какая-то сентиментальная девушка дала ему монету: она сегодня влюблена. Какой-то мистер огрызнулся: он сегодня потерял на меди. Джузеппо робко ежится и открывает дверцы. Потом тротуар пустеет. В театре публика смотрит интересную картину: влюбленный преследует злодея. Сентиментальная девушка, та, что дала Джузеппо медяк, тихонько плачет: ей боязно за влюбленного. Но нет, слава богу, злодей летит вниз!.. Все облегченно вздыхают. После этого — луна и поцелуй. Девушка пудрит носик.

Джузеппо долго стучит деревяшками по улицам города. Вокруг него рыжий туман: это отсвет города, отсвет жизни.

X. Вот ваша жизнь

Работают рабочие на фабриках «Кодака» или «Агфы», «Уэстерн-Электрика» или «Клангфильм-Тобиса», в Холливуде, в Жуанвиле, в Бабельсберге. Без рабочих не было бы кино. Без рабочих не было бы и жизни. Тени на экране могут стрелять или играть в крикет. Мистер Истман может любить музыку, г. Натан может любезничать с акционерами, г. Гугенберг может мечтать о мощи Германии. Это их дело. А рабочие должны работать.

— Господа, покажем все величье труда!.. На газеты нельзя положиться: многие рабочие читают коммунистический листок. Но в кино ходят все. Я предлагаю заказать картину для пропаганды труда углекопов.

Г. директор в изнеможении смахивает пепел с сигары. Его лицо, обычно добродушное и беспечное, свидетельствует о душевном напряжении. Он говорит не о новых пластах, не о происках бельгийцев, он говорит о подвижничестве. Нужды нет, что жена г-на директора

ласково зовет его «мой ленивец», он хорошо понимает все величие труда. Он добавляет тихо, скорее задушевно:

— Надо же бороться с этими агитаторами!..

На столе пресс-папье: Венера и голубок. Синеет дымок сигар. Кабинет пахнет тропиками и крупными цифрами. Затонув в кожаных креслах, владельцы шахт сосредоточенно мечтают.

За окнами прямая унылая улица, одинаковые дома, редкие прохожие — Брюэ работает. Чахлые деревья припудрены черной пылью. Это скучные осенние сумерки — не стоит смотреть в окно!..

Предложение принято. Итак, мы заказываем картину, настоящую большую картину, с актерами, с любовью, но и с шахтами, обязательно с шахтами — наш Брюэ ничуть не хуже Холливуда!

Пусто на улицах, только сажа и дома. Брюэ нет, Брюэ работает, Брюэ под землей. Другие города просто существуют, у Брюэ высокое назначение: он добывает уголь. Он кормит печи заводов, он согревает иззябшие руки бедняка, он приносит превосходные дивиденды всем держателям угольных акций.

В шахтах жарко, душно, темно. Рабочие туда уносят крохотный свет лампы. Это напоминает мифологические сказания и это обыкновенный быт. Спускаются старики и мальчики: здесь под землей проходит то, что наверху зовут «золотым детством». Слепая кляча тащится по узкой галлерее. Полуголые люди покрыты черным потом. Порой лампочка гаснет: нечем больше дышать. Воздух доходит скупой струей и воздух — роскошь. Ноги вязнут в черном тесте. Сверху каплет черная вода. Так до вечера, пока не подымется, скрипя и содрогаясь, грязная площадка...

Когда шахтеры спустились, было еще темно. Наверху солнце успело взойти и зайти. Наверху приказчик, увидав солнечного зайчика, тихо усмехнулся. Наверху г. директор журил свою дочку: «ты мало гуляешь, это вредно для здоровья»... Наверху был день и он кончился.

Шахтеры смывают с тела черный налет, но угольная пыль вошла внутрь: ее не смыть, не соскоблить — она на сердце. В кабаке — осипшая шарманка и едкий спирт. Дома — жена, игла, суп из капусты, сон, черный и душный.

Так живет Брюэ, он живет не ради себя, он живет ради мира: он добывает уголь.

Г. директор просматривает проект сценария. Гм... Здесь придется кое-что изменить. Конечно, катастрофа придает картине интерес, но зачем столько горя?.. Даже катастрофу можно прикрасить!.. Главное побольше оптимизма! Чем живет арестант? Только надеждой: если я угожу начальнику тюрьмы, меня освободят до срока... Солдат, тот мечтает о нашивках капрала. Мы должны показать рабочим: перед вами, как говорится, «светлое будущее». Молодые могут стать инженерами; что касается стариков — кто знает — вдруг их дети выбьются в люди?.. Пока рабочий надеется, он работает. Отчаянье — это пьянство, забастовки, кавардак.

— Пожалуйста, измените также конец: что-нибудь помажорней...

Это очень легко переделать!.. Например, катастрофу. Девушка, переодевшись, спускается в шахты. Она не хочет оставить возлюбленного. Их засыпает. Коротенькая сцена. Тотчас же стук: спасены!.. Отнюдь не трагично, скорее — идиллия. Можно, например, сделать, чтобы засыпанные целовались...

Поцелуй среди катастрофы доходит до лирического сердца г. директора. Выписывая чек, он даже причмокивает, хотя по соседству нет никакой девушки.

Картина сделана, настоящая хорошая картина. Массовые сцены снимали в Брюэ. Режиссеру пришлось поработать: неугодно ли — катастрофа, у ворот толпится толпа встревоженных женщин: «может быть погиб мой муж»? — а они вместо этого сконфуженно улыбаются: приехали из Парижа... снимают... будут показывать в театре...

Куда легче было заснять катастрофу. Привычным движением актриса припала к груди любовника. Поцелуй — несколько метров. На девушке премило сидят штаны.

Суть, однако, не в штанах, а в морали. Старый шахтер. Его сын учится в Париже: он будет инженером. Старый

инженер. Его сын также учится в Париже. Сын рабочего прилежен. Сын инженера лентяй. Редкое беспристрастие, апология пролетариата, почти-что коммунизм. Оба влюблены в одну и ту же девушку. Девушка красит губы и играет в теннис. Сын инженера спаивает сына рабочего, неудивительно, если оба на экзамене проваливаются. Сын рабочего возвращается в Брюэ. Он берет лампочку и спускается в шахту. Он проклинает мир и с горя пьет запоем. Он может погибнуть. Но его любит работница, та, что не красит губ и не играет в теннис. Сын инженера тем временем женился на парижанке, и молодые прокутили сорок тысяч франков. Инженер суров и справедлив. Он не может потерпеть такого мотовства. Он согласен покрыть долги сына при одном лишь условии:

— Ты будешь работать внизу три месяца!

Конечно, работать на шахтах всю жизнь это проклятье. Но инженер посылает сына на краткосрочную каторгу. Это его научит быть почтительней с папашей! Кроме того, наследник ознакомится с государством. В Америке это принято: каждый уважающий себя миллионер посылает сыновей на завод или на прииски. Итак, грешное дитя спускается в шахту. Здесь-то и происходит волнующая сердце катастрофа. Засыпан именно сын инженера. Его, конечно, спасает не кто иной, как сын рабочего, сопровождаемый верной работницей. Возлюбленные целуются. На этом все могло бы кончиться: обычно, когда на экране целуются, в зале — шарканье ног: нетерпеливые спешат к выходу. Однако картина предназначена для рабочих, а рабочие отравлены грубым материализмом. Дело кончается не поцелуем, но справкой о будущем. Сын инженера обещает сыну рабочего:

— Я скажу отцу и он тебе даст хорошее место!..

Г. директор говорил: надо показать солдату нашивки! Г. директор суров и справедлив точь-в-точь, как инженер на экране. Но у г. директора нет блудного сына. У него только дочка, которая слишком мало гуляет. Дочка выйдет замуж за депутата. Зять г. директора не станет спускаться в шахты: там скверный воздух и грязь. Зять г. директора будет в кабинете, где Венера и голубок, составлять обстоятельные доклады. Каждому свое.

В Брюэ имеется кино — без кино теперь нет порядочного города. Там показывают картины: «Баркарола любви», «Дама с орхидеями», «Венецианские ночи», «Солнце принцессы». Углекопы смотрят, вздыхают или смеются, молодые в зале целуются: это ведь не шахта!.. После дня под землей скучно на земле: шарманка, сажа, суп из капусты, а здесь другая жизнь — глупая и забавная: какие-то орхидеи, какая-то принцесса... Чем глубже ночь под землей, тем громче и страшней гогот зала: «Го-го!.. Бородатый, а туда же!.. Го-го! Упал прямо на принцессу!.. Го-го! Орхидея!..»

Афиша возвещает о необычайном зрелище: в субботу будет показана картина из жизни углекопов. Брюэ на экране! Вот так штука!.. Ну да, ведь приезжали из Парижа... Актер поскользнулся возле ворот... Управляющий упрашивал не смеяться... Интересно — как это мы на экране?.. Посмотрим...

Театр битком набит. Настороженность. Тишина. Смешки. Заголовок: «его уважали и любили все рабочие». Вот он, отец лентяя! «Любили»?.. Кто-то кричит: «эй ты, кишка»!.. Не слыша обидного определения, инженер продолжает быть суровым, но справедливым. Сын присужден к трем месяцам!.. «Вот как!.. А мы?..» В театре гул. «К чорту!.. Катастрофа!.. Врешь!.. Засыпало!.. Гляди-ка — целуются!.. Ослы!.. И не нюхали, чем это пахнет!.. Штаны на девке!.. Ну и задница!.. Обещает устроить!.. Сволочь!.. Примазался!.. Да брось, выдумано и все тут!.. Смешно!.. Ерунда!.. Пора спать!..»

На следующий день публика оказывается покладистей: несколько возгласов, смех: «штаны... целуются», несколько хлопков. В соседних поселках картину смотрят спокойно. Г. директор хорошо знает жизнь: сначала покричат, а потом задумаются. Все-таки куда приятней получить хорошее место, нежели до смерти читать коммунистический листок!..

В Париже картина идет с успехом. Парижанам надоели и принцессы и орхидеи, а здесь шахты, опасность, катастрофа, унылые улицы, рабочие черные как негры. И взаправду! Так и целуются, не помывшись!.. Это пикантно: не все же целовать перепачканных пудрой парижанок; иногда приятно поцеловать вот такую — чумазую и в грубых штанах...

Картину из жизни углекопов сделала фирма «Нор». Эта фирма занята изготовлением картин просветительных и социальных. Ее специальность — прославлять труд. Во главе фирмы «Нор» — сенатор Жюль Эльби. он стоит также во главе других, куда более серьезных предприятий: «Шахты Брюэ», «Шахты Карвин», «Электрическое общество Па-де-Кале», «Угольная компания Сарра и Мозеля», «Электричество Дюнкирхена», «Металлургические работы», «Завод Бельвю», «Земледельческое общество Либеркура», «Общество металлургических работ», «Ля Бетюнуаз», «Электричество Северо-запада», «Полье и Шассон», «Африканское общество ввоза угля», «Общество рыбных промыслов», «Холодильники Рошелль-Паллис». Для тела: уголь, электричество, железо, балансы, дивиденды. Картины фирмы «Нор» — для души.

Ободренная успехом, фирма «Нор» приступает к изготовлению других картин. От заказчиков нет отбоя. «Акционерное общество Северной железной дороги» хочет прославить труд железнодорожников: картина «Рельсы». Рабочий влюблен в дочь инженера. Владельцы текстильных фабрик заняты возвеличиванием труда ткачей: картина «Лен». Инженер влюблен в дочь рабочего.

Автомобильный завод Пежо заказывает картину «Поворот»: машины, знаменитая лента, скорость и любовь — без любви картина не картина. За Пежо спешит Ситроен. Потом «Общество Метрополитена»... Потом фабрика шин... Рабочие, улыбаясь, трудятся и влюбляются, влюбляются и женятся. Это поэтично и выгодно. Кстати рекламируется такая-то марка: автомобили «Пежо» лучше всех! Однако это скромно и мимоходом. Гувер назвал кино прекрасным коммивояжером — это только американский юмор. Вспомните Вилля Хейса: кино не коммивояжер, кино апостол, это апостол труда!

Господь сказал: плодитесь и размножайтесь! Это хорошо сказано: во Франции мало солдат и во Франции много иностранных рабочих. Генералы и фабриканты подтверждают: плодитесь и размножайтесь!

Кино способно быть легкомысленным. Недавно показывали картину «Ищут танцовщицу в Южную Америку» — это 137-я картина о торговле живым товаром. Публика любит слезы обманутой девушки, романтический быт далеких борделей. Но это для людей праздных и зажиточных. Кино не забывает о своем высоком назначении. Надо чтобы плодились?.. Превосходно! Картина «Материнство». Сколько поэзии! Яблоня цветет, а потом на яблоне яблоки. Г. кюре благословляет коров и все коровы телятся. Г. кюре благословляет рабочего и тотчас же у рабочего шестеро ребят. Правда, рабочий хмурясь смотрит на продранные ботинки всех шестерых, но это минутная слабость. Вот он снова тверд: он улыбается, он счастлив.

В чем разгадка? В любви? В достатке? Нет, в человеколюбии фабрикантов. На экране текстильная фабрика. Жужжат станки. У станков работницы. Одна встает, уходит. Она идет в фабричные ясли. Там она кормит младенца. Откормив и счастливо улыбнувшись, она спешит назад к станку. Это, конечно, потеря рабочего времени, но фабриканты человеколюбивы, они к тому же прозорливы: Франции нужны солдаты и Франции нужны рабочие!

Почему рабочим живется плохо? Агитаторы болтают вздор. Послушать их — вся беда в капиталистах. А эти капиталисты только и делают, что заботятся о рабочих. Притом счастье не в деньгах: на экране можно увидеть каждый вечер несчастных миллионеров: один несчастен потому, что у него украли бриллиант чистой воды, другой несчастен потому, что его дочка обвенчалась с каким-то длинноволосым художником, третий несчастен потому, что акции «Рио-Тинто» сегодня упали на три пунк-

та. Все они плачут. Вот рабочие, те счастливы. Большая семья. Накрыт стол. Приходит с завода широкоплечий детина. Хозяйка режет хлеб. Лампа. Отдых. Библейское благоденствие.

Если рабочим порой живется плохо, то только по их собственной вине: они неисправно работают, они пьянствуют, они водятся с преступниками. Тогда бедная женщина уходит из дому, чтобы кинуться в реку, ее спасает великодушный полицейский или прохожий, который оказывается директором той фабрики, на которой работал ее бессердечный муж. Пристыженный рабочий кается. Его берут назад на фабрику. Он работает за десятерых и он, разумеется, счастлив.

В картине «Детские души» наглядно показана судьба двух семей. Семья Вальре — муж послушный и работящий, жена с утра до ночи моет, стирает, штопает. Семья Берлие — муж ворчит, лодырничает, ругается с мастерами, ходит в кабак, жена вместо стирки мечтает о разных глупостях. Обеим семьям добрые благотворительницы из общества «Город-сад» предоставляют, вместо темных трущоб, чистые светлые домики. Вальре живут на славу. Берлие продолжают быть Берлие. Добрые благотворительницы осматривают дома. Вальре встречают их с улыбкой. Дамы смотрят на сверкающие кастрюли и умиляются. А Берлие скандалят: они, видите ли, у себя дома! К чорту надзирательниц!.. Тогда Берлие выселяют. Они снова в темной трущобе. В трущобе никогда не бывает солнца. Естественно, что один из детей Берлие умирает от чахотки. Другой болен. Отец грубит управляющему и его прогоняют. Дочке надоела нищета, она идет в подозрительную танцульку.

Всем ясно, что если Берлие живется плохо, то в этом виновны они сами. Один из сыновей Берлие это понял. Он, кстати, влюблен в добродетельную дочку Вальре. Он решил спасти своих родителей. Он ненавидит сына управляющего: тот приударяет за дочкой Вальре. Сын управляющего, катаясь, расшибся. Доктор говорит: необходимо перелить кровь. Управляющий обещает: «тысяча франков награды!» Сын лодыря забыл о ревности. Он хочет спасти обидчика. Он даст свою кровь. Управляющий растроган. Он согласен принять Берлие назад на завод. Добрые благотворительницы жалуют покаявшимся грешникам светлый и чистый домик. Начинается настоящее счастье. Правда, один из детей успел во второй или в третьей части умереть, но это неважно: жена родит нового — яблони созданы, чтобы приносить яблоки. Обе семьи процветают.

Картину «Детские души» показывают в рабочих театрах: глядите и учитесь! Кино не только развлечение, это также школа жизни. Конечно переливание крови редкая операция. Притом никто не станет брать кровь у прохожего. Для этого при клиниках имеются свои люди. Но не следует понимать каждое слово буквально. Отдайте вашу кровь г. управляющему, улыбайтесь хорошо одетым дамам, не спорьте с мастерами, работайте, побольше работайте и вы будете воистину счастливы, куда счастливей всех бедных миллионеров!

Темно и душно в маленьких театрах. Усталые люди зевают, кряхтят, чешутся. Один, увидев благородного управляющего, сердито сплюнул. Какая-то женщина прослезилась. Картина кончена. Скорее домой! Завтра — еще будут гореть газовые рожки, закричит заводская сирена: эй вы! скорее! работать! работать! работать!..

2

Люди должны днем работать, вечером ходить в кино. Когда они отступают от божественного распорядка, в дело вмешиваются высшие силы. У высших сил резиновые дубинки, порой револьверы, порой пулеметы. Высшие силы в просторечьи именуются «полицией». Это грубое слово, оно никак не передает нежной сущности небесного воинства. Преступники рады оклеветать полицию. Они придумали десяток зазорных кличек: «фараоны», «коровы», «быки», «фильки», «мухи», «квадратные ноги», «ослы», «шпики», «полента», «легавые». Но у полиции имеется свой придворный поэт — это кино.

Кино прежде всего полезное изобретение. Во время последних демонстраций берлинский полицмейстер приказал заснять коммунистов: пригодится!.. Вестник «Международного института»

при «Лиге наций» с гордостью сообщил о новом применении экрана. Институт занят культурными функциями кино. Как же ему не радоваться — кино теперь поможет истребить всех врагов культуры!..

Однако кино не только выслеживает злодеев, оно также возвеличивает полицию, оно приучает глядеть на человека в мундире, как на подлинного героя. Вилль Хейс говорит: «законы природы и человека»... Это, казалось бы, темная философия, но нет это просто свисток: тотчас же показывается детина в фуражке.

682 картины. Кто эти любовники с прекрасными очами? Кто эти рыцари с ангелической улыбкой? На экране существуют только две породы людей: преступники и полицейские. Обыкновенные люди, те сидят в зале. Преступники стараются задушить девушку, обидеть ребенка, ограбить бедняка, унизить старца. У них гнусная усмешка, трусливые повадки и руки обезьян. Против них борются полицейские. Эти ничего не боятся. Они жертвуют своей жизнью ради вдов и сирот. У них такие глаза, что девушки всего мира мечтают: вот бы мне встретить такого!.. В любви они Ромео, на посту — святые. Одни в фуражках, это стопроцентные американцы, актеры с именами, питомцы Цукора и сподвижники Хейса, другие в кепи — усатые томные французы, на третьих каски, каски так идут представительным немцам. Все они вышли из рая и все спешат в ближайший участок.

Кино соблазняет мечтательных девушек и оно пугает строптивых: полицейские не только на редкость приятные любовники, это титаны — они неизменно побеждают. В картине «Андреас Хармер», как и во всех картинах мира, любовь, красивые бедра, поцелуи. Однако газеты горделиво пишут: «Эта картина показывает мощь нашей полиции». Полицейские с собаками. Полицейские на лыжах. Полицейские на грузовиках. Полицейские упражняются. Полицейские атакуют. Парад полиции. Наконец-то белокурая Паола страстно припадает к груди ее дорогого Андреаса. Этот Андреас не снимает фуражки: он все еще на посту, он целуется как Наполеон, он воистину городовой городовых!.. Полицейские летают на самолетах, они пускают ядовитые газы, они носятся по степям ничуть не хуже ковбоев, они разговаривают по беспроволочному телефону: все стихии в их руках. Нет, только безумцы могут итти против полиции!..

Кого любят красивые девушки? Кого целуют самые дорогие «звезды» Холливуда? Разумеется, полицейских? Вот в картине «Алиби» девушка по ошибке полюбила преступника: это случается даже с добродетельными американскими девушками. Однако она быстро опомнилась. В нее влюблен сыщик, красивый сыщик, не сыщик — Дон-Кихот. Он борется с неправдой. Он доказывает девушке, что преступник — это преступник. Красота и преступление несовместимы! Восторженно млея, девушка целует благородного филера.

16 000 полицейских охраняют сон Нью-Йорка. Это полицейские в форме. Кроме них имеются полицейские в штатском — самый высокий чин небесного воинства. Сыщики полны самоотверженности. Картина «Когда город спит» раскрывает душевный пафос сыскной полиции. Ни эффективных мундиров, ни резиновой палочки — скромный пиджак, а под ним, скрытые от поверхностных взоров, крохотное удостоверение и красота духа. Красавица Мэри любит какого-то заурядного человека. Приказчика. Ничтожество. В нее влюблен сыщик и вот сыщик следит за приказчиком. Он видит, что заурядный человек затесался в дурную компанию. Он не ревнует, нет, он забыл о себе. Он ловит преступников и тем самым он спасает ничтожество. Он не хочет для себя никакой награды. Пусть женятся! Пусть целуются! Он только выполнил свой долг. Он идет ловить новых преступников. Девушки в театре сморкаются: какой сыщик! какая любовь!..

В этой картине имеется один предмет, достойный обожания, символ, если угодно церковная утварь — не улыбка героя, не умиленные слезы девушки, даже не удостоверение, нет, штиблеты, стоптанные, деловые, грубые штиблеты: с них начинается вся история, это не просто жалкая обувь, это штиблеты сыщика, они стоптаны, они порыжели, они ис-

кривились на службе человечеству, в этих штиблетах самоотверженный филер бегает по улицам города, выслеживая злодеев. Штиблеты... Невольно на память приходят другие — тоже стоптанные и тяжелые, штиблеты не великого сыщика, но только злосчастного бродяги. Один человек попытался на экране защитить голытьбу. Его сначала травили, потом увидав, что с штиблетами не справиться, ему пожаловали несколько орденов. Сэр Чарли.. С ним примирились, как с отступлением. Он стал терпимой опиской экрана. Пусть валяет дурака!.. Он один, нас много. За продранными штиблетами бродяги зорко следят сотни других благонадежных штиблет.

682 картины. Полиция явная и тайная. Погоня и ловушки. Револьверы и газы. Поцелуи и наручники, обязательно наручники на обезьяних руках злодея. Никто не смеет отступить от назначенного порядка. Если человек идет против закона, закон идет против человека. Капитал это почти абстракция, это нули балансов, это высокая политика, это тот бог, которого не следует никогда изображать. Но у бога имеется небесное воинство. Мирно спите вы, послушные и подручные! Ваш сон охраняют лучшие собаки из наших питомников. Вас никто не обидит. Вы тихо умрете от болезней и нищеты. Но горе строптивым! Горе отчаявшимся! За ними несутся всесильные тени, ищейки нюхают землю, блестят каски, впиваются в ночь прожекторы, жужжат пропеллеры, в укромное логово просачивается струйка газа, жалкий отступник наконец-то падает, сраженный дивным сиянием.

Шестьсот восемьдесят третий полицейский сначала надевает на руки преступника наручники, а потом молодцевато лобызает заготовленную девушку.

3

Человека везут в тюрьму, это просто и ясно: те, для кого нет места в жизни, должны жить в мире условном и абстрактном. В тюрьме нет людей, только казенные штаны, шутовская работа и номера.

Кто определит, за что человек попадает в тюрьму? Можно сослаться на солидную юридическую литературу, можно также вспомнить поговорку о суме и тюрьме. Скорей всего в тюрьму попадают несчастливцы. Они утром не вышли на работу. Вечером они не попали в кино. Они выпали из жизни. Их кладут в глухие фургоны и отвозят подальше от света.

Мистер Клерк уничтожил мистера Фокса, мистер Истман разорил столько-то фабрикантов, немало молочников или булочников подвел г. Натан, на совести г. Губенберга вдоволь человеческих жизней — правда вражеских, но все же жизней, прокатчики всучают клиентам товар вслепую, режиссеры растлевают малолетних фигуранток, Давид Сарнов смеется над законом о трестах, однако никто из этих людей не сидит, да и никогда не сидел в тюрьме. Они не грабили, не мошенничали, не насиловали, не убивали. Они только защищали отечество, боролись с конкурентами и заслуженно наслаждались жизнью. Их все уважают. Их выбирают в почетные члены академий. Им дарят ордена. Это гордость культурного человечества. Это также счастливцы.

Что касается несчастливцев, то в дурацких колпаках они плетут кули из рогожи. У них нет даже имен. Номера. Один стащил окорок, другой пырнул ножом соперника, третий растратил хозяйские деньги. Небесные воины их настигли. Они сидят в тюрьме.

Великая держава Соединенные Штаты! Это не Албания. Это и впрямь передовая страна. Она гордится всем, кино, Хейсом, баптистами, даже тюрьмами. В других странах тюрьма это несчастье. В Соединенных Штатах тюрьма это отдых. В тюрьме Синг-Синг арестантам показывают картины, превосходные американские картины, притом говорящие: фирма «Уэстерн-Электрик» недавно снабдила тюремную администрацию своим отменным аппаратом. Вилль Хейс, как добрый пресвитерианец, денно и нощно печется о несчастных: он посылает во все тюрьмы Соединенных Штатов картины наставительные или веселые. По вечерам заключенные, как и прочие американцы, смотрят на экран.

Тюрьма Синг-Синг высечена в скале. Это романтично и от этого люди быстро

умирают: в камерах нет ни света, ни воздуха. Умирают они не от раскаяния, но от банальной чахотки. Со стороны арестантов это деликатно: чем скорей они умрут, тем меньше от них хлопот. В 1875 г. инспекция нашла тюрьму Синг-Синг противной принципам гигиены и заслуживающей уничтожения. Прошло 55 лет. Тюрьма Синг-Синг существует и поныне. Правительство потратило 300 000 долларов на устройство электрического стула: это было продиктовано человеколюбием. Что значит после этого оборудование зала для проекции говорящих картин? Однако и кино влетело в копейку. На постройку камер со светом и с воздухом средств не хватило, зато арестанты могут любоваться Гарольдом Лойдом. Как ловко он пролезает через все стены! Через эту не перелезет даже очкастый!.. Отсюда не убежать! Если попытаться, тотчас же завоет сигнальная сирена, каждые три секунды — у-гу-гу: «ату его». Прожекторы, Выстрелы. И снова тишина.

Арестанты могут смотреть «Под знойным солнцем» или «Ветер степной». У них нет ни солнца, ни ветра. За стеной жизнь. Под скалой широкий Гудсон. Где-то «папа-Цукор» любуется закатом над этим самым Гудсоном. На фабрике Цукора делают занятную мелодраму из тюремной жизни. Здесь сырость, темнота и кашель. Тупая жестокая работа. За нее арестанту платят полтора цента в день — три копейки, шесть пфеннигов, семь су. Притом казенный харч и духовная пища: богослужение или кино.

Все развлечения происходят в церкви. Она разделена на три стойла: для католиков, для протестантов, для евреев. В тюрьме Синг-Синг содержится свыше 2000 заключенных. Все они могут славить своего бога: бога баптистов, бога иудеев или бога римского папы. Вечером церковь превращается в театр. Бог уступает место Кларе Боу или Анните Педж. В тюрьме Синг-Синг сидят 134 арестанта, приговоренные к пожизненному заключению. Они никогда не выйдут отсюда. Они могут смотреть на красивые ноги Клары Боу или на прыжки Гарольда Лойда. По вечерам их соблазняют жизнью на полотне. Они не должны забыть, что именно они потеряли. Им показывают поле и девушек. Потом им повторяют: навсегда, навсегда, навсегда!

Все заключенные любуются глазами «звезд», за исключением тех, которые сидят в корпусе, именуемом «домом мертвых». Этот дом виден из церкви. Впрочем, находясь в церкви, арестанты не должны смотреть по сторонам. Они должны смотреть на бога или на икры Клары Боу. «Дом мертвых» арестанты зовут куда прозаичней — «бойней». Комната, похожая на лабораторию. Над дверьми надпись: «соблюдать тишину!» В лаборатории скамейки, блестящие плевательницы, стул. Доктор Свит дает сигнал. Мистер Роберт Эллиот повертывает рычаг. За крохотное движение руки он получает 150 долларов — в Америке умеют ценить полезный труд. Две минуты и все кончено. Это не грубая виселица. Это великое изобретение. Он всесторонен, маг Эдисон! Он придумал кино — в тот день он был наверное очень угрюм. В минуту жалости и снисхождения он придумал электрический стул. Сначала — экран, потом — ремни, 2000 вольт, и легкий заработок мистера Роберта Эллиота...

Публика любит картины из тюремного быта. Вокруг трупа толпятся зеваки: люди падки на чужую беду. Как они живут там, за высокой стеной?.. «Парамаунт» и «Метро» не зевают. Каждый год на рынок поступает несколько сенсационных драм: тоска арестанта, бунт арестантов, побег арестантов, смерть арестанта Клетки, а в клетках люди. Театр приятно вздрагивает.

«Братья Уорнер» рассылают владельцам театров инструкцию, как лучше всего рекламировать картину из быта арестантов. «Возле кассы поставьте решетки. Оденьте контролеров и швейцаров в мундиры тюремных надзирателей. Пустите по городу людей в костюмах каторжников с надписью на спине: сенсационная картина!»

В Холливуде возводят картонные казематы с унылыми коридорами и глухими дворами. У надзирателей ангелическая улыбка — это наши давние знакомые, это все те же полицейские, они только переменили форму. Одни аре-

станты меланхолично вздыхают или молятся богу: это заблудшие овцы. Они скоро выйдут на волю и они обязательно женятся. Другие смотрят исподлобья, ругаются, хотят убежать. Это звери и фигуранты. Они никого не интересуют, они только фон, живописная подробность, вроде решеток.

Тюрьма на экране это отнюдь не тюрьма Синг-Синг. В ней нет ни электрического стула, ни приговоренных к пожизненному заключению, в ней арестанты никогда не умирают от чахотки. Это не то церковь, не то консерватория. Люди молятся и поют. Они заняты одним: они исправляются.

В картине «Проклятые сердца» мальчик убил товарища. Он страдал запальчивостью и атеизмом. Он ни за что не хотел уверовать в бога. Поспорив с другим мальчиком, с юным баптистом или пресвитерианцем, он потерял голову. Убийцу посадили в тюрьму. Там он понял свои заблуждения. Его отпускают на волю: невеста, пастор, библия.

Тюрьма способствует развитию талантов. Джерри Брадлей на воле был просто хулиганом, а в тюрьме он стал композитором. Он сочинил удивительный романс: «Извилистая река». Он дирижирует оркестром, составленным из арестантов. Директор тюрьмы не только ангел, но и эстет. Он оценил таланты Джерри. Он решил порадовать всех любителей радио-концертов новым романсом в исполнении арестантов. Девушка Алиса слушает романс и плачет от счастья. Она тоже не отличалась добродетелью, но, услышав романс, она тотчас же перерождается. Как возвышенно живет в тюрьме ее милый жених! Годы заключения не прошли даром. Он сможет теперь выступать в мюзик-холле. Она терпеливо ждет. Пастор. Обручальные кольца.

На экране у арестантов никогда не бывает жен: когда жена ждет мужа, это не поэтично и противоестественно. Другое дело невеста — невесте полагается ждать. У всех симпатичных арестантов невесты. Что касается злодеев, которые смотрят исподлобья, то они, конечно, одиноки.

Невесты арестантов никогда не старятся. В картине «Алиллуя» негр убивает соперника. На каторге он дробит камень — это называется «искуплением». Он возвращается на родину. Сколько лет длилось отмеченное искупление — об этом публике не сообщают: зачем интересоваться параграфами уголовного кодекса... Арестант выходит на волю и его ждет невеста. Она ничуть не изменилась, попрежнему она молода и красива: ведь картина должна кончиться поцелуем, а кому охота смотреть как герой целует старую деву?.. Арестант счастлив, публика также.

Картина «Большой дом». Арестанты недовольны: им дали гнилое мясо. Они буянят. Тогда их сажают в темный карцер. Те, что смотрят исподлобья, не сдаются, они готовят побег. Это, разумеется, звери. Вот они взбунтовались В них стреляют. Против них выпускают танк. Немало зверей перебито. Начальника тюрьмы спасает симпатичный арестант. Он влюблен в красивую девушку и он предает своих низменных товарищей. Он горой стоит за начальство. Надо ли говорить о том, что его тотчас же освобождают? Ворота тюрьмы раскрываются, у ворот автомобиль, а в нем красивая девушка: она ждет своего жениха.

Вилль Хейс смотрит на молодоженов и улыбается: он оптимист. Недаром он посылает в тюрьмы картины — арестанты исправляются. Те, что не могут исправиться, знакомятся с превосходным изобретением Эдисона. Строптивые предупреждены — вот, что ждет вас. Публика платит деньги и аплодирует. Все довольны. Вилль Хейс готов крикнуть самому господу-богу: «алло! Псалом номер 17-й! Ты дал мне щит спасения и десница твоя поддерживает меня!»

4

В Америке человека сажают на электрический стул, в Англии его по старинке вешают, во Франции ему искусно отрезают голову. У каждого народа своя душа и свои традиции. Одно ясно: человек, который не хочет примириться с законом, должен умереть. Мистер Роберт Эллиот дотронулся дважды до рычага: Сакко и Ванцетти перестали дышать. В этот день мистер Роберт Эллиот заработал 300 долларов. В городе Иен-Бай г. д'Аной тринадцать раз

подряд нажимал кнопку: тринадцать революционеров, посмевших восстать против французов, ознакомились с наследием французской революции. Г. д'Аной в ту ночь тоже нескверно заработал: ему тоже платят поштучно.

Кодекс Хейса требует: при показывании смертной казни соблюдайте хороший вкус! Ни электрический стул, ни гильотина не должны быть показаны в деталях, этого не могут вынести нервы публики. Достаточно, если преступник приговорен к казни... Можно показать в тумане силуэт гильотины или строгое лицо доктора возле электрического стула.

При казни присутствуют журналисты, пасторы, аббаты, врачи, юристы, а также избранные ценители: несколько снобов, несколько дам. Кинооператорам доступ закрыт. Это слишком резкое лекарство. Его действие бывает неожиданным. Лучше — описание в газетах и туманный силуэт.

Г. Люсьен Эйер кинооператор. Он работает для крупных фирм. Он готовит хронику: парады, сказки, катастрофы. У г. Люсьена Эйера амбиция. Он хочет преодолеть все трудности. Он хочет заснять то, чего еще никто не заснял. Он находится в Ханое. Три аннамита убили мясника. Мясник—француз. Три аннамита приговорены к казни. Г. Эйер узнает: завтра в половине шестого утра. Он полон решимости. Он встает ни свет, ни заря: это герой, это мученик кино. Вот он отыскал укромное местечко. Напротив тюрьмы — здание суда. Окно ватерклозета выходит на площадь. Г. Эйер рассказывает:

— Я сидел на сиденьи взволнованный...

Жандармы, солдаты, офицеры, комиссары полиции. Дверь тюрьмы раскрывается. Г. Эйер, однако, не торопится: он привык чисто работать. Он пропускает первого. Второй...

— Все и тюремщики, и комиссары смотрели только на гильотину, а я крутил, крутил... Третий... Кончено!.. Я не чувствовал ужаса происходящего: мне хотелось добиться своего... Из всех присутствовавших только я улыбался...

Тела увозят за город. Г. Эйер бежит проявлять пленку. Недодержка, придется прибегнуть к усилителю... Как никак картина удалась!

Три года спустя к г. Эйеру приходит представитель крупной фирмы: мы не прочь купить у вас эту штуку с гильотиной...

Г. Эйер скромно кивает головой: что ж, поговорим о цене...

Г. Люсьен Эйер не просто оператор, это дух кино: до конца он сопровождает человека. Вот ваша жизнь: мастер, директор, полицейский, тюремщик, палач!.. Кто-то плачет. Кто-то, не выдержав, отвернулся. Но г. Люсьен Эйер, тот только улыбается.

XI. Для наших младших братьев

1

Всем известно, что в Женеве помещается «Лига наций». Это очень почтенное заведение. Члены различных комиссий безостановочно трудятся. Одни из них борются с опиумом: представитель государства, колониальный бюджет которого покоится на монополии опиума, стыдливо потупив глаза, вздыхает: вот китайцы, те действительно злоупотребляют наркотиками... Все охотно соглашаются.

Другие борются с проституцией. Это ли не позор? Можно ли допустить грубые притоны для солдатья, когда существуют изысканные дома свиданий?.. Правда в дело вмешиваются резоны военных: известные учреждения необходимы для поддержания дисциплины. Но резолюцию все же можно принять. Ах, кто не был в Женеве, тот не знает, что такое поэзия!..

Само собой разумеется «Лига наций» не пренебрегает экраном. Она даже попробовала стать «звездой», если не «звездой» Холливуда, то «Звездой надежды» (так была названа картина, сделанная за счет «Лиги наций»); всячески рекламировала она свою красоту и благородство. «Звезда», однако, не пошла в ход, ее не взял на содержание ни Цукор, ни Фокс. Тогда «Лига наций» перестала позировать. Она занялась воспитанием народов. «Международный институт кинематографии» был основан в Риме.

Место, что и говорить, подходящее. Недаром Бенито Муссолини восхвалял мощь экрана. Итальянцы изготовили

дюжину картин: одну с парадом фашистов, остальные просто с подвязками, слезами и поцелуями. Это называется «возрождением итальянского кино». Кроме того, итальянцы готовят грандиозную картину на вполне современную тему: жизнь Виргилия. «Международный институт» чрезвычайно заинтересован этим смелым начинанием, в своем журнале он печатает текст сценария. Сцена 51-я: «Адова бездна. У входа лежат Раскаянье и Угрызенья. Здесь жилище бледных Немочей, Старости, Страха, Нищеты. Здесь можно встретить Усталость, Смерть, ее брата Сон и Похоронные почести». Сцена 52-я: «Елисейские Поля — прозрачная атмосфера, веселое чередование лугов, холмов и рощиц. Счастливые гости этого места предаются своим излюбленным занятьям»...

Однако главная цель «Международного института» воспитывать и просвещать. Кино для детей. Кино для низших классов общества. Кино для наших младших братьев: для желтых и черных. Прежде европейцы приходили с ружьями и с бичами. Теперь они приносят контракты, они нанимают рабочих, они их кормят и тешат, теперь европейцы приходят с волшебной коробочкой: они показывают туземцам настоящую жизнь, и растроганные туземцы плачут.

Забудем на время об опиуме, кроме опиума у нас кино, кино для младших братьев!

В журнале «Международного института», помимо Виргилия, немало места уделяется каучуку. Правда, каучук лишен поэзии, зато он необходим для шин. Англичане задушевная нация: недаром у них были Росетти и Браунинг, недаром в лондонском Гайд-парке с утра до ночи сухопарые мисс толкуют о любви, недаром, вешая преступника, англичане искренно молятся о спасении его души. Англичане первые поняли, что выработка каучука связана с самыми нежными чувствами. Кули подписывает контракт, после этого кули бьют. Он надрезает кору, он собирает сок. Его бьют кнутом, плетью или палкой. Его бьют, чтобы он надрезал деревья бережно, чтобы он быстрее обегал плантацию, чтобы не проливал он на землю драгоценного сока. Конечно, трудно возразить против столь разумного обычая: кули не англичане. Но побоев мало — необходимо также просвещение. Если кули днем бить, а вечером просвещать, он будет куда лучше работать. Он соберет больше молочного сока, он не попытается убежать, он станет мало-по-малу сознательным кули.

«Ребер Юнститет» занят ответственным делом: поднять добычу каучука. План Стевенсона стал преданием. Чтобы бороться с американцами, надо повысить добычу. «Ребер Юнститет» вспоминает о белом полотне и о забавных картинках: мы покажем туземцам, что такое добро и зло!

Картина готова. «Международный институт» восторженно пишет: «Мы работаем для наших младших братьев». Виргилий понятен только людям с белой кожей и с белой душой. Для желтых людей нет ничего ближе каучука.

Тяжел труд на плантациях. Кули устал: он надрезал триста деревьев, он собрал молочный сок и отнес его на фабрику. У него болит спина, а в голове шум. Он лежит на подстилке и не то дремлет, не то вздыхает; скорей всего он репетирует близкую смерть. Отсюда одна дорога — в землю. Если кули убежит, его поймают. Если он не надрежет дерева, его побьют. На спине кули рубцы. Он был и в тюрьме. Он только одного еще не изведал: смертной прохлады.

Надсмотрщик — «кангани» подзывает кули. Ночь. Неужто снова работать? Нет, кангани сгоняет кули в сарай. Там белое полотно и фонарь. Там будут показывать младшим братьям, что такое добро и зло.

Автор картины о каучуке человек глубокий и сложный. Ему ничего не стоит сделать «жизнь Виргилия». Но он понял, что кули не англичане. Он снизошел до их темноты. Он сделал картину простую и мудрую, как евангельская притча. Две тысячи лет тому назад он мог бы быть апостолом. Теперь он сотрудник «Ребер Юнститета».

На экране — двойник кули. Наверное и у него на спине рубцы, но рубцы стыдливо скрыты. Кули плохо работает, он кое-как надрезает деревья, он пролива-

ет на землю сок, кончив работу, он пьянствует и дерется. Кули, тот, что смотрит, немного удивлен: откуда у двойника столько денег?.. Но он рожден на востоке и он привык доверять снам. Скверного кули сажают в тюрьму. Кули, тот, что смотрит, сидел в тюрьме, но его двойнику повезло. Он попал в другую тюрьму, в тюрьму, похожую на рай. Кули в тюрьме били. Этого кули никто не бьет, его утешают и балуют. Ему говорят: не горюй, ты скоро выйдешь на волю!.. Кули не понимает: почему бы ему горевать?.. В тюрьме куда лучше, нежели на плантациях. Он не должен работать с утра до ночи. В тюрьме нет кангани и кули никто не наказывает. Это наверное чудо...

Кули вышел из тюрьмы. Он раскаялся и решил встать на правильный путь. Он быстро, быстро надрезывает деревья. Так быстро, что в глазах мелькает. Ну разве можно так надрезать?.. Это не кули, а бог! Вечером кули не пьет спирта. Он только улыбается и считает монеты; все монеты он несет в сберегательную кассу. Конечно, это бог, он ведь и не ест ничего. Его можно сейчас же взять на небо. Но вместо этого его делают «кангани». Он счастлив. Он вежливо кланяется, и двести кули в темном сарае вздыхают. Они очень устали. В их жизни не было никакого чуда. Они плетутся спать.

Кули спит и видит диковинный сон. Он под большим деревом. Это дерево никто не надрезает. Это просто большое дерево. Кули не жарко и у него не болит спина. Он тихо спрашивает: где я? Кангани шепчет: «ты в тюрьме». И кули от радости умирает.

Утром кули встает. Он идет надрезать деревья. Триста деревьев. Палка кангани. Зной и пот. Младший брат не помнит ни о странной картине, ни о ночных снах. Об этом нельзя помнить, нельзя торопить смерть: она знает свой час.

Катушки с пленкой везут на соседнюю плантацию.

2

«Колумбия-Пикчюр» не бог весть какая фирма: это не «Парамаунт». Но все же «Колумбия-Пикчюр» изготовила за прошлый год свыше 30 картин: драмы, комедии, оперетки. Вице-директор «Колумбии-Пикчюр», мистер Гарри Кон, не унывает. Надо что-нибудь выдумать! «Уорнер» разбогатели на дурацком «коллнидоре», а Леммле на Ремарке. Это дело случая. Война всем надоела: что ни картина, то окопы. Зрители больше не верят в бутафорскую смерть. Они хотят смерти взаправду. Чтобы захватывало дух и, однако, чтобы не оскорбляло нравственных чувств.

Мистер Гарри Кон ищет. Он ищет и он находит.

Из Денвера отправляется в Центральную Африку киноэкспедиция. Она заснимет танцы негров и прыжки диких зверей. Правда ни плясками дикарей, ни охотой на раз'яренных носорогов теперь никого не удивишь. Это дешевые эффекты, это банальней войны. Но во главе экспедиции мистер Хефлер. «Колумбии-Пикчюр» предстоит блистательное будущее! Если у вас имеются свободные доллары, скорей купите акции этой молодой фирмы! Вы обязательно разбогатеете: мистер Хефлер примеряет колониальную шляпу и он загадочно улыбается. Каждому ясно, что ради пустяков он не станет проделывать столь утомительный путь: ведь далеко, очень далеко от мирного Денвера до дикой Уганды, где рычат львы и где нет ни гольфа, ни мороженого с содовой. Мистер Хефлер преисполнен веры. Он машет рукой: мы будем присылать вам открытки!.. Он похож на древнего конквистадора.

В Денвере 36 кинотеатров, это просвещенный город. В Уганде нет ни одного театра. Когда негру скучно, он бьет палкой в натянутую шкуру. Здесь никто не знает о высоких принципах Вилля Хейса. Иногда налетает саранча, иногда бывает праздник и тогда все пляшут. Скучная жизнь! Трудно из нее сделать ходкую картину!..

Леса, болота, жара — 130 градусов по Фаренгейту, при этом нет аптекарского магазина, где можно было бы освежиться. Москиты, уродливые негритянки, тоска. Однако мистер Хефлер бодр, он отдает приказания, дружески улыбается он туземцам: все впереди!..

Засняты прогулки жирафов. Конечно, у них презабавные шеи. Но это можно увидеть в любом зоологическом саду. Женщины с кольцами в зубах! Хефлер видел фотографии этих уродок в школьном учебнике. Все же заснимем и негритянок: мы открыли новое загадочное племя! На счастье попадается саранча. Красивый кадр, но этого, разумеется, мало. Можно ли заставить уважающего себя зрителя положить вечер на какую-то саранчу?... Нет, «гвоздь» еще не найден!

Мы в стране негров с копьями. Это превосходные охотники. Мы также в стране львов. Вокруг операторов — колючая изгородь «бома». Вокруг операторов люди с копьями. Мистер Хефлер может не опасаться за жизнь своих белых сотрудников. Мы снимаем! Львы едят антилоп. Конечно, это любопытно, но разве это «гвоздь»? Что в этом удивительного? Американцы, например, едят бифштексы. Это в порядке вещей. Конечно, львы рычат. У них очень подходящие голоса: аппараты «Уэстерн-Электрик» работают на славу. Послеобеденная серенада льва. Однако и рыка мало...

У негра была уродливая жена и, разумеется, черная кожа. У него наверное было также имя, но кто же интересуется именами этих голых людей? Он был нанят мистером Хефлером, чтобы носить поклажу и стрелять в зверей. Когда мистер Хефлер смотрел на негра, негр испуганно скалил зубы. Он не боялся диких зверей, но он боялся белого человека. Это был подданный великого государства, известного своей гуманностью: это был подданный Великобритании. В Лондоне сидел великодушный Макдональд, и Макдональд заботился о жизни всех подданных Великобритании: белых, желтых и черных. Но негр не знал об этом и суеверно боялся белых людей.

За изгородью рычат львы. Аппараты установлены. Найден фокус. Одобрено освещение.

— Беги!..

Негр колеблется: там львы! Никогда еще не шел он на зверя с пустыми руками. Его жена уродливая негритянка, но для него она хорошая жена. У него очень черная кожа, но он все-таки хочет жить. Он идет не сразу. На его лице гримаса страха.

— Беги!..

Страшны львы, куда страшнее львов белый человек. Негр бежит. Он миновал изгородь. Он рядом с хищниками. Тогда лениво прыгает лев на человека. Он когтит его, а потом ест, ест, как ел недавно антилопу.

Быстро крутят операторы. Они снимают все жесты и все звуки: рев, вскрик, стон.

— Бедный туземец!..

(Отметим: «несчастный случай с туземцем»...)

Недаром страдали они от жары и от москитов! Четырнадцать месяцев работы. 60 000 футов заснятой пленки. Теперь все это оправдано. Впервые на экране лев будет глодать живого человека. Это одобрят и баптисты, и методисты: ведь лев будет глодать не американца, но всего на всего какого-то негра.

Мы можем спокойно вернуться в наш милый Денвер...

Мистер Хефлер загадочно улыбается. Кто знает с чем он вернулся на родину?.. Плачет ли черная женщина в Уганде?.. Или все это дурной сон, кошмар, симптомы тропической лихорадки? Кто-то шепчет: трюк... наняли фигуранта... лев из зверинца... публика требует сильных сцен... Мистер Хефлер только загадочно улыбается. Не все ли равно — Уганда или Холливуд, кровь или доллары, явь или бред? Это попросту кино, экран, вторая жизнь. А черная женщина, та наверное плачет.

Картина готова, сенсационная картина. Мистер Гарри Кон не прогадал.

«Полный правдивости документ! Увлекательно! Поучительно! Вдохновенно! Все в кино — неслыханный успех — «Африка говорит!»

Самые строгие критики умилены. «В картине имеется чрезвычайно сильная сцена: лев кидается на туземца и разрывает его на части. Хотя подробности ускользают, благодаря положению камеры, не может быть никакого сомнения в судьбе черного: ясно виден лев, когтящий человека, и слышен стон злосчаст-

ного... Мы убеждены, что эта картина понравится всем».

Картина действительно всем нравится. Цензура ее одобрила не только для взрослых, но и для детей. Эстеты заверяют, что это куда лучше мелодрамы. Сторонники научных картин в восторге от точности. Мистера Хефлера награждают горячими рукоплесканиями и длинными фельетонами. Что касается мистера Гарри Кона, то и он не в обиде: картина идет в Нью-Йорке уже шестнадцатую неделю, ее показывают во всех американских городах, ее купили для Европы. Акции «Колумбии-Пикчюр» быстро подымаются.

В Соединенных Штатах имеется 400 кинотеатров для негров. На юге негров не пускают в залы, которые посещаются белыми. Как можно смотреть на вдохновенные страдания различных «звезд», когда по соседству черная кожа и черное воображение? Нью-Йорк, однако, город свободы, в Нью-Йорке никто не запрещает неграм ходить в кино. Негр подходит к кассе, и кассирша тотчас же протягивает ему билет. Правда, она никогда не спрашивает, какое именно место хочет получить черный: она выдает ему билет на балкон. Внизу сидят только белые. Если негр попробует запротестовать, кассирша вежливо ответит, что места внизу заняты.

«Африка говорит» — негр Джексон идет в театр. Он не географ, он поэт, он пишет стихи на английском языке. Он полноправный американец. Но он знает, что его родина — Африка. Он идет, чтобы услышать, о чем говорит его родина. Он сидит, разумеется, наверху, среди других черных.

Сначала он любуется жирафами и пальмами. Африка еще молчит и партер позевывает. «Гвоздь» припасен под конец. Рык льва. Стон. Голос сострадательного мистера: «Бедный туземец»! Белые люди смеются: это действительно забавная сцена!.. Как он здорово вцепился!.. Как тот, черный, смешно пикнул!.. Смеются рядом с Джексоном негры. Они не думают ни о далекой Африке, ни о своих обидах. Они счастливы,— их пустили в театр, им показывают веселые картины, им, неграм в пиджаках и в воротничках, не страшны никакие львы. Они весело смеются. Тогда Джексон молча встает. Он уходит прочь. Долго шагает он по прямым улицам. Улицы помечены цифрами, дни и чувства также. Что ему делать?.. Швырнуть бомбу в театр?.. Повеситься у себя на четырнадцатом этаже?.. Убить кого-нибудь белого?.. Убежать к пальмам и к львам?.. Его глаза горят злым жестким светом. Он еще ничего не сделал, он свободен: в Нью-Йорке все свободны. Когда же человек совершает недозволенное, его отводят в тюрьму, там мистер Роберт Эллиот, похожий на опытного электротехника, проверяет силу тока, и человек, совершивший недозволенное, перестает существовать.

«Африка говорит» идет в Лондоне и в Берлине. Небывалый успех! Все сеансы с аншлагом! Зрители смотрят, ежатся от страха, а потом улыбаются: они не зря заплатили деньги за вход!

Пышный театр «Уфы». В зале — негр. Он сидит среди белых: это Европа. Он забыл об обидах. Он студент, он изучает право. Он пришел сюда, чтобы отдохнуть. Он смотрит на саранчу: интересно!..

Вдруг он вскакивает. Он кричит:

— Позор... Это позор для вас, белые...

Соседи удивленно смотрят: почему он так взволновался... Здесь не принято волноваться. Люди тихо смеются или глотают слезы. Этот черный сошел с ума... Он наверное обижен за своих... Что же, может быть он и прав... Вот наверху кто-то поддакивает: «позор»! Приходят служащие и вежливо говорят негру:

— Будьте добры удалиться...

На следующий день газеты сообщают о скандале. Г. Клич хмурится: с него хватит и немецкой неразберихи... Какое нам дело до негров... Колонии у нас отобрали... Пусть дело расхлебывает представитель «Колумбии-Пикчюр». Скандалы во всяком случае недопустимы.

Кабели в Нью-Йорк. Кабели из Нью-Йорка. К мистеру Гарри Кону пристают с глупыми вопросами: как? почему? Скандалы в Лондоне... Трудно понять этих сентиментальных европейцев! Почему они не жалеют антилоп? Ведь львы глотают бедных козочек... Только не-

давно мистер Кон хвастался: все взаправду. С'ели?.. Разумеется, с'ели! Это строго научная картина! Теперь он советует своим представителям: изворачивайтесь!

Газеты получают дружеские указания: это трюк! Лев ел только козочек. Негр бегал возле своего дома, далеко от хищников. Одну пленку наложили на другую... Новый способ... Секрет изобретателя...

Публика успокоилась: трюк так трюк! Конечно интересней, если бы негра с'ели взаправду, но кто станет вспоминать о старой картине?...

Мистер Гарри Кон удовлетворенно подсчитывает барыши. За истекший год чистая прибыль равнялась 550 000 долларов. А в этом году за первые три месяца... Что и говорить — Африка вывезла!..

Вокруг «Колумбии-Пикчюр», как лев вокруг «бомы», рыщет Уильям Фокс — он хочет улучить минуту — «Колумбия-Пикчюр» — лакомый кусок...

3

Г. Октав Омбер любит колонии и каучук. Ему мало тесных «департаментов», он мечтает о Франции, которая правит в пяти частях света. Это человек с размахом. Он очень обижен на американцев: хитрые янки в картине «Белые тени» оклеветали французских колонизаторов. Наши чиновники якобы пьянствуют и портят нравы туземцев. Это низкая ложь. Конечно, дело не в злостном характере мистера Шенка из «Метро», дело в аппетите Соединенных Штатов. Они хотят захватить острова. Для американцев это превосходная морская база. Однако, для французов это статья бюджета. Французы вовсе не склонны потесниться. Наоборот, г. Омбер мечтает о пяти частях света. Надо опровергнуть наветы, надо доказать, что у туземцев нет более верной защиты, нежели Франция г. Октава Омбера: это любящая мать!

Фирма «Насиональ» изготовила картину «Танцовщица и кинжал». Казалось бы, обыкновенная картина: преступление, танцы, романтика. Но фирма «Насиональ» справедливо определяет свою продукцию: «картины научные и воспитательные». Картина «Танцовщица и кинжал» полна самых высоких заданий: она должна показать туземцам Алжира, Туниса и Марокко, как опекает их французская полиция. Герой — молодой француз, это начальник туземной полиции. Начальник полиции дружит со всеми знатными туземцами. Он говорит: «мы охраняем ваши столетние традиции». Начальник полиции дружит также с марабутами, он знает, что бог любой масти стоит за порядок.

Кто же преступники? Это понятно не французы, это люди с подозрительными фамилиями: Вормский, Бишов и Кериг.

Это русские большевики или в лучшем случае немцы. Начальник полиции показывает высокое достижение французской культуры: полицейскую собаку. Правда, собаку зовут по-английски: «Шерлок», но в душе это французская собака. Кроме собаки имеется еще одно достижение: госпиталь общины «Белых Сестер». Над койками распятье. «Бог послал сестер для тех, у кого, увы, нет мамы!» Это очень трогательно. Все туземцы здесь должны заплакать. Начальник полиции торжествует и, обвенчавшись с прекрасной танцовщицей, едет в Марсель — отдыхать от трудов.

Просмотр картины состоялся под председательством депутата и бывшего министра г. Дормана. «Картина показывает тесное сотрудничество французских и туземных властей». После просмотра приглашенные отправились в кафе при парижской мечети. Париж не забыл тюркосов. Париж помог арабам построить мечеть, а при ней кафе. В мечети арабы молятся за великую мать Францию. В кафе парижане пьют турецкий кофе и слушают восточную музыку. Кафе приносит хорошие доходы, и те арабы, что взяли его в аренду, молятся за Францию с особым усердием.

В кафе всем приглашенным на просмотр бесплатно выдали кофе и рахат-лукум. Какое избранное общество! Помимо богатых алжирцев три «его светлости»: его светлость Си Каддур бен Харбит, посол Туниса, его светлость Факри Паша, посол Египта, его светлость Мирза Хусейн Хан Ала, посол Персии. Помимо «светлостей» несколько

влиятельных сановников: представители министерств иностранных дел, колоний и изящных искусств. Кафе в мечети, здесь нельзя пить шампанского: мы ведь соблюдаем вековые традиции. Но можно опьянеть и без шампанского, от глубокой радости, от умиления: мы и вы!.. вы и мы... мы любим вас — вы любите нас.

Один из приглашенных забыл в кафе газету. В отделе «Биржа» несколько строк были подчеркнуты красным карандашом: «Железные дороги Алжира» 283... «Марокканское общество электрической энергии» 1320... «Копи Омниум Тунис» 3785... «Суперфосфат Марокко» 960... «Химические продукты Алжира» 157... «Цемент Марокко» 279... Слуга араб поднял газету и тупо поглядел на отчеркнутые строки. Он еще не дорос до подлинной культуры, это не его светлость, не кади, не марабут, это просто бедный араб. Он подметает кафе и молится за Францию.

Прекрасна и нарядна парижская улица Ля Боеси. На этой улице помещаются картинные галлереи. Здесь торгуют не мылом, не сырами, но высокими произведениями искусства. В окне любой лавки выставлены картины Матисса или Пикассо. Это чрезвычайно культурная улица. На ней помещается агентство для пропаганды Индо-Китая. При агентстве кино. Каждый день здесь показывают всем желающим картины из жизни Индо-Китая: дрессированных слонов и рисовые поля, гевеи, которые дают каучук, и счастливых туземцев, которые пьют чай.

Парижские газеты сообщают:

«17-го июня в 5 часов утра гильотинированы 13 вождей национальной партии аннамитов. За полчаса до казни некоторые осужденные, благодаря рвению отца Дроне и отца Меше, согласились принять святое крещение. Духовники положили крупицу соли на язык смертников».

«16-го февраля наша карательная эскадрилья сбросила на деревню Коам 57 бомб. Убиты: 10 мужчин, 5 женщин, 6 детей».

«На шелкопрядильне управляющий избил семнадцатилетнюю девушку Тива. У девушки установлено внутреннее кровоизлияние. После этого рабочие подали петицию об отмене телесных наказаний. Дирекция отказалась принять петицию. Рабочие 30-го августа забастовали, но голод вскоре принудил их бросить эту комедию».

«На копях надсмотрщик подверг наказанию рабочего Кума. Последний скончался от побоев. Дело разбиралось в уголовном суде Ханоя. Надсмотрщик приговорен к одному месяцу тюрьмы, однако условно».

«На каучуковой плантации поймали кули Ле Ван Тао, который пробовал убежать. Начальник, г. Бурлес, приказал привязать беглеца к столбу. Кули провел так ночь. Утром начальник подверг пойманного примерному наказанию. На теле рабочего обнаружены 27 ран. Инспектор труда допросил г. Бурлеса, но тот показал, что провинившийся получил всего 20 ударов, согласно установленному регламенту».

Газеты сообщают об этих происшествиях мимоходом. Что касается агентства на улице Ля Боеси, то его никак не интересуют столь печальные детали. На экране гевеи истекают молочным соком и счастливые туземцы пьют чай. На экране нет ни плетей, ни убитых женщин, ни гильотины. Жизнь Индо-Китая на экране столь же прекрасна, как пейзажи знаменитых художников, выставленные в соседних галлереях

Поль Моран блистательный писатель. У него не только острый глаз, но и отзывчивое сердце. Он всюду побывал и он все понял. Он знает и пейзажи, выставленные на улице Ля Боеси и значение для Франции Индо-Китая. При всем этот он человек простой и сердечный. Он жалуется: «большевистские газеты зовут меня «снобом во фраке». Эти люди отстали — настоящие снобы теперь ходят в вязаных кофтах... Я ненавижу переодеваться к вечеру... Я одет небрежно и я вожусь с интеллигенцией»...

Как человек отзывчивый, Поль Моран занят судьбами кино. Мистер Роберт Кен решил устроить литературный комитет для развития высокой деятельности «Парамаунта». Прежде всего он пригласил Поля Морана: это блиста-

тельный писатель!.. Теперь в Жуанвиле станут изготовлять прекрасные картины!..

Поль Моран смотрит разные картины, даже советские. Это очень утомительно, но недаром он об'ехал весь свет. Он стоек. Картина «Буря над Азией». Поль Моран не на шутку обижен. Как?.. Желтые прогоняют белых?.. Где же тогда справедливость?..

«Прекрасные завоеватели вроде Александра, венецианские послы, иезуиты астрономы, благодетельные проконсулы типа Рединга или Сарро, американские врачи в госпиталях Шанхая, французские миссионеры, которые уничтожили пытку, английские инженеры, которые принесли воду, электричество и беспроволочный телеграф — все это забыто. Они помнят только о нескольких торгашах, лишенных национальности»... Поль Моран скорбит над чужой забывчивостью. У него прекрасная память: он хорошо помнит все, что принесли желтым белые. Если он не говорит и о гильотине и о каучуке, о бомбах, которые превосходно убивают детей, и о контрактах, которые закабаляют кули, о плетях, о кнутах, о нагайках, о розгах, о пулеметах и о сифилисе, об ядовитых газах и о государственной монополии опиума, о статистике тюрем и о добрых отцах с их крупицей соли, если он не говорит обо всем этом, то лишь по причине душевной деликатности. Злые сердца скажут, что Поль Моран не только блистательный писатель, но и чиновник министерства иностранных дел. Злые сердца не смущают Морана: «когда мне было двадцать лет, мои друзья называли меня «эгоистом». Я не возражал, утешаясь тем, что два или три лица, мнение которых для меня ценно, не бросят мне этого упрека». Два или три лица, конечно, догадываются, почему советская картина столь огорчила Поля Морана: желтые прогоняют белых — он скорбит, он скорбит за желтых...

XII. Культ знамени

I

Досчатый барак. Здесь пастор говорит проповеди. Здесь также по вечерам показывают забавные картины: Чарли женится или Макс принимает душ. На стенах изречения: «Мы боремся за отечество и за справедливость», «Помни о твоей жене или невесте и опасайся дурных болезней» — «Общества молодых христиан». Солдаты смотрят на Чарли или на Макса, поют псалмы и читают изречения. Это напоминает родной город и вечер в семье. Они устали от сырости, от темноты, от громоздкого и долгого грохота. Смерть при первой встрече трагична, если жить с ней долго бок-о-бок, она назойлива и гнусна, как зубная боль. Перед окопом валяются трупы своих и немцев; в темные знойные ночи трупы гадко пахнут. Солдаты забыли о высокой справедливости. Они помнят только сладковатый запах. Они перестали улыбаться, они плохо бреются, они не думают о борьбе за культуру. Их надо смазать, как колеса машины.

В бараке пастор и картины. Сначала какой-то чудак в непомерно больших штиблетах скользит и падает. Это смешно. Это очень смешно. Солдаты смеются. Они как бы оживают от глупых штиблет. Это не война, не развалины пикардского городишки, не злая небылица, это только вечер в детстве, балаган, огни, смех.

Солдаты помолились и посмеялись. Теперь надо показать им, за что именно они страдают. Правда, перед атакой им дадут рюмку спирта. Потом офицер свистнет и все завертится. Но сейчас их надо воодушевить, заразить благородным гневом, напомнить: завтра бей, коли, стреляй...

На экране огромная тень. Это не Макс, который принимает душ. Это гадкий пруссак. Он врывается в дом, он хватает женщину, он ее насилует и душит. При виде перепуганных детей, которые молят: «пожалейте нашу мамочку», он гримасничает и хохочет. Он никого не жалеет. Насладившись позором женщины, он ее убивает. Сироты плачут. А в это время муж несчастной женщины, далеко от своей семьи в окопе целует фотографию. Спрятав за пазуху карточку, он хватает винтовку и убивает гадкого пруссака. Конечно, это не тот пруссак, который надругался над его женой, но это брат того, такой же подлец и зверь. «Одним извергом меньше».

Солдаты ругаются: сволочи! Вот мы придем к ним, мы им покажем! Некоторые урюмо щерятся — они думают о своих женах. Некоторые усмехаются — хорошо бы разложить такую!.. Скоро мы их заполучим... Тогда вместо окопов — скандал и смехота...

Пастор говорит проповедь: «бог... правда... положить душу свою...» Завтра на позиции. Отдых кончен. Машина смазана.

В провинциальном городке, далеко от фронта, женщины, подростки, старики идут вечером в кино. Что им еще делать В городе тоска и недоумение — в городе нет мужчин. Женщины ждут почтальона и уныло развращают подростков. В театре показывают интересную картину: «Тевтонская ярость». Немцы в Бельгии. Они убивают, грабят, насилуют. Тевтон Мюллер хватает девушку Мари. Он запирает ее в подвал: «отдайся мне и скажи, где твой брат»!.. Мари, однако, верна королю Альберту. Она ненавидит Мюллера. Она стойка, несмотря на все пытки. Тем временем союзники готовятся к атаке. Солдаты умоляют: скорей!.. Весело бегут они по пустому полю. Они врываются в бельгийский город. Один, молодой и красивый, по имени Пьер, спасает девушку. Показывается брат Мари, он тотчас же надевает военный мундир: он еще молод, но он тоже хочет умереть за справедливость. Все радуются. Мюллер на коленях просит прощенья. Пьер его не убивает. Это немного озадачивает зрительниц. Но Пьер остроумен, как настоящий француз: он заставляет немца ползти на четвереньках «ты не человек, а зверь, ты не смеешь ходить на двух ногах!».. Мари целует Пьера. Они обвенчаются, как только союзные армии возьмут Берлин.

Женщины плачут: две недели не было от него писем!.. Женщины смеются: как смешно он ползал на четвереньках!.. Женщины негодуют: почему таких не убивают?.. Когда они выходят из театра — грузовик: пленные... Тогда, несмотря на поздний час и на дождь, они бегут вслед и визжат: «смерть им! убейте их! это звери!..» На грузовике десяток молодых немцев. Они не понимают слов, но они слышат злобный визг. Они перепуганно ежатся. Льет осенний дождь. Жалобно горят фонари. Над городом и над миром глухая темная ночь.

В тот же вечер в Магдебурге немецкие женщины смотрят картину «Боже, покарай Англию!» Англичанин наживает деньги, пьет виски и посмеивается. А в Германии умирают от голода дети. Крохотный гробик... Женщины ругаются и грозят теням на полотне сухими костлявыми руками: убить их! мало убить! пытать... Над Магдебургом то же небо и та же ночь.

«Сердце мира», «Ответ Америки», «Крестоносцы», «Под четырьмя знаменами», «Пуалю работает», «Морской парад», «Смерть или победа», «Коварная Англия», «Великая и последняя», «За царя и за родину», «Подвиг казака», «Великая Италия», «Немцы ничего не страшатся», «Тень кайзера», «Час расплаты», «На варваров!», «Герой мазурских озер», «Штык молодец».

Солдаты знали — война это вши, это тиф или дизентерия, это шрапнель, пулеметы, снаряды, газы, отнятые ноги, столбняк, хрип умирающих, это трупы среди проволоки, это вонь и темь. На экране солдаты радостно бегали по лужайкам, улыбались женщинам и неизменно побеждали. На экране реяло горделивое знамя: звездчатое или полосатое. Кино не дезертировало, кино сражалось. Если на камеру не повесили дюжины орденов, если под Триумфальной Аркой не проволокли коробки с пленкой, то только потому, что кино не человек, кино это дух, а дух не нуждается в наградах, он довольствуется барышами и сознанием исполненного долга.

Когда в России солдаты закричали «хлеба и мира», союзники не на шутку испугались. Как люди просвещенные, они понимали, что одними угрозами делу не помочь. Французы послали в Россию социалистов: пусть они докажут русским рабочим, что самое выгодное это умереть за дело союзников. Американцы не верили в красноречье ораторов, американцы верили только в кино. Они послали в Россию 64 000 метров пленки — картины полные боевой отваги и рыцарской самоотверженности. Подарок при-

шел слишком поздно: никто в России не ходил в кино, люди кричали, стреляли друг в друга, слушали странные речи и переделывали мир. У этих людей не было хлеба и они умирали. Они умирали, но они продолжали переделывать мир. Никто не заинтересовался ящиком с американскими гостинцами. Столько-то катушек пропало зря.

Тогда американцы спешно изготовили несколько картин: «Россия в аду», «Тропа зверя», «Красный ужас», и покрыли все расходы по неудачной экспедиции.

Война кончилась. Немцы разбиты. Они голодают и угрюмо молчат. Но кто знает, может быть они когда-нибудь и оправятся?.. Англичане отнюдь не успокоились. Они делают картину: «Гунн остается гунном». Это только скорбные воспоминания: «вот кто разрушил реймский собор, вот кто скидывал бомбы на мирные города, вот кто потопил сотни английских женщин! Никогда не покупайте немецких товаров! На вид это просто швейная машинка, ножик, будильник, но деньги идут немцам и немцы снова построят пушки или подводные лодки: они дьявольски хитры. Гунн остается гунном!»

Картина была сделана на средства, отпущенные английскими промышленниками. Это было тогда, когда справедливость окончательно восторжествовала.

2

Рано утром в тысячах комнат и каморок противно дребезжит будильник. Люди злобно приподымаются, с отвращением смотрят вокруг себя: еще один день, вторник или среда... Потом — духота подземной дороги или содрогания автобуса, станки, лента, пишущие машинки, кассы, прилавок, жизнь, полная шума, дрожи, суеты, однако же заведомо неживая.

Те, что были на войне, забыли и о вшах, и о тупой сырости окопов, и о вони. Они помнят только риск, близость смерти, тоску по уюту, по женщинам, по огням города, пьяное веселье в жалком прифронтовом кабачке. Война была единственным похождением в их вдоволь унылой жизни, она рассекла жизнь надвое. Скорее с мечтательным ужасом, нежели с ненавистью, вспоминают они о войне.

Когда им показывают игрушечные бои на экране, они не спорят, не ругаются. На их лицах смутная улыбка. Они припоминают другое. Они что-то пережили. Они вышли живыми из огня. Теперь они вправе и поддакивать, и усмехаться: пусть попробуют другие, мы уже вне спора... Преступно? Конечно, преступно. Но все-таки в этом своя правда... И они аплодируют штыковой бравадe на полотне.

Молодые, те никогда не видали ни окопов, ни военного лазарета. Они еще не привыкли к будням жизни. У них чешутся руки и от злобы идет кругом голова. Неужто придется простоять всю жизнь у прилавка или у ленты?.. Ни разгула, ни авантюры, ни женских улыбок: только цифры и дни. На экране люди рискуют жизнью, скидывают бомбы, падают и спасаются, целуют зачарованных красоток, находят в брошенных домах старое вино, дефилируют перед толпой, на экране люди живут жизнью громкой и завлекательной. Это и есть война? Что же, это не так плохо... Им снятся аэропланы, пулеметы, девушки. Потом дребезжит будильник: среда или четверг.

Так люди созревают для новой войны. Конечно, она будет великой и последней. Конечно, ее заснимут по-настоящему: для стопроцентных говорящих картин. Конечно, она даст столько-то миллионов одним. Что терять другим кроме их куцой жизни?..

Фирма «Метро-Голдвин» сделала картину «Великий парад». Война наконец-то об'явлена. Честные американцы спешат записаться добровольцами. Здесь все равны: сын миллионера и чернорабочий. Какой энтузиазм! Потом фронт и на фронте, разумеется, первым делом любовь. Солдат везут на передовые позиции. Это напоминает спортивные состязания. Девушка машет ручкой. Герой на прощанье швыряет ей сувенир. Это куда занятней ковбоев! Снаряды рвутся. Девушки в театре ежатся от страха. Валовые сборы. Успех во всех странах. Пусть война умерла, на экране она живет второй жизнью. Мы способствуем сближению народов! Мы также воспитываем

юношество в духе подлинного героизма! Так говорит Вилль Хейс. Так говорят газеты. Кинофабриканты, те ничего не говорят: они заняты калькуляцией.

Во время войны Адольф Цукор предпочитал буколические темы: зачем волновать себя и других?.. Теперь он мобилизует персонал: стреляйте из пушек, катайтесь на танках, умирайте и целуйтесь! «Парамаунт» изготовляет «Развеянный сон» и «Горячее сердце». Другие фирмы не отстают: «Отель Империаль», «Ноев ковчег», «Утренняя разведка», «Ее жизнь принадлежит мне», «Наше море», «Всадники апокалипсиса», Ангелы ада». Французы делают «Великое испытание», «Крест Изера», «Крылья», «Вечер на фронте», англичане — «Фалькландские острова», «Ипр», немцы — «Эмден», «За родину». В Холливуде, в Жуанвиле, в Бабельсберге гремят пушки, рвется шрапнель, стонут бравые фигуранты.

Во всех картинах помимо грохота снарядов нежное звучание поцелуев: любовь не забыта. Под треск пулеметов она еще выше и поэтичней. В картине «Развеянный сон» женщина легкого поведения полюбила американского солдата. Она немедленно исправилась. Пастор обвенчал их накануне разлуки: крест и знамя. Что приключилось потом? Может быть, молодой муж погиб за 14 пунктов Вильсона? Может быть, он познал всю радость жизни в одном из публичных домов, предусмотрительно организованных военным ведомством? Может быть, он направил на путь истинный какую-нибудь другую грешницу? Война всех очищает!

Американцев перегнал француз г. Оссо, достойный соперник г. Натана. Г. Оссо сделал картину «Вечер на фронте». Война это не 4 года в окопах, не тоска, не падаль, не агония, война это женщины, шпионы, несколько выстрелов, зарево. Вечер на фронте — как вечер в деревне. Женщина спасает раненого офицера. Любовь. На беду женщина замужем. Ее муж эльзасец. Драма налицо: кино не допускает ни нарушения супружеской верности, ни пошлого развода. К счастью эльзасец оказывается немецким шпионом. Под видом штабного офицера он обследует позиции. Это вполне устраивает дело. Шпион сам понимает свое ничтожество перед любовью его жены и ее любовника. Он надевает немецкую шинель и тогда его убивают. Все это происходит среди атак и героизма. Супруги об'ясняются на передовых позициях, а солдат нельзя удержать в окопе — они лезут под пули.

На просмотре этой картины вышел небольшой конфуз: часть публики свистела. Г. Оссо — русский эмигрант. Однако он французский патриот. Он возмутился:

— Я не затем потратил четыре миллиона... Я не хочу, чтобы публика мне надоедала!..

Скандалистов отвели в участок. Один из скандалистов обратился в редакцию газеты, известной своим пацифизмом: скандалист был молод и наивен. В редакции только пожали плечами: это нас не касается! Редакция была связана контрактом — г. Оссо давал об'явления, газета деликатно молчала.

Война возвышает любовь. Война возвышает душу. Картина «Ноев ковчег». Женщину заподозрили: шпионка! Ее ведут на расстрел. Среди солдат, которым приказали привести приговор в исполнение, ее муж, американский патриот. Он знает, что жена его невинна, но он знает также, что такое родина и долг солдата. Супругов выручает немецкий снаряд. Засыпаны трое: муж, жена и пастор. Пастор утешает супругов. Как и подобает пастору, он ссылается на библию. Был, например, потоп. Нечестивцы погибли. Яфет с женой спаслись. Действительно показывается свет: засыпанных нашли. На небе радуга. Кстати об'явлено перемирие.

На экране никогда не показывают газовой войны — это чересчур прозаично. Другое дело война в воздухе. Немецкий аппарат падает. Подбегают англичане. Летчик не разбился, он только сдается. Английские летчики козыряют вражеской машине. Это красивый поединок: отвага, мертвые петли, амулеты, рыцарская вежливость и улыбка на волосок от смерти. Трудно догадаться, зачем летают эти люди? Может быть, они затеяли состязания? Может быть, они просто хотят подняться ввысь поближе к богу и к звездам. Во всяком случае они никогда не сбрасывают бомб на города, они не

убивают детей, нет, они нежно целуют фотографии любимых женщин и отдают честь противнику. Генерал награждает храбреца крестом, невеста шепчет: «ты мой герой».

Каждую неделю новая картина. 4 года забыты. Инвалиды мало-по-малу вымирают. Жива другая война, война на полотне. Когда солдаты кидаются на врага, подростки кричат: «браво! так их»!.. Рукоплескания покрывают гул пушек. Вестник Международного киноинститута при «Лиге наций» сочувственно цитирует статью «друга народа», г. Коти — парфюмера и храброго вояки, «нельзя допустить, чтобы кино давало карикатуру войны — война самый крупный социальный фактор в истории человечества». Нет, не может быть и речи о карикатуре. Портрет сделан сговорчивым художником: ни морщин, ни отвисших щек, красота, осмысленный взор, унаследованное благородство.

Готовятся дипломаты, готовятся химики, готовятся воротилы трестов. Надо подготовить обыкновенных людей. Сегодня они спешат в театр. Может быть, завтра им придется заглянуть в призывные участки. Увидав на столбцах газет или на заборах короткое словечко «война», они вздрогнут: что это?.. Потом смутно припомнят они игру теней и молодцевато зашагают в указанный пункт.

Люди ждут войны, они к ней готовятся и они ее боятся. Это по-детски: чур-чура!.. Будем лучше чтить мертвых героев и открывать памятники! Тайные союзы — это дело министров. Газами заняты химики. Мы просто люди, мы за мир. «Дженераль Электрик» обнимает АЭГ. «Кодак» ухаживает за «Агфой». Даже г. Гутенберг и тот перебивает зорю трубачей идиллическими ариями из оперетох. Антракт продолжается. Пацифисты восторженно влюются в микрофоны. Над Женевским озером «звезда надежды». Кино не драчун, это скорее дипломат. Мы хорошо заработали на войне. Мы можем заработать и на мире.

Мистер Карл Леммле весьма осторожен. Побеждены немцы. Они даже не рассчитали своего кайзера. Нельзя одеть несчастных в американскую форму: это противно и национальному характеру и ходу событий. Другое дело немцы. Вот Ремарк — он всем угодил: и патриотам, и социалистам. Почему бы не сделать картины по его роману?.. Если запретят в Германии, останется вдоволь емкий рынок: все бывшие союзники.

Химические тресты договорились, металлургические договорились, электрические договорились. Правда, на востоке облачко, но это не касается публики, это для специалистов.

Мистер Карл Леммле решил рискнуть: война без поцелуев и без игр на лужайке.

Фешенебельный театр Лондона. Молодые англичане — наследственные тори, хорошие спортсмены — крикет и теннис, имена, банки, рекорды, гинеи. На экране немцы, завидев смерть, отчаянно кричат. Молодые англичане пренебрежительно пожимают плечами: это недостойно хороших спортсменов! Понятно, что немцев разбили...

Мистрис Джексон говорит своему супругу:

— Это ужасно!.. Ему отрезали ногу...

Мистер Джексон улыбается:

— Не волнуйтесь, моя дорогая! Это только кино...

Мистера Джексона трудно удивить: он пристрелил несколько львов в Уганде и несколько подростков в Калькутте. Он знает, как кричат люди перед смертью.

Париж. Школьники. Увидев перепуганных солдат, они в недоумении фыркают: люди на экране должны быть храбрыми. В жизни также. Снаряды. Грохот. Смерч. Француз молча стреляет. Наплевать нам на бабочек! Они выходят из театра раскрасневшиеся и взволнованные. Им не жалко погибших немцев. Им жалко себя: они живут куда как скучнее!..

Прага. Директор оружейного завода при виде бабочки прослезился. Он сморкается торжественно и глухо. Какой-то мастеровой выругался: нюни!.. Пивовары и колбасники аплодируют: мы победили, мы независимы, мы торгуем на славу, пусть злятся немцы или венгры, а мы готовы всех прижать к любвеобильной груди... Директор спешит домой: он очень занят, он поставляет амуницию де-

вяти странам — своим и врагам, всем, кто аккуратно платит.

В Германии сначала аплодисменты. Никто не мечтает о реванше. Конечно, поляки свиньи, но это деталь. Французы такие же люди... Даже премилые — вот Зибург об'яснил: у них Жанна д'Арк и хорошее вино, потом моды, духи, девочки, искусство... Насчет Саарского бассейна легко столковаться... Американцы тоже славные парни... Слов нет, мы за мир!

Так думают солидные люди—дипломаты или промышленники. Так думают заправилы ИГ. Г. Гугенберг думает иначе: надо запрашивать. Без скандала мы ничего не добьемся. Французы хорошие люди, но их не мешает попугать...

Что за безобразие?.. Немцы кричат от страха?.. Это издевательство над достоинством нации. Это оскорбление павших героев! Почему кричат именно немцы, а не американцы или не французы?.. Немцы никогда не кричат от страха. Немцы боятся только доброго немецкого бога. Немцы кричат «ура» и они побеждают.

Мобилизованы все верноподданные: юные буяны, отставные фельдфебели, разочарованные чиновники, изголодавшиеся безработные. В воздухе пахнет полем памятного года. Армия выступает. Она идет не на Льеж, но на театр, в котором показывают позорную картину. Во главе — посол доброго немецкого бога, пастор Мюнхмайер.

В театре возмущенные патриоты выпускают из клеток мышей. Зрители визжат и прыгают на кресла. Потом газы. Зрители кричат от страха. Правда, немцы, те никогда не кричат, но это не немцы, это просто зрители, они заплатили за вход, они против войны, следовательно они против газов. А мыши способны напугать любого храбреца...

Цензура сначала картину разрешила: цензуре свойственно ошибаться. После случая с мышами картина запрещена. Немцы никогда не кричат от страха — это злостный вымысел.

Мистер Леммле огорчен. Во-первых, он выходец из Германии, он скорбит за свою первую родину. Во-вторых, ему не охота ссориться с немцами: за прошлый год они купили американских картин на 420 000 долларов. Фирма «Юниверсел» бойко отпускала в Германию товар. Надо замять это дело! Берлинское представительство «Юниверсела» об'являет конкурс: кто лучше всего определит, какие именно места надо удалить из картины, чтобы она могла пройти через немецкую цензуру? Все досужие люди становятся цензорами. Вот это!.. И притом это!.. Даже пастор Мюнхмайер не упрекнет мистера Леммле в дурном нраве.

Цензора в других государствах тоже не зевают: картина большая, ее можно обкарнать. Французы не хотят, чтобы немецкие солдаты обнимали французских девушек. Чехи не хотят, чтобы немецкие солдаты чересчур много болтали о мире. Итальянцы просто запретили картину: вредно для армии! Примеру итальянцев последовали Польша, Болгария, Югославия, Греция, у нас люди простые, они не разберутся в мундирах, они решат, что кричат от страха свои!.. Даже герцогство Люксембург перепугалось за дух своей армии: военный министр герцогства запретил воинским чинам смотреть столь малодушную картину.

Впрочем, что значат Люксембург или даже Италия?... В Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, в Чикаго повсюду валовые сборы. Дамы плачут, дети смеются, люди серьезные одобрительно вздыхают: мир куда лучше войны! Вот если бы не кризис!.. Конечно японцы обнаглели... Конечно итальянцев пора осадить... Конечно пока мы не свалим советы, с индусами одно горе... Но это нас не касается... Об этом думают другие... Бедный солдатик, он хотел поймать бабочку и его застрелили!.. Война?.. Нет, обождите!.. Чур-чура!.. Чур-чура!..

Генеральные штабы тем временем готовятся. Они не развлекают, не уговаривают, они учат. Солдатам показывают специально изготовленные картины. Кино помогает полиции обнаруживать злоумышленников. Кино подготовляет рабочих к рационализации и к ленте. Кино заменяет классического унтера. Во Франции при каждом армейском корпусе существует киносекция: с'емки, монтаж, «живые рисунки». В каждом полку проекционный аппарат и набор картин. Это куда солидней, нежели фабрика г. Натана! 34 государства покупают у французов военные картины.

Соединенные Штаты и Англия заняты главным образом картинами для военного флота: морская атака, погоня за подводной лодкой, согласование действий с гидропланами. Соединенные Штаты устроили 115 кино при морских базах. Статья бюджета поясняет: «для поднятья профессионального образования матросов». Не забыт и воздух. Во время с'емок картины «Полет» были мобилизованы крейсера, пловучие базы, гидропланы и самолеты. Эта картина дает теорию и практику воздушной войны. Ее показывали и в Лондоне. На просмотре министр воздухоплавания, забыв о британской сдержанности, громко зааплодировал.

Даже Бельгия и Швеция тратят крупные суммы на заготовку военных картин. Это не забава, это серьезное дело— без «звезд» и без любви. Здесь никто не гадает хороша или плоха война, здесь только учат пускать газы, скидывать на города бомбы или топить пароходы.

Сегодня это «профессиональное образование», завтра это станет жизнью, обязательной для всех: человек выслушивает приказ, козыряет, ползет по земле, потом — грохот и человека больше нет. Над горстью земли гордо реет тряпица, полосатая или звездчатая — Вилль Хейс всегда говорил: кино должно соблюдать культ Знамени!

XIII. Сеятели радости

1

В старых готических соборах мало света: солнце когда-то мешало людям молиться. Это было в эпоху невежества. Люди искали бога в темных щелях и в темном сердце, под грубой власяницей, среди горя и нищеты. Парижская церковь Мадлен наполнена светом. Она похожа на оперный театр или на биржу В ней молятся люди просвещенные, те, что утром толкуют о контрольных пакетах, а вечером смотрят картины «Парамаунта». Они не боятся ни солнца, ни науки, они знают, что папа сторонник прогресса. Над Ватиканом — антенны и недавно святой отец беседовал с паствой по беспроволочному телефону. Если папа не летает на самолете, то только ввиду своего почтенного возраста. Зато он охотно смотрит на экран. Ему показывают жизнь святой Терезы или ландшафты Палестины.

Прежде папы осуждали светские зрелища. Иннокентий XII, Климентий XI, Бенедикт XIV предавали проклятьям лицедеев. Они ссылались на святого Августина: театральные представления это происки беса!.. Папа Пий XI не только подписал договор с Бенито Муссолини, он заключил мир с кино. Он написал энциклику: «сие мощное орудье, управляемое здоровой доктриной, может принести великую пользу, однако, увы, зачастую оно служит возбуждению злых чувств»... Он благословил кардиналов и епископов на новое служение: они должны овладеть душой кино. Никто не думает бороться с экраном. Парижский архиепископ поясняет: «католическая церковь полна материнских чувств. Она знает, что люди это большие дети. Это ее дети. Она знает, что детям нужны развлечения». Даже святой отец любит кино. Посмотрев картины, с двойной энергией принимается он за работу. Он диктует стенографисту проект новой энциклики: он проклинает преступные теории социалистов и раскрепощение женщины, стачки и разводы. Умело сочетает он прогресс с традицией. Это по вкусу всем прихожанам церкви Мадлен: папа никогда не проклинает ни биржи, ни акционерных обществ, ни полиции.

Прихожане умиленно преклоняют свои почтенные колени перед одной из гипсовых статуэток.

Церковь Мадлен — фешенебельная церковь. Здесь отпевают достославных генералов, которые на войне показали себя вдоволь христолюбивыми, набожных кокоток, интендантов и отставных префектов. Здесь также венчают избранных. Именно здесь недавно обвенчали директора прокатной конторы «Верофильм» с дочкой прогоревшего маркиза. Слов нет, г. директор староват, у него парик и вставная челюсть, он похотливо сюсюкал, сжимая руку невесты. Но кроме вставной челюсти и гнилостного дыхания у него прокатная контора с хорошим оборотом. Все поздравляли счастливого маркиза. На паперти толпились фотографы, они спешили запечатлеть торжественную минуту: прихрамы-

вая, г. директор «Верофильм» тащит перепуганную барышню к так называемому «супружескому ложу». Он окроплен и святой водой, и слезами растроганной Магдалины.

Сегодня в церкви Мадлен блистательное общество, хотя никого не венчают, никого не хоронят — ни фаты, ни катафалка. Сегодня парадная месса. Среди молящихся немало людей, причастных к кино: это, конечно, не фигуранты, но директора фабрик, владельцы театров, прокатчики, крупные акционеры.

Кадильницы распространяют дивное благоухание. Епископ Филлон обращается ко всем труженикам кино:

— Господа, церковь вас благословляет, ибо вы сеятели радости!

Молебствие предшествовало открытию конгресса католического кино, а конгресс этот был созван благодаря редкостному рвению каноника Раймонда. Каноник Раймонд честно служит римско-католической церкви. Он хочет, чтобы кино ей также служило.

Кому только не служат эти блудливые тени? Они служат государству и «папе Цукору», фабрикантам, полицмейстерам, тюремщикам, колонизаторам, палачам, они служат малиновке Хейсу и электрической промышленности, бирже и любви, борделям и нации. Они должны теперь послужить господу-богу!

На конгресс явились представители французской республики и «Лиги наций», делегат министерства изящных искусств и бравый генерал Кастельно. На конгресс явились также директоры всех крупных кинематографических фирм. Смиренно улыбаясь, каноник Раймонд обратился к директорам, вице-директорам и акционерам:

— Вы люди промышленности. Мы люди подвижничества. В наших обоюдных интересах об'единиться. Так заключается всякий добросовестный договор, выгодный для обеих сторон.

Потупив очи долу, председатель об'единения кинопромышленников воскликнул:

— Мы благодарим вас от имени всей французской кинематографии!..

Конгресс длился несколько дней. Деятели церкви говорили о духовной жажде пасомых. Деятели кино прикидывали, сколько можно заработать на подобном благочестии. Генеральный комиссар флота, он же воинствующий католик г. Дюфур говорил понятно для всех:

— Надо рассматривать кинематограф как предприятие. Даже деньги должны обожать бога!

В прошлом году делегаты осматривали фабрику «Патэ-Натана». Теперь они едут на фабрику «Гомон-Обер-Франко-фильм»: это христиане и они никого не хотят обидеть.

В павильоне «звезда» показывает голое колено: члены конгресса благоразумно отворачиваются. Представитель дирекции об'ясняет мощь полуваттных ламп. Один из провинциалов любопытствует:

— А какие картины вы изготовили?

— Разные... Например, «Лучшая любовница» или «Когда мы наедине»...

Провинциал сокрушенно вздыхает. Ничего, однако, не поделаешь, апостол Павел и тот сказал: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию и на время»..

Впрочем помимо названных картин фирма «Обер-франко-фильм» изготовила вполне богоугодную картину: «Чудодейственная жизнь Жанны д'Арк». Правда, и здесь оказались некоторые вольности: режиссер, к сожалению, не воспитывался в католической семинарии. Но дирекция «Обер-франко-фильм» любезно предложила пастырям просмотреть картину и вырезать все неблагонадежные пассажи.

Так плодотворно началось сотрудничество церкви и промышленности.

Неделю спустя в парижских театрах показывали святыни Лурда. Паломники юродствовали. Больные исцелялись. Сияло солнце и в его лучах сияли нимбы всех святителей. Кино нашло еще одного хозяина — не Цукора, не Натана, не Хейса, нет, самого господа-бога!

Закрывая конгресс, кардинал Лилля, его преосвященство Лионар, не осквернил своих уст цифрами. Он деликатно сумел успокоить недоверчивых дельцов: ваши усилия не пропадут!

— Цель индустрии — доходы и богатство. Это вполне справедливо. Я одобряю ваше намерение служить истине, не забывая при этом о законных барышах.

Мы католики вас понимаем. Честно и по-христиански мы отплатим вам за услугу услугой.

Бравый генерал председательствовал. Кардинал благословлял. Труженики кино: биржевики, аферисты, члены правления, цензора, святоши, разжившиеся на бедрах «звезд», прихожане церкви Мадлен и набожные завсегдатаи укромных борделей, благоговейно склоняли головы. Тонзуры и лысины согласно посвечивали.

Может ли церковь положиться на казенных цензоров? Конечно, цензора люди почтенные, они стоят за нравственность и за порядок. Но цензоров легко заговорить, — только праведный огонь воинствующей церкви закаляет души. Католики учредили вторую цензуру. Они определяют, какие картины можно смотреть верующим, а какие нельзя. Каноник Раймонд издает бюллетени; в них списки картин с загадочными буквами П, С, Т, Р, Д, М.

П — означает — картину можно смотреть всем и повсюду, С — можно показывать в наших залах, Т — показывать у нас не стоит, но можно смотреть в светских театрах с семьей, Р — для особ вполне сложившихся, Д — опасно даже для вполне сложившихся особ, М — берегитесь: оскорбление нравственности и религии!

Каноник Раймонд не только ставит буквы, он поясняет, за что осуждена та или иная картина. На столе каноника Раймонда священная книга. В ней сказано: «крепка как смерть любовь, люта как преисподня ревность». Каноник Раймонд хорошо понимает, что любовь не под силу человеку. Он пишет: «женщина в купальном костюме»... «голое колено»... «слишком длинный поцелуй»... «голое плечо во второй части»... «на женщине обтягивающее платье»... «туземцы недостаточно одеты»...

Скажут, что это негры, что негры всегда ходят чуть ли не голышом. Да, но их могут увидать стыдливые католики!.. Это зрелище только для людей крепких духом, как сам каноник. Поставим Р...

Соломон хвастался, что у него шестьдесят жен и восемьдесят наложниц. Он называл Суламиту не супругой, но «возлюбленной». Так сказано в священной книге. Впрочем, мы давно об'яснили верующим, что это мистическая любовь, и что даже сосцы, о которых сластолюбец столько разговаривает, надо понимать иносказательно. Некоторые отношения допустимы только в законном браке.

Куда Виллю Хейсу до каноника Раймонда! В этих картинах столько досадных недосмотров! Каноник Раймонд негодуя пишет: «впечатление, что любовь всегда законна»... «жена готова покинуть мужа ради любимого человека»... «намек на развод»... «невенчанные живут вместе и они говорят друг о друге: муж, жена»... «муж явно высмеивается»... Это опасно даже для людей крепких духом! Даже для каноника Раймонда! Поставим скорее большущее Д!..

В священной книге сказано нечто подозрительное о богачах и о верблюде. Это очень темная аллегория!... Над этим лучше всего не задумываться: так легко дойти и до коммунизма! О чем только думает цензура?.. Посмотрите: «законы и социальные условия якобы связывают человека»... «буржуазная среда показана отрицательно, для нее важнее всего деньги»... «правосудие выведено несправедливым и жизнь в тюрьме может показаться лучше жизни иного бедняка»... «умалена социальная роль полиции»... «русские эмигранты представлены в обидном свете»... «настойчиво противопоставляются жизнь богатых и бедных»...

Уж не большевики ли сделали эти картины?.. Как можно утверждать, что бедные несчастны?... Они должны быть счастливы — пред ними царствие небесное. Они должны в кино любоваться чужим счастьем, и, любуясь им, думать: мы все это получим, тотчас же после смерти!..

Насмешки над богатыми еще опасней, нежели полуголые негры. Здесь не может быть никаких колебаний. Поставим М! Ни один добрый католик не должен смотреть эти богомерзкие картины!..

Каноник Раймонд трудится без устали. Перед ним мелькают страны и лица. Снова поцелуй в губы!.. Снова симпатичный прелюбодей!.. Снова сцена на пляже! Он смотрит, вздыхает и ставит большие взволнованные М. Он куда суровей Хейса: ведь Хейс, понатужась, еле-еле при-

думал свой куцый «кодекс», а у каноника фолианты в пергаментных переплетах. Кроме священной книги (ее давно следовало бы пометить, если не М, то Р), у каноника много солидных пособий: труды отцов церкви, папские буллы, летописи монашеских орденов. Ему помогают и доминиканцы, и мудрые иезуиты. Его предшественники жгли на кустарных кострах преступные книги. Каноника Раймонда никак не искушает горючесть целлулоида. В его груди пылает неистовый огонь, он уничтожает нечестивые видения. Вилль Хейс — еретик и греховодник. Вилль Хейс обожает телефон и сливочное мороженое. А у каноника Раймонда нет иных страстей, кроме высокой страсти к единой апостольской церкви.

Поздно ночью он все сидит и выписывает: Р, Д, М... Губы его угрюмо шевелятся: голое бедро... голая спина... голое лицо... Он изнывает от страсти к своей церкви. Об этом сказано, правда, несколько туманно, все в той же священной книге: «прекрасна ты, возлюбленная моя!.. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня!..».

В Кемпере расклеены афиши: «На западе без перемен». «Потрясающая драма! Мировой успех! Звуки и пение!»

Аббат Лассер исправно получает бюллетени, редактируемые каноником Раймондом. Меланхолично смотрит он на свежую афишу: ага, об этом там упомянуто!.. Дома аббат Лассер перечитывает грозные обличения каноника Раймонда: «в картине показана только одна сторона правды, наиболее ужасная. Несколько фривольностей. С точки зрения религии заголовки предосудительны. Безусловно Р.».

В городе много толкуют об этой картине. Там видите ли показывают ужасы войны!.. Это наверное фокусы социалистов и масонов. Во время войны люди приближаются к господу. Во время войны даже заведомые безбожники и те с трепетом поглядывали на г. аббата: кто его знает?.. у меня сын на фронте... Война отнюдь не противна заветам святой церкви. Вот генерал Кастельно— он бравый вояка и он добрый католик. Среди генералов столько верующих!.. Каноник Раймонд поставил Р — для людей, крепких духом. Но таких людей нет в Кемпере. Разве что сам аббат, но аббат не любитель кино. По вечерам он сидит у себя и смотрит книжки с богопротивными изображениями — это приятно и нехлопотливо. В такие минуты даже экономка боится его потревожить — г. аббат сосредоточивается для молитвы!.. Итак, никто не должен глядеть эту картину!..

Аббат Лассер беседует с видными прихожанами, он приглашает к себе инспектора лицея, он шепчет в исповедальне: разврат, грех, геена огненная!..

Вдова нотариуса Шеле хотела было пойти с детьми посмотреть на потрясающую драму, но аббат Лассер ее во-время удержал. Владелица кружевной мастерской г-жа Бризье запретила своим мастерицам глядеть мерзкую картину. У Шалерюв дома кавардак: сын ругается, дочки плачут, но старики тверды: г. аббат не стал бы зря говорить!.. Вот на будущей неделе пойдет другая картина, тоже о войне: «Мисс Кавель» — это сестра милосердия, ее замучили злые немцы. Г. аббат очень хвалил эту картину. Тогда и мы пойдем в театр...

Во Франции много городов и во Франции немало аббатов. Одряхлели камни готических соборов, но полны юношеского пыла сердца прислужников Рима. Они предостерегают, увещевают, отлучают. Каноник Раймонд усерден: его бюллетени читают даже в Камеруне, где полуголые негры. Ночной бред каноника становится законом. Это закон для захолустных вдов, это также закон для осторожных промышленников: зачем рисковать?.. Иные театры не берут картин, помеченных Д или М... Вспомним о наших интересах! Дюфур справедливо заметил: «и деньги должны обожать бога».

Каноники Раймонды водятся повсюду: для Рима несть эллина и иудея. На международном конгрессе католической кинематографии присутствовали представители 18 стран. Они обсуждали многие вопросы: о производстве назидательных картин, о второй, дополнительной цензуре, о католических театрах, о соглашении с кинопромышленниками. Их, разумеется, благословляли и папа, и кардиналы, и «Лига наций».

На международном конгрессе обсуждался также важный вопрос: о борьбе с темнотой, не с темнотой народонаселения, нет, с темнотой зрительного зала. Кто не знает, что в кино влюбленные ходят целоваться?.. Жизнь в больших городах хорошо налажена: все на своем месте; если у бедных влюбленных нет места, они могут итти в кино. Там на экране любовь — «Любовь в снегах» или «Любовь в пустыне». На экране влюбленные преспокойно целуются — у них комната, им не нужно итти в кино... В зале раздается короткий вздох поцелуя. Если угодно, это звуковое кино. Если угодно, это квартирная нужда. Если угодно, это горькая продымленная молодость рабочих окраин, серая идиллия, любовь наспех и мимоходом.

Церковь негодует. Целоваться можно только в семейных спальнях или в низких учреждениях с торговым патентом. Нельзя целоваться в театре!..

Каноник восклицает: вот до чего доводят эти нечестивые картины с полуголыми неграми!.. А душ?.. Вы ведь не забыли, что мужчина принимает душ!.. Баварский аббат клянется, что картины можно с успехом показывать в освещенных залах. Католическая церковь всегда стояла за прогресс. Это вопрос техники. Мы молимся в светлых церквах. Они должны показывать картины при ярком свете. Голландский епископ стонет: вспомните о матерях! Что переживают несчастные матери?.. Их дети ушли в кино, в кино темное, как адова пещера, в кино, где грех легко перелетает с полотна на ряды неопытных зрителей!.. Итальянский кардинал благословляет. Конгресс принимает резолюцию: он отмечает справедливую тревогу матерей, он требует обязать владельцев театров: сеансы только в освещенном помещении.

Изгнав дьявола из зала, его изгоняют из мира воображаемого. «Слишком долгий поцелуй в губы...»

Каноник Раймонд так и не дождется отдыха!

Католики не только осуждают грешные картины. Они заняты изготовлением своих собственных картин, назидательных и глубоко духовных.

Фабриканты получают заказы; между «Любовью на эшафоте» и «Любовью в спальном вагоне» они изготовляют: «Житие святой Терезы», «Житие святого Франциска», «Чудодейственная жизнь Бернадетты», «Чудодейственная жизнь Жанны д'Арк», «Славься, Мария», «Вифлеем», «Апостолы», «Евангелисты», «Крещение», «Евхаристия», «Миропомазание», «Посещение Ватикана», «Паломничество в Лурд», «Донреми», «Святыня Салет» и много других картин, столь же увлекательных.

Особенной помпезностью отличается картина «Житие святого Франциска Ассизского». Как известно, Франциск обручился с бедностью. Его жизнь показана со всей роскошью послевоенной Италии. Картину изготовил, разумеется, граф, а именно граф Джулио Антаморо. Он заявил: «Ни одно искусство не может показать лучше жизнь святого Франциска, нежели кино...» Напрасно бедняга Франциск слагал гимны брату солнцу и сестре траве. Что значат стихи по сравнению со столь шикарной бутафорией?.. Католики не остановились перед затратами. Они горделиво докладывают: 60 портных изготовили 7000 костюмов, 500 рабочих построили бутафорский Ассизи, израсходовано 20 000 метров дерева, 600 лошадей участвуют в с'емках... Так прославляют они жениха бедности и брата диких зверей.

Муссолини хвастливо улыбается: «Италия родила Данте — самого гениального поэта, Леонардо да Винчи — самого глубокого художника, но этого мало — мы дали христианству и человечеству самого святого изо всех святых — Франциска Ассизского...» Бьют барабаны и молодые люди бодро рычат вокруг вождя. Святой Франциск на полотне любуется свежеполученными стигматами.

Чтобы не доложить на благочестии, фирма «Икса», изготовившая картину, включила несколько вполне светских сцен: битву, бегство из гарема, сластолюбивого графа, красивую пленницу. На афишах и слова папы Пия XI, и голые плечи красавицы.

Однако недостаточно показывать жизнь святых. Надо показать жизнь грешников: как они каются и прозревают. «Чудо в Лурде». Часть первая: па-

ступика Бернадетта. Она увидала святую деву. Ей не верят. Над ней смеются. Тогда в дело вмешиваются небесные силы: несколько эффектных чудес. Лурд сразу входит в славу. Часть вторая. В Лурде находится Пьер Монбрей. Это писатель и завзятый материалист. Он не верит ни в какие чудеса. Он развращает юные души. Он пытается также развратить своего шурина, но тот тверд, как каноник Раймонд. Этот благородный шурин помогает одной хромой девушке добраться до чудодейственной пещеры. Девушка молится и тотчас же исцеляется. Она кидает костыли и благородно резвится. Тогда писатель - материалист падает на колени перед святой девой: он тоже исцелился, он прозрел душой, он теперь подпишется на бюллетени каноника Раймонда, он будет сочинять сценарии для честных католических картин.

Прозревают не только писатели. Прозревают также пианисты. В картине «У каждого свой крест» пианист — низкий безбожник. Его жена и его сын, маленький Пьер, добрые католики. Но пианист неумолим. Напрасно Пьер молится богу за душу своего грешного папы: пианист с каждым днем звереет. Он больно колотит Пьера и он запирает его: не смей ходить в церковь! Пьер отважен: он пробует вылезть в окно. Он падает. Воспаление мозга. Тогда мать прогоняет изверга. Пианист бездомный и беспризорный прозревает. Он играет Баха и кается. Он сам ведет умиленного Пьера в церковь.

Писатели и пианисты люди опасные. Куда легче иметь дело с фабрикантами. В картине «Чудо святой Терезы из Лизье» дочь богатого фабриканта узнает о недавно канонизированной святой и решает стать кармелиткой. Ее отец неудачно играет на бирже. Он накануне банкротства. Дочка хочет его спасти: выход один — выйти замуж за разбогатевшего управляющего, который нечист на руку. Этот выход трудный, но честный: чти родителей твоих! Против этого ничего не может возразить ни святая церковь, ни святая Тереза. Про запас, однако, имеется г. Дормуа. Он тоже не беден, он добрый католик, ко всему он красив и его любит дочка фабриканта, да, да, только его и святую Терезу из Лизье! Г. Дормуа в Бразилии. Он чувствует: час настал! Он едет во Францию. Он приезжает во-время. Он выручает и фабриканта, и его набожную дочку. Аббат разрешает девушке предпочесть монастырю спальню г. Дормуа. На радостях молодожены преподносят святой Терезе большущий букет из роз.

Каноник Раймонд вполне удовлетворен. Он ставит конечно П — эти картины можно показывать повсюду. Он растроганно пишет: «прекрасные кадры... мораль превосходна... Пьерет Люгар вполне натуральна в роли Бернадетты...»

Эти картины показывают в сотнях театров, в клубах для католических рабочих, в школах, в лазаретах. Фабриканты всегда верили в господа, писатели и пианисты тоже уверовали, теперь очередь за рабочими. Глядите, дети, как мило улыбается г. аббат! Опомнитесь, умирающие, вас ждет преисподня!

Фирмы, которые изготовили эти картины, не могут пожаловаться: они свое получили. Каноник Раймонд говорит:

— Мы должны засыпать ров, который якобы отделяет бескорыстные дела от дел прибыльных. Этого воображаемого рва — нет. Благие дела и дела просто вполне совместимы. Можно хорошо служить богу, получая при этом вознаграждение, вполне естественное, поскольку в дело вложен капитал...

2

«Парамаунт» борется с «Фоксом». Баптисты борются с методистами и пресвитерианцами. Это лояльная конкуренция. Конечно, все они почитают того же бога, но у них разные патенты. Баптисты увещевают методистов и пресвитерианцы стремятся обратить баптистов в истинную веру. В Нью-Йорке можно не заметить этой глубоко духовной войны, в Нью-Йорке и без того много шума: «Форд» сражается с «Дженераль Мотором», «Дженераль Электрик» с «Уэстерн Электрик», «Метро» с «Братьями Уорнер». в Нью-Йорке легко встретить и боксеров с кровоподтеками и разорившихся биржевиков. Не то в тихих городках центральных штатов. Там нет ни коммунистов, ни королей нефти, ни чикагских бандитов. Там дни

скрашивают только кино, да церковь. Там, затаив дыхание, смотрят люди, как пресвитерианец кладет на обе лопатки методиста или как баптист наседает на пресвитерианца. Это зрелище богоугодное и к тому же бесплатное.

Много лет подряд и пресвитерианцы и баптисты старались перещеголять друг друга хлесткими проповедями. У каждой церкви были свои «звезды». Они переезжали из города в город, разумеется, за соответствующее вознаграждение. Их гастроли подготовлялись задолго. На стенах пестрели афиши: знаменитый проповедник Ральф Эллиот в ближайшее воскресенье будет говорить о спасении человечества: как верующий методист может найти себе работу даже в дни жестокого кризиса? Почему дочери Евы слушают змея и что такое джазбанд? Котировка добрых дел или рай без паники!

Обиженные баптисты приглашали Гарри Хестона. «Что такое оптимизм Форда? Что такое оптимизм бога? Рационализация души! Сто процентов милосердия! Гарри Хестон обратил на правильный путь 12 876 душ!»

Был, однако, серьезный конкурент и у Ральфа Эллиота и у Гарри Хестона: кино. Всем сенсационным проповедникам предпочитали легкомысленные американцы экран с тенями. Сначала баптисты и методисты пробовали уничтожить общего врага. Они обязали верующих круговой порукой: никто не должен смотреть на эти мерзкие картины! Они не скупились на проклятье: кино это виски, кино это блудницы, кино это верный ад! Кто хочет обеспечить себе место в адовой печи, тот должен ежедневно ходить в кино.

Кино выстояло. Во главе кино — теперь христианский монарх. Все знают, что Вилль Хейс не блудодей, но честный пресвитерианец. Это, конечно, победа: даже кино не может обойтись без церкви! Это и поражение: нечего делать, придется пойти на уступки. Как сказано у апостола Павла: всего лучше безбрачье, но люди слабы, следовательно они должны жить в браке. Если кино существует, мы должны использовать кино.

Начали пресвитерианцы Альбани. После воскресной службы — нравственные картины. Прихожане оценили нововведение. Стараясь забить конкурентов, методисты перешли на говорящие картины. Они установили в некоторых церквах аппараты «Уэстерн Электрик». Цукор — владелец театров огорчался: что за глупость — бесплатно показывать картины!.. Так никто не пойдет в театр!.. Цукор — владелец фабрики радовался — за прокат картин «Парамаунт» получает доллары.

Скучно, ох, как скучно в Альбани или в Денвилю! Там даже не линчуют негров. Иногда приезжают проповедники, иногда улюлюкая хватают блудницу, иногда украдкой пьют джин. Сегодня в церкви методистов картина «Христос, фарисей и блудница». Все, разумеется, в сборе. Пастор, достоуважаемый брат Сидней Слоан, сияет от удовольствия, как удачливый антрепренер. После проповеди гаснет свет. На экране актер с длинными кудрями и с медовой улыбкой. Он шевелит губами. Церковь заполняет хриплый шопот: «прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Весьма миловидная особа падает на колени. Она подносит к ногам кудрявого человека огромный сосуд. Какой-то пожилой и почтенный господин, осуждая женщину, пресмешно трясется. Среди публики смешки. Озорной племянник судьи Росса кричит:

— Точь-в-точь наш Врайт!.. Это, наверное, его братец!..

Мистер Врайт — попечитель воскресной школы, неудивительно, что мать поспешно шипит на мальчугана:

— Не говори глупости! Это фарисей! И в церкви нельзя разговаривать!..

Мистер Врайт не удостаивает озорника даже взглядом, благоговейно смотрит он на экран: хорошенькая баба!.. Вроде Эдды. Жаль, что ее накрыли... Теперь осталась только вдова Паркер, а у нее ноги, как у бегемота, смотреть и то противно. Эта девочка хоть куда!.. Лицо мистера Врайта просветлено благодатью. Он смотрит поучительную картину. Он возвышается над суетными делами.

Кудрявый человек простил грешницу. Брат Слоан поясняет: мы должны прощать. Мы также должны наказывать. Не-

честивцы, танцуя, прижимаются друг к другу. Нечестивцы ходят в театр «Орфеум», где показывают мерзкие картины. Нечестивцы пьют запретные напитки. Нечестивцы спешат в ад. Мы спешим в рай. Да снизойдет на всех любимых братьев и сестер благодать господня!..

Сеанс закончен. Брат Слоан идет с молодой сестрой Анни в примыкающую к церкви школу. Сестра Анни обучает детей. Но дети приходят несколько позже. Сейчас в школе пусто. Брат Слоан проверяет задвижку. Он пробует обнять сестру Анни. Та отстраняет его и аккуратно ложится на скамейку: это спортивная особа и жесткость ложа ее не смущает. Она не любит недомолвок. Она ждет. Тогда, закрыв глаза, брат Слоан одаряет ее любовью. Это, конечно, грешница, но она тоже много любила и ей наверное все простится.

Вечером брат Слоан гуляет с братом Врайтом. Оба думают о возвышенном. Брат Врайт хорошо заработал на бараньих кишках. Он решил пожертвовать толику на воскресную школу:

— Наш долг бороться с пагубным безбожием...

Брат Слоан сочувственно кивает головой. Потом они говорят о новшестве: кино в церкви. Прекрасное богослужение! Даже змия можно сделать ягненком. Конечно, в театре «Орфеум» полные сборы. Глупцы еще думают, что все счастье в плоти какой-нибудь блудницы... Вы читали, кстати, о процессе Клары Боу?.. Доподлинно Вавилон!.. А вот в нашей картине ничего такого и, однако, же она смотрится с удовольствием... Экран бел и непорочен. Это душа новорожденного. Мы начертаем на нем нашу божественную мудрость...

Глядит на небо святой отец Пий XI, глядит на небо брат Сидней Слоан. Глядят на небо каноник Раймонд и Вилль Хейс, католики и лютеране, методисты и баптисты, квекеры и пресвитерианцы. Небо порой бывает белым и загадочным, как экран. Тогда верующим снятся дивные сны. Вертится лента и на облаках кудрявый красавец творит чудеса: вода превращается в вино, а кесарь получает кесарево. На облаках трепещут «звезды». Это не астрономическая кабалистика, это посредственные актеры и любимцы публики. В Париже это святая Тереза, в Берлине это Лютер, в Альбани это добродетельный американец, тот, что никогда не пьет виски и не танцует чарльстона. Взволнованно несутся тени по небу. Церкви растут и множатся. Папа пишет новую энциклику. Каноник Раймонд обличает. Пресвитерианцы покупают прекрасные аппараты «Уэстерн-Электрик».

Да соединятся все в моем лоне! Да прославят меня все языки! Брат Слоан обнимает аббата Лассера. Льются слезы, оплодотворяют землю весенние дожди и как радуга мелькают, вымоченные в десяти виражах, дивные видения: лютни, ангелы, нимбы. Поют серафимы и поют малиновки — Давид Сарнов торгует только хорошим товаром!.. Какие дисканты! Какое просветление! Это высоко, высоко, куда выше, нежели купол церкви Мадлен, возлетел благочестивый епископ Филлон и оттуда беседует он со всеми тружениками кино: с Цукором и с Натаном, с Клерком и с Голдвином, с Кличем и с Хейсом, с фабрикантами, с прокатчиками, с биржевиками:

— Господа, церковь благословляет вас, ибо вы сеятели радости!..

Нет ничего верней пасторского благословения! Вертится лента. Ежедневно 40 000 000 человек спешат в театры. Доходы множатся. За прошлый год на одной нью-йоркской бирже были совершены сделки с 22 306 720 акциями различных кинематографических фирм.

XIV. Сеанс навеки

1

Приставить гайку. Ввинтить. Еще раз приставить. Отстучать: «в ответ на ваше письмо от...», «в ответ на ваше...», «в ответ...» «Четыре копии... Получить три восемьдесят... Сдачи два двадцать... 136 «Стандарт-Ойл» по 374... 28 ящиков консервов. Поднять рычаг. Опустить рычаг. Колесики. Подшипники. Ремни. Порцию сосисок. Линия АГ. Линия ИО. Линотипы. Станки. Фрезерки. Прессы. Штампы. 25 секунд... 140 строк... 55 печатных знаков. Приставить гайку. Еще раз приставить...

Потом вечер, вечер во всех городах — голубой, сизый или серый. В тонких трубках бьется огненный змий: «Арс», «Рокси», «Ампир», «Плаца», «Мажестик», «Капитолий», «Кристаль», «Олимпия», «Риальто», «Тиволи», «Савой», «Эрмитаж», «Колизей», «Глория», «Унион», «Астория», «Метрополь», «Метеор», «Ритц», «Националь», «Странд», «Форум» — это не гостиницы, не рестораны, это кино.

Вечером встревожены джунгли городов. Люди несутся, обгоняя друг друга, так звери несутся на водопой. Люди несутся к белесому экрану. Американцы гудят автомобилями, японцы придерживают взволнованные полы халатов, шведы торжественно шагают среди снега и немоты, ругаются испанцы, в Москве недоуменно смотрит комсомолка на пеструю афишу: «Роза и фрак», парижане еще пробуют отшучиваться, но вскоре всех поглощает огромная темнота.

Она отстучала сегодня 280 писем. Он ввинтил 3000 винтов. Что им теперь делать? Как спастись от пустоты и зияния? Дома жестянка от консервов и тишина. Дома надо думать, а думать так трудно! Рассказаны все сплетни. Выкурены все папиросы. Еще три часа. Потом сон. Потом будильник: клавиши или винты. Как они надоели друг другу! Он молчит: проклятые гайки сегодня вычли за брак!.. Она не может даже улыбнуться: порвались новые чулки. Нырнуть поглубже! Забыться! Не быть!

В «Риальто» или в «Кристаль»? «Любовь и тигр» или «Страсть скрипача»?.. Все равно куда, только скорее! Мы опоздаем! Там рычит тигр, там смельчак убивает тигра, там скрипка плачет о какой-то непонятной страсти. Она видала тигра, но это было в зоологическом саду: военная музыка и орешки. Она не знает никакой страсти. Муж деловито на нее наваливается. Пьер говорит красивые слова, но и это не страсть, он боится потратиться на билет в кино. У него веснушки и дурная болезнь. Скорее к скрипачу! Скорее не помнить!..

Почему ему вычли за 180 штук? Он не виноват. Это плохой материал. Потом — слишком быстро. Он не успевает. К полдню он уж готов свалиться. Ничего не поделаешь — ему 42 года, он начинает сдавать. Он так хочет передохнуть! Через девять дней — платить за квартиру... К черту! Лучше не думать. В «Риальто»! К титрам! Скорее! Поспеть на автобус!.. Он тяжело дышит. Он очень устал. Но поздно... Мы опоздаем...

Бегут часовые стрелки в Детройте и в Осаке, в Харькове и в Севилье. Бегут люди: скорее!.. Свет гаснет. Начинается сон. Сон наяву. Сон вслух. Сон по афише.

Быстро вертится лента: 18 изображений в секунду. Ее нельзя пристыдить: потише! Ее нельзя остановить. Тигр прыгает и рычит. Скрипач плачет. Никто с ними не знаком. Курносая комсомолка усмехается: вот как они живут в Париже! В Париже одинокий старичок вздыхает: вот, что выкидывают эти тигры! Они не знают, что нет ни скрипачей, ни тигров: только «папа-Цукор» и потные фигуранты, только Давид Сарнов, электричество и нудная одурь.

Остановись, магическая лента! У нас болят глаза. В голове гул. Мы не можем больше!.. Но лента вертится.

Кино не только целлулоид, не только трюки «Парамаунта», у кино своя душа, следовательно, оно подвержено душевным заболеваниям. Эти симптомы обыкновенного безумия: смешались кадры и слова. Какая часть? Почему тигр стал усатым полковником? Откуда у скрипача когти и шлейф? «Джим, стреляй», — но это кричит сам Джим... Механик, на помощь! В будке нет никакого механика, только лента и лента вертится. Тени. Хриплый крик: «Гарри, я тебе верна!..» У нас беспрерывный сеанс! Длинный, как жизнь, длиннее жизни, сеанс навеки.

Вот прорезает чернильные воды огромный корабль. Матросы кидают в воду офицеров. Это посол востока, проклятый броненосец, он никуда не может причалить, он плавает по всем морям, горе тому, кто его встретит! Это летучий голландец, это ночные страхи мистера Истмана: что если он врежется в твердь Рочестера?.. Задержите страшный корабль! Пустите его ко дну! Расставьте часовых! Вилль Хейс, о чем вы думаете?..

Вилль Хейс не медля карабкается на шпиль. Он выше Гарольда Лойда. Он выше «Парамаунта». Он рядом с богом.

Он ловок, как обезьяна. Ветер треплет длинные уши. Он так и не доел мороженого. Он даже не закончил вечерней молитвы. Он кричит в трубку: «алло! алло! Все морские и душевные базы. Потопить корабль! Приметы: красный флаг и безумие. Рейс неизвестен. Иначе смерть!»

Доктор Хеллер. Он был парикмахером, ювелиром, аптекарем, закройщиком. Теперь он цензор. Он все знает. «Запретить! Изрезать! Обкарнать! Ха-ха-ха!» Мисс Эмма Витс: «слишком длинно, укоротить». Картину на триста метров. Туловище на голову. Обуздать. Мы не строги. Мы ласковы. Мы как мама: баюшки-баю!.. Справка: «цензура в Румынии чрезвычайно снисходительна. Запрещается только мучительство животных и революционные идеи». Не наступать собаке на хвост. Не трогать нефтяных промышленников. Усатый немец краснеет от смущения: «как называется эта картина?» — «Женщина на ночь...» Вы сошли с ума! Вы забыли об идеалах! Мадонна. Беатриче. Гретхен. Дульцинея. Пола Негри. Немецкая «мутти». Немедленно переименовать: «Королева на ночь».

Адольф Цукор целомудренно улыбается: инструкция «Парамаунта» владельцам театров — картина «Развеянный сон» — Ненси Кароль показывается неоднократно в дезабилье. Войти в соглашение с бельевыми магазинами. Выставить витрину с шелковым бельем. Это картина «Парамаунта». «Папа - Цукор» молится за упокой души родителей: «кадиш! кадиш!» Возле витрины с шелковыми рубашенками небритый фантаст задыхается. Он готов себя оскопить. У него мокрые губы. О, эти икры Ненси Кароль! Развеянный сон!.. Подать сюда! Скорее! Теплое мясо! Рубашку на клочки! До синяков! До крови! До смерти!

Караул! Стреляют! Это Альфред Гугенберг. Тайный советник. Спуск крейсера. Трубачи. Почему вы стреляете, мой дорогой Альфред? Ведь это больно, это очень больно — вы видите у меня сердце, красивое сердце, сердце, как червонный туз, и вот вы его прострелили. Я не плачу. Я на экране. Я тень. Нас много. В Пикардии. В Галиции. В Бельгии. Теней. Бом-бом-бом! Это колокол. Но ленту пустили назад — звук сначала глухой и широкий растет: бом! Г. тайный советник дергает за веревку, тени пляшут. Тени раздеваются. Пропали орлы и мундиры — только кости. Кости кстати превосходно звучат. Аппаратура фирмы «Клангфильм-Тобис» — передача мельчайших звуков. Ухо не выдерживает: слишком много звучания, мир визжит и скрежещет. Перепонка лопается. Тогда наступает прекрасная тишина. Все успокаиваются: и крейсера, и тайный советник, и трубачи, все ложатся на бок. Это не «любовь царица мира», о которой писал какой-то молодой Гугенберг. Это ее заместительница — безносая смерть.

Быстро несется катафалк. За ним не поспеть. Конечно не клячи — мощная машина. Сто лошадиных сил. Триста в час. Кого везут? Это вы, фрейлен Эльза? Вы жили в городе, где липы и философы. Вы мечтали о любви Вилли Фрича. Вы были простой фигуранткой. Почему же вы легли в гроб? С'емка продолжается. Встаньте! Но фрейлен Эльза не может встать. Она согласна пред'явить удостоверение полицейского врача: она скончалась вчера в четыре пополуночи. Кровоизлияние. Незаконная операция. Последствия истощения. А колбасы в колбасной, нес'еденные колбасы нагло издеваются. К кому тянутся ваши губы, фрейлен Эльза? К Фричу? Или к Гарольду Лойду? Нет, к прекрасным колбасам. Они извиваются, как лианы. Они благоухают и цветут. Это прекрасный сад. Он и не снился Цукору. Скорее сорви для меня розу, возлюбленный мой! Я так люблю тебя! Я так давно ничего не ела. И на фотографии Вилли Фрича — слезы. Слезы, а может быть слюна.

Тогда раздается дивный плеск воскрылий: бригада полицейских. Они несут душу фрейлен Эльзы из морга в рай. Они кружатся и поют. Что вы хотите от меня? Я пришел в «Риальто» — картина «Тигр и любовь». Честное слово, я не виноват, если забраковали — это плохие гайки. Но птицы в мундирах хохочут: стой! именем закона!.. Это ты зарезал хозяина! Не отпирайся! На тебе волос убитого. Где ты был вчера в три часа с четвертью? Ты убийца. Вот наручники. Холодно и больно. В глаза бьет резкий свет. Впрочем остается вы-

брать: стул, нож или веревка. Он привык к мебели. После работы он сидел и курил трубку. Он садился на стул. Ремни. Ток. Судорога. В анатомическом театре ласково щекочет бока скальпель. Можете хоронить!

Кажется картина сейчас кончится... Хейс молится: «и прости ему все прегрешения — бракованные коробки, а также безбожье!» Молится каноник Раймонд: «Мизерере! мизерере!» Баптисты едят маисовую кашу и льют слезы. Идет дождь, долгий осенний дождь. Он стучит по крыше театра. Он вмешивается в жизнь теней. Он продалбливает кладбищенскую глину. Нет вам покоя ни здесь, ни там!

А красавец улыбается. Он сегодня хорошо заработал. Он пойдет в самый роскошный театр, в «Рокси» или в «Стрэнд». Он заработал 300 долларов. Это не биржевик, не игрок. Это мистер Роберт Эллиот, палач и джентльмен. Он сажает на стул. Он проверяет ремни. Он любит девушек и анютины глазки. Он весит 76 кило и он легче пушинки, он спешит на небо вместе с ласточками. Там он треплет ангелов по пушистым крыльям и он засыпает на облаке, как на подушке. Утром облако все мокрое от слез.

Поплакав, мистер Эллиот прикидывается вампиром. Он ее душит. Она должна отстучать еще 200 писем. Это слишком! Вампир диктует: «в ответ на ваше письмо от 16-го ноября сообщаем, что за каждую задушенную особь мы согласны...» Но тогда врывается сыщик. Он спасает. Он целует. Он дышит в лицо, как ураган. Он играет при этом на скрипке. Он скрипач. Вот что значит настоящая страсть! Я не буду больше писать писем! Но он встал, поправил галстук и хохочет: будешь! Это попросту новый начальник. Он диктует: «в ответ на ваше...» И она бессмысленно хохочет в темном зале. Соседи цыкают: это не смешно! Это очень грустно! Ее обманули!.. Но она хохочет и мало-по-малу глупый гогот заряжает ряды, он захватывает зал, больше не слышно ни пения ангелов, ни баса Давида Сарнова. Только фокстрот: вперед назад и на месте — раз-два, раз-два! Приставить гайку! Ввинтить! Отпустить товар! Отстучать письмо!

Скорее! Сеанс кончен! Пропустим автобус! Завтра рано вставать! Завтра как сегодня, сегодня как вчера. Нежной Кароль далеко. Никаких дезабилье. Зашить чулки. Вы говорите «папа-Цукор»? Не знаю. Я работаю в конторе «Смис и К°». Скорее домой! Скорее!

Ночь, сырая синяя ночь. В разных городах она пахнет по-разному, но повсюду она полна слез и страха. Она после дня и она перед днем.

Огромные оравы вырываются из тысячи театров. Они бегут и пропадают в узких черных щелях. На прощание они швыряют ругань, окурки и слезы. У этого толстого немца одышка: что если ночью покажется летучий голландец?.. От такого не спасет никакая полиция... Американец вытер потные очки. Комсомолка недоверчиво оглянулась: только снег и вороны, под снегом скрипит домишко — что будет завтра?.. Японец суеверно усмехается: началось!.. Это трясется земля.

Выбежали. Разбежались, смутные и полумертвые. Им кажется, что за ними гонятся! Кто-то еще мечет пятна света на стены. Кто-то поет за окном, в трубе, в кране: «Гарри, Гарри!»

Их не оставят сны, прекрасные сны, сработанные на сотнях фабрик, сны «Парамаунта» или «Уфы», сны станут спертым воздухом комнаты, злым жаром подушки, падением и вскриком, глупой суетой видений, сны будут томить их до того часа, когда задребезжит будильник: шесть!.. семь!.. ввинтить!.. отстучать!..

Тогда сны обернутся жестким утром, винтами или клавишами. Ввинчивай! Будешь Рокфеллером! Получишь дворец и яхту! Сдохнешь! Зароют! Ввинчивай! Ввинчивай! Стучи на машинке! Влюбится Наварро! Влюбится начальник! Схватит! Заразит! Бросит! Ляжешь, как фрейлен Эльза. В рай—на паре полицейских! Ангелы и черви! Стучи скорей: «в ответ на ваше... на ваше... ваше...»

Это правит миром волшебная коробка. Это великое изобретение и это скука, злющая жадная скука. Это кино.

Голубая кость

Повесть

Дмитрий Стонов

Первая справка

Из летописей, которые велись монахами Холмогорского монастыря и ждут своих археографов, известно, что выделкой костяных предметов домашнего обихода занимались на севере с древних пор. Резьба по кости первоначально носила чисто ремесленный характер и имела целью изготовление общедоступных вещей, полезных в хозяйстве всех слоев населения. Суровый климат севера и скудные результаты земледельческих занятий способствовали развитию костяного дела. На прочном фундаменте ремесла изделия отдельных лиц возвышались до степени искусства.

Эти-то изделия — гребни из голубой кости[1], — переходя из рук в руки, попали, наконец, в Москву.

Московский двор, боярыни и боярышни, знатные иноземцы, жившие при царе, были поражены высоким мастерством холмогорских костяников. Гребни были резные, и, как сообщает летопись, «в резн были у гребней травы, а в травах — птицы». Царь Алексей Михайлович, большой модник, не замедлил послать в Холмогоры придворного человека с указом — решительно всем местным костяникам заняться выделкой прорезных гребней — для двора.

Холмогорцы завыли.

Несколько дней между отчаявшимися ремесленниками шли споры. Надо было спешить, для раздумий не было времени. Горячие и громогласные взяли верх над тихими и мудрыми. Тайно решено было убить мастеров, сделавших прорезные гребни — придворный человек тогда убедится, что холмогорские крестьяне занимаются «костяным делом гладью».

Так и поступили (растерзали двух костяников), и посланец Алексея Михайловича уехал ни с чем.

Царь больше не тревожил холмогорцев.

Степан Разин поднял все Поволжье против правящих классов, Соловецкий монастырь вооруженной силой противился церковным реформам Никона, брожение шло по Сибири, по южным степям...

Царю было не до гребней.

Вторая справка

Последняя поездка Петра Первого в Архангельск состоялась в 1702 году.

К тому времени кончилось увлечение Петра Северным краем. (Через год первый император всероссийский разрушил шведскую крепость Ниеншанц и вместо нее, на той же земле, заложил свою, русскую — Санкт-Петербург). Этого, однако, не знали и не хотели знать привыкшие к царскому расположению архангельский воевода, северные купцы, государевы люди. Во все стороны края посылались гонцы; каждый день к Петру прибывали депутации с дарами. Богатства севера медлительно, с азиатской пышностью, разворачивались перед царем.

[1] Бивни мамонта (ископаемые) известны под названием голубой слоновой кости.

Дошел черед и до Холмогор — порадовать глаза и сердце Петра. Тотчас же выискался незаметный мастеришка, который предложил отвезти царю-батюшке ларец из слоновой кости. Помня русскую поговорку — «Делу время, потехе — час», мастеришка весь свой досуг в течение пятнадцати лет посвятил работе над ларцом.

Получить бы Петру великолепнейший кунстштюк, быть бы мастеришке обласканным! Но тут старики ненароком вспомнили историю с тишайшим, с мастерами, которые чуть не подвели всех холмогорцев. Ларец размололи, костяную пыль пустили по Северной Двине. Строго-на-строго приказано было костяникам впредь не заниматься блажью, «а кто осмелится, того кости будут трещать, как трещала на жерновах голубая кость непотребного ларца». Для царя же костяники со способностями послабее— тяп да ляп — вырезали тарелку для хлеб-соли.

Хлеб-соль отвезли старики.

Царь, стоя, принял холмогорцев — ему было некогда. Все же он успел разглядеть костяную тарелку и так захохотал над доморощенным искусством, что стоявший рядом воевода незаметно перекрестился, в мыслях посулил старикам черта, и дал зарок — если дело обойдется благополучно — выпороть мужепесов.

Дело обошлось благополучно, о зароке воевода забыл. Вдоволь похохотав, Петр велел подарить холмогорцам знаменитый сборник гравюр и изречений «Символы и эмблемы», изданный по его распоряжению в Амстердаме, в 1697 году.

Подарок Петра старики хранили как память о великом избавлении.

После их смерти «Символы» пошли по рукам, передавались из рода в род, из поколения в поколение, помогали талантам, подталкивали «юродивых», которые, спрятавшись от злых глаз, колдовали над бивнями, извлекая живую душу материала...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Последним холмогорским костяником из рода Шубных, родственников Михаила Васильевича Ломоносова, был Игнатий Николаевич.

Два сына было у Игнатия — Денис и Михайло. Михайло должен был унаследовать великое мастерство, с малых лет он посвятил себя резьбе. Денис же буянил. За густую кровь отца, за страсти, умиротворенные искусством, расплачивался сын. Вино, болезни, женщины не могли разрушить богатырского здоровья Дениса.

За год до смерти старого Шубного скончался всегда болевший грудью Михайло, ревнивые мужики, чьих жен неустанно ласкал Денис, сговорившись, кольями убили развратника.

Старому Шубному суждено было одиноко умереть, унести в могилу тайну своего мастерства, оборвать работу, которую он так любил. Знал Шубный, что смерть поставит крест не только над его прахом, но и над костяным делом всего Северного края...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Был у Шубного подмастерье — незаметный, как мышь, старательный, как вол. У Петра Гурьева был застенчивый взгляд, влажные руки и необыкновенная походка. Он появлялся внезапно, его шагов не было слышно. Никогда не смотрел он людям прямо в глаза. Он угадывал каждое желание, каждое намерение мастера и тотчас же выполнял их с аккуратностью и добросовестностью машины. В те дни, когда Шубному удавалась работа и он бывал весел, Гурьев радостно потирал руки, всячески старался угодить хозяину. Если Гурьеву казалось, что Шубного клонит к смеху, — он предупреждал старого костяника, первый начинал хохотать, дергался искренно и долго, глаза его наполнялись слезами. Часто, полагая, что мастер рассмеется, он ошибался. Неуместный хохот Гурьева был тогда страшен и зловещ — он обрывался внезапно — рот оставался открыт, глаза по-лягушечьи выпучены.

Однажды (было это после смерти Михайлы и Дениса, когда старик Шубный сам таял с каждым днем, а под конец— и вовсе не вставал с постели), — Гурьев возник в полутемной половине хозяина. Возникнув, стал делать десятки дел за-

раз — взбивать подушки, подметать глиняный пол, выгонять кур, передавать деревенские новости. Все это — с печальным лицом, с опущенными вниз глазами. Вольно иль невольно он проникся унынием мастера. Шубный был грустен, его длинные белые руки — руки творца — лежали вдоль тела, на одеяле, и резко как-то выделялись, точно светились изнутри.

Вдруг Гурьев заметил слезу, она катилась по морщинистой щеке мастера. Со всей искренностью, какая была ему отпущена природой, подмастерье заплакал, опустился на колени, припал к изголовью Шубного, долго охал, не унимался, тянул носом.

— Встань, — сказал ему Шубный. — Встань и не плачь. Хочу с тобой говорить.

Гурьев послушно сел на табурет, рядом с кроватью хозяина. Тогда Игнатий Николаевич сказал:

— Я не боюсь смерти и не о близком своем конце плачу. Другое мучает меня. Я последний костяник в нашем крае. Кто унаследует мое уменье?

Он умолк, задумался. Подмастерье сидел на шевелясь, глаза его бегали под опущенными ресницами.

— Эх, убогий! — вздохнул Шубный.— Был бы ты...

Он шевельнул рукой, попросил напиться. Гурьев быстро исполнил желание, потом поправил одеяло и, на всякий случай, в запас, услужливо принес ковшик воды.

— Добрый ты, — сказал костяник. Заботливость ученика трогала его. — А по мне — был бы ты лучше злой, да с искрой... У хорошего мастера так бывает в работе: словно всю требуху из тебя вытряхнуло — вдруг легкость почуешь в нутре, глазам — жарко, голова — ясна, и тут уж ты наперед знаешь — чортова сила водит рукой твоей. Прихватишься к работе — день и ночь не отрывался бы...

Шубный захлебнулся словами, он весь трясся, старые его глаза горели зеленоватым огнем, белые волосы падали над черною щелью рта. Внезапно он глянул в лицо Гурьева, оборвал, погас, насупился.

— Ты, сирота, в обиде не останешься, — другим совсем голосом прошамкал он. — Умру я — тебе отпишу мой дом и все, что в доме...

Тогда подмастерье поднялся и, дрожа, прижимая руки к сердцу, задыхаясь, произнес:

— Я знаю... Я понимаю... Вы Михайле-покойнику передавали секреты... Я ничего не говорю... Он — сын, он—дороже всех... Но раз человек помер... и сродственников у вас нет...

Он упал на колени и, нищенски плача и унижаясь, простирая к старику руки, стал причитать:

— Окажите милость... всю жизнь буду за вас бога молить, а уродятся дети, то им также закажу, и внукам, и правнукам...

— Чего тебе? — оборвал его Шубный.

— Передайте мне секрет резьбы, — захлебывался подмастерье. — Я знаю, секрет у вас есть... Я его в могилу унесу, никому не заикнусь... вот как Михайло-покойник...

Шубный молчал. Когда вопли прекратились, старик грустно и строго ответил:

— Встань, дурень, и не смей больше о том говорить... Нечего мне передавать... передать ничего нельзя...

Слезы вновь полились из глаз подмастерья, в горьком отчаянии он покачал головой.

— Эх ты, слизняк, — тихо, с волнением в голосе говорил Шубный, — ты ж работал! Не один год!..

— Работал...

— Ну и—действуй дальше! Эх!..

Он махнул рукой и, чтобы прекратить об'яснение, повернулся лицом к стене.

— Убо-огий...

Спустя три недели холмогорские крестьяне хоронили своего односельчанина, последнего мастера и творца из рода Шубных — Игнатия Николаевича.

Вскоре над дверью Шубнинского дома, под резным конником, появилась новая вывеска. На жестяном сияющем листе большими синими буквами было выведено:

«Сей дом принадлежит Гурьеву, Петру Васильевичу».

— Повезло подмастерью, — вздыхали завистливые холмогорцы. — Зря, мать честная, Дениску Шубного убили! Жил бы человек припеваючи, мужиковал бы на славу...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Угораздило же царя Петра кинуть холмогорцам «Символы и эмблемы»!..

Амстердамский сборник Гурьев нашел в одном из шубнинских сундуков. Века шагнули через «Символы», сгрудившиеся на кладбище поколения оставили на книге свои следы. Начальные страницы отсутствовали вовсе, многие потемнели и пожухли от прикосновений пальцев. Над уцелевшими гравюрами дни и ночи просиживал теперь бывший подмастерье Шубного — Гурьев.

Попрежнему он был убежден, что покойный мастер утаил секрет работы, не передал ему самого главного. Он радовался прочному дому Шубного. Но ему также хотелось в совершенстве овладеть мастерством: столько лет старик кормился изделиями из голубой кости! Бывшему подмастерью снились немыслимые богатства, о богатствах он знал из сказок.

При жизни Шубного Гурьев часто удивлялся тому, что старик, бывало, неделями не притрагивался к инструменту, ходил из угла в угол. А то возьмет плетенку и на несколько дней отправится в лес — за морошкой, якобы. Самая неудачливая баба к вечеру принесет полное лукошко ягод. Старик же вернется с пустой корзинкой. «Забыл, — бывало, скажет он и просияет. — Забыл, что за морошкой пошел, пять ден проплутал без дела»...

И бывший подмастерье думал:

«Узнать бы секрет!.. Ни одной минуты не убивал бы зря, все бы пилил да резал, резал да пилил, да деньгу бы наживал — большую деньгу!.. Мне б цари, и короли, и президенты заказы б присылали»...

Теперь до ломоты в бедрах, до легкой тошноты и головокружения, сидел он над сборником, вникал, потел от натуги.

Да и как было не потеть!

Еще при Шубном Гурьев не раз старательно подражал трудовым навыкам старика, брал материал из того же бивня, что и хозяин. Все бы так — да не так! Хоть Гурьев и шептал про себя слова костяника, которые тот повторял изо дня в день — «У каждого изделия — как и у любого человека — свое лицо»; хоть и старался сверх сил и мер, — дальше никогда не виданных и ни в какой стране не цветущих растений он не шел. Подобные стебли и листья могут присниться после обильной еды, — и Шубный, посмеиваясь, не раз спрашивал:

— Где ты видал такую зелень? Нет ее на свете! Ты лучше себя изображай, свой край, сердце свое. Вот — гляди — самоед на нартах поехал. Приедет он в лес, чум расставит, костер разложит, охотиться станет. Приглядись, как он, дикарь, ружье набивает, как целится — попадет — не попадает? Костер горит, дымок от костра тянется, тайга сквозь дым — словно стеклом отгорожена. Олень крепкими копытами разбивает лед, из ноздрей — пар вылетает. Приглядывайся, присматривайся, шире глаза раскрой, протри их, глаза-то! Эх ты, слабенький!

Из этих слов никакой для себя пользы Гурьев не мог извлечь.

После смерти Шубного, обшарив дом, порывшись в сундуках, подмастерье нашел разбухшие от времени «Символы и эмблемы».

Сомнений не могло быть — страницы сборника были посвящены костяной резьбе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«В стране бурых медведей мастерство и художество никогда не находилось в почете. Вряд ли у старых ремесленников огромного этого пространства существует обыкновение делиться опытом, передавать свои навыки и уменье, делать их доступными всем тем, которые начинают с азов. Русский человек, отдающий себя искусству, должен открыть все Америки, открытые до него, вдоль, поперек, в глубину изучить работу, тяжелые годы потерять на поиски того, что давно уже найдено другими, людьми иных стран и богов».

Так рассуждал получивший от Петра Первого заказ на «Символы и эмблемы» нидерландский мастер. И вот он захотел

облегчить судьбу заморских своих собратьев. Зрителям сборника он дал не только рисунки— плод работы —но постарался показать им и процесс мастерства. Изображая изделия в готическом стиле и в стиле итальянского Ренессанса, он тут же, на том же листе, печатал черновики, эскизы работы. Выгравировав, например, «Благовещенье» иль «Богоматерь с младенцем — спасителем и святою Анною», иль «Тибуртинскую Сивиллу, предсказывающую Августу рождество Христово», он рядом с барельефом помещал пластинку слоновой кости, из которой вырезана странствующая пророчица, подразумевающийся бог и император. Дальше следовал рисунок, контур будущего произведения. За рисунком шел следующий черновик. Кружочками, покрывшими поверхность кости, голландский гравер указывал, в каких именно местах надо просверлить пластинку, чтобы не треснула кость, чтобы барельеф получился как можно более выпукло и сочно. Все было расчленено, измерено, высчитано.

Уже в первые годы ученичества Гурьев, подражая Шубному, чувствовал, что какой-то секрет ремесла им не уловлен. «Надо, — думал он, — поймать секрет этот, и все тогда пойдет по-иному. Однако, в чем он, секрет, заключается?» Каждый год тайна работы представлялась Гурьеву в ином виде. Одно время подмастерье думал, что виной всем неудачам— молодые его годы (это особенно утешало Петра Гурьева), потом он стал убеждать себя, что причины провалов таятся в ином. Мысль о предстоящей работе воодушевляла ученика, он заранее видел ее удачно оформленной, прекрасной, совершенной. Раньше срока делил он шкуру еще живого медведя, торжествовал победу, — а к резьбе приступал остывшим. Или с дрожью в руках хватался он за дело, наваливался со всей силой, заглушал в себе сомнения... Но проходила неделя, непокорная кость стыла в руках, Гурьев чувствовал к ней ненависть и отвращение. Указания, советы, утешения, насмешки Шубных — отца и сына— действовали на него одинаково плохо. Опять не то, не так!..

Шли годы, неудачи потеряли остроту. Озлобление к работе укрепилось в сердце Гурьева. С озлоблением сживалась жадность, тайная мечта — нажиться, быть самым счастливым мужиком в округе...

Сейчас, переворачивая тяжелые страницы найденного сборника и уставая от напряжения, Гурьев думал приблизительно так:

«Не заключен ли весь секрет Шубного в этих «Символах и эмблемах?» Не нарочно ли, чтоб отвлечь внимание, Шубный не раз говорил мне: «Себя изображай, свой край, сердце свое!». Все это — пустые слова, на которые потрачены грустные и долгие годы.. Недаром вырваны начальные страницы сборника... На исчезнувших листах, нет сомнения, было изображено все то, что в своей жизни делал Шубный. Он рисовал с книги, а мне говорил: «приглядывайся, присматривайся, шире глаза открой»... Может, он и намекал — шире, мол, глаза открой, заметь, когда — прячась от людей—я в «Символы» заглядываю... А я, дурной, зря мучился, бился, чуть с ума не спятил... Правду говорил старый пес — глупенький я, убогий. Ну, — ничего, лучше поздно... Возьмусь-ка за ум! Я еще не стар. Ужотко налягу, чтоб—без дураков!»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Так в жизни Гурьева закончился один период и начался другой — удачливый, веселый и хлебный. С неопределенной тоской, с туманными желаниями, которые никогда не удовлетворялись, было покончено — навсегда. Теперь Гурьев знал каждый свой шаг и, зная, мог строить планы на будущее, намечать путь, а не бродить в темную. К своему прошлому он относился с ненавистью, зачеркивал в уме пройденный путь, — чтоб никогда не вернуться к нему.

Спустя несколько месяцев на Архангельском рынке, в магазинах, торгующих антикварными изделиями, стали появляться диковинные вещи. На пластинках голубой кости изображены соборы и храмы, ратуши и палаты. Стены этих зданий состоят из обширных стрельчатых арок, отделенных одна от другой подпирающими их пилястрами. Здесь имеются остроконечные башенки, по краям крыш вьются ажурные балюстра-

ды. Имеются здесь и люди — бритые головы удлинены, сутаны подметают пол, костяные пальцы перебирают четки. Святые женщины с восторженными губами. На щеках девственных матерей выточены ямочки, от этого лица кажутся напряженно целомудренными. Пухлый младенец — Христос — смотрит мышиными глазами, сияние над его головой хочется сравнить с мечами на старом ордене.

Любители костяных изделий — архангельские чиновники, жены богатых помещиков — продолжали спрашивать работы старого мастера — Шубного. Изможденные лица средневековых людей пугали тихие сердца губернских ценителей... Но Шубный умер, его изделия— излюбленные броши, медальоны, шкатулки, разрезные ножи, туалетные корзинки и коробочки исчезли с рынка.

В те недели и месяцы Гурьева, быть может, подстерегал последний — самый сильный — удар судьбы; может быть, дело его бесталанных рук так и не нашло бы покупателей среди избалованных работой Шубного и его предшественников людей... Но — печальные годы отошли, новый период подбирал счастливые совпадения и удачливые обстоятельства. Миссионер - ксендз посетил Архангельск. Бродя по улицам деревянного этого города, он заметил в витрине антикварного магазина изделия холмогорского ремесленника. Удлиненные головы святых мужей, постные лица женщин, крутые глаза господа привлекли внимание странствующего миссионера. Он купил несколько барельефов и отвез их епископу и его капитулу... С этого начались удачи Гурьева.

Вышестоящему духовенству чрезвычайно понравились изделия из голубой кости. Среди верных костелу католиков пронесся слух, что барельефы и статуэтки, изображения соборов и храмов приносят обладателям их успокоение и мир, душевную радость и крепость веры... В Архангельск посыпались заказы, последние сбережения темных людей плыли в карманы Гурьева.

Теперь бывший подмастерье Шубного работал не покладая рук. Он вставал с петухами, сидел до позднего часа. Временами вспоминал он своего учителя и думал о нем с пренебрежением и — насмешкой. Старый лентяй! Сколько часов и дней терял он зря, бродил из угла в угол, шлялся по лесу, — вместо того, чтобы сидеть у верстака, множить свои богатства! Он жил, Шубный, как середняк, а мог жить богатеем. И Гурьев чувствовал себя как бы обиженным. Он плевал от возбуждения и с еще большей энергией налегал на работу.

Однако как ни старался костяник, выполнять все заказы он был не в силах. Требования на гурьевские изделия шли безостановочно. И вот все чаще и чаще бывший подмастерье стал задумываться над тем, чтобы взять помощников: работая над костью, они бы увеличивали прибыль хозяина.

Он боялся этих мыслей, вместе с тем— проникался ими. «Даже такой непутевый человек, как Шубный, —рассуждал он, — даже такой пустяшный мужик — и то — прятал «Символы и эмблемы» скрывал от меня модели. Оно и понятно. Сегодня научился, завтра — глянь — работник ушел, заказал инструмент, режет почем зря, сбивает цену, занимает твое место, сшибает тебя с дороги, опрокидывает»... Больше всего Гурьев боялся конкурентов.

Так, работая, думал костяник, думал и терзался. Заказы продолжали сыпаться. Заказчики нервничали; их лихорадило от нетерпения. Они не доверяли медлительной работе почты и связывались с ремесленником по телеграфу. По телеграфу же переводили «великому мастеру», как льстили Гурьеву в депешах, задатки.

Время не ждало.

Наконец, Гурьев решился.

Пять мальчиков, пять бедных сирот, были взяты в дом и посажены за работу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Гоняясь за прибылью, Гурьев в то же время не упускал из виду основного, главного. С конкурентом или подражателем он не мог бы примириться.

Поэтому, приведя в дом пять сирот, Гурьев рассадил их по разным углам квартиры. Работу резчика по кости он расчленил на части (как была она расчленена в «Символах и эмблемах»), каж-

дого мальца обучал определенному делу. Один изготовлял костяные пластинки. Другой шлифовал кость. Третий учился рисовать, повторяя готовые образцы. Четвертый покрывал пластинки лаком — лаком закреплялся рисунок. Пятый работал резцом. В сыром своем виде изделие вновь возвращалось к первому. Напильником он должен был уточнить рисунок, вторично шлифовать, отделывать голубую кость.

За всем тем Гурьев сносно обращался с работниками, практическим своим умом понимал, что будущих помощников надо хорошо кормить, одевать, обувать. Они должны привязаться к дому — за этой привязанностью придет и добросовестное отношение к ремеслу.

Так оно, собственно говоря, и получилось.

Спустя год выученики Гурьева потолстели, побелели, выросли. Они стали гладкими и в меру ленивыми. Для удобства они снимали сапоги и ходили по комнатам босиком — утками, в развалку. Гурьеву они казались на одно лицо, долгое время он путал их имена. С утра до вечера они пили чай и распевали немудреные песни. Голоса неслись с пяти концов дома, переплетались в центре. В центре сидел Гурьев. Он раздавал сырье, следил за тем, чтобы рисунки на костяных пластинках точно — тютелька в тютельку — совпадали с рисунками из «Эмблем». Впрочем, дар Петра попрежнему хранился в сундуке. Ученики пользовались отдельными моделями — вырезками, модели висели на гвоздях, как в обувных мастерских висят вырезки — силуэты ботинок, туфель и сапог.

Работу гурьевские выученики одолели быстро и, случалось — они трудились со старанием добрых животных. Работа не требовала напряжения, она была без начала и конца и относилась к тому разряду, от которого человек добреет, глупеет, обрастает ленивым жирком и серым пухом.

На рассвете хозяин будил парней. Одевшись, они шли на двор мыться. Здесь, набив рот водой, они упругими струями обливали друг друга, хохотали незлобиво. Завтракали картошкой и селедкой. Садились за работу. Было скучно, некого даже пощекотать в темных сенях — жена и дочь Гурьева некрасивы, в оспенных метках — и парни начинали петь. Они пели, как и работали — тягуче, однообразно, без напряжения и такта.

В три обедали, наедались до одышки. За час, за два до обеда работники по запаху угадывали, чем именно их будут кормить. Впрочем — выбор был не из богатых: щи кислые иль свежие, каша гречневая иль просо—неделю с коровьим — холмогорским, неделю — с постным маслом.

После обеда вновь садились за работу. Часто все помощники, точно сговорившись, засыпали у верстаков. В таких случаях Гурьев, подождав минут двадцать-тридцать и сам вздремнув, будил работников, добродушно журил молодых людей. «Лень, — обычно говорил он, — это, братцы мои, порок» — и приводил одну - две всем известных пословицы.

Кончали резьбу с заходом солнца — при ламповом освещении от работы болели глаза. Разогревали сияющий, очень бойкий самовар, он кипел на столе. Зимняя ночь синела за окнами. В густом, далеком небе беспокойно зябли золотые миры. Делать нечего. Работники, хозяин, хозяйка, их дочь до одури играли в козлы и носы. Пили чай, для вольготности распускали тесемки, расстегивали лишние пуговицы. Чесали кончик носа — у многих он набухал от игры. Вновь грели самовар. Рассказывали страшные истории, от которых никому не страшно. Точно невзначай переворачивали солонку, долго думали - гадали, кто с кем поссорится? Ссориться было не с кем, не из-за чего.

Так вот и жили. Год начинали с Покрова. Старели, прибавляли в весе. Происходили мелкие события. Из Ченстохова как-то приехали польки - фанатички. В Холмогорах они надеялись встретить благочестивых мастеров, — перед ними стояли несмышленные парни, их верхние губы дергались. Обнявшись, польские женщины разгуливали по гурьевским комнатам, пели о «матке - боске» Марии. Чтобы не отстать, костяники подхватывали свои, руские жалобы. Получалось не совсем стройно.

Вместе с польками уехал один из гурьевских подмастерьев. («Когда, черти, они успели снюхаться?» — недоумевал хозяин). Девка, служившая у богатого магната, обязалась всю жизнь кормить холмогорского пана сладким и жирным. Вот и все новости.

Уход работника не очень смутил Гурьева: сирот, спасибо господу, достаточно на свете. Ушел один — найдется другой. В душе костяник радовался, что выученик (уж если суждено с ним расстаться) уехал в царство польское, нашел себя в любви.

Подальше от родных Холмогор, подальше от костяного дела...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На божьем свете не мало сирот, когда уходит один из них, можно не тужить. Дела Гурьева процветали. Не одна тысяча лежала в казначействе на его имя. Костяник обновил и расширил бывший дом Шубного, солому на крыше заменил железом, стены выкрасил в дикий цвет. По газетному об'явлению выписал граммофон, в свободные часы машина ревела на все селение. Иногда он позволял себе бросить в стакан с чаем лишний кусок сахара, лишний час посидеть с соседом, почесать язык. Дела его не собирались бежать в лес. Глядя на католиков, архангельские жители также стали покупать холмогорские изделия. Жены помещиков решили, что, видимо, ничего не понимают в искусстве — и включили себя в число гурьевских заказчиц.

Жизнь шла спокойной походкой, не очень спешила.

Место уехавшего в Польшу помощника занял мальчик заморыш. Он был так худ, что, казалось, кости его рук вот-вот треснут, шея клонилась под тяжестью большой головы. За столом во время обеда женщинам было видно, как пища голубиными яйцами проходила вдоль горла ребенка. От одной мысли, что его могут прогнать, лишить еды, сирота плакал по ночам. Он чересчур старался, должно быть, поэтому работа ему не давалась. От страха он не понимал простых об'яснений хозяина. Слова гремели в ушах, оглушительно таяли. Много раз Гурьеву приходилось повторять одно и то же.

Гурьев не тужил: «Пущай привыкнет к еде, ничего, он хлеб свой заработает». Он был прав.

Прошло несколько месяцев. Мальчик внимательно смотрел хозяину в рот, выполнял все его требования. Несложной работой он овладел в короткий срок. Он оказался до того способным и сметливым, так наглядно выделялся среди помощников, что хозяин очень скоро запомнил его имя и фамилию: Вася Угольников.

Угольникову было не больше двенадцати лет. Большие его глаза всегда как бы улыбались. На мир он смотрел с удивлением, точно все и всех видел в первый раз.

В сложном процессе резьбы ему досталась самая легкая работа. Он покрывал лаком костяные пластинки, располагал кружочки на силуэте будущего барельефа.

Скоро мальчик перестал смотреть на рисунки, образцы не снимались с гвоздей. С закрытыми глазами, держа в руках пластинку, он безошибочно набрасывал кружочки. Раньше срока кончал работу, откладывал карандаш и кисть, поворачивался, глазами искал хозяина.

— Петр Васильевич!

— Ась?

— Я всю работу переделал.

— Ложись спать, разбудим!

— А мне спать не хоцца.

— Иди плясать!

Мальчик смеялся, вставал из-за стола, потягивался. Он подходил к рисовальщику. Пыхтя и вздыхая — рисунок давался с трудом — парень копировал давно истлевшего в земле нидерландского гравера. Угольников стоял за спиной рисовальщика, дышал ему в затылок, веселые большие глаза увеличивались.

— Так-так-так,—часто, увлекшись, говорил он. — Нет, не так! Сотри эту линию! Во-от, как ее надо... туда вот! Да ты не смотришь!..

Он обрывал свои указания. Хозяйская рука легонько, тремя пальцами, схватив за ухо, оттягивала мальчика от верстака.

— Уйди, Вась, ты тут лишний!

— Мне смотреть хоцца.

— А мне тебя — выпороть!

Вася уходил на улицу. Дети играли в перегонки, в лапту, в городки. Угольни-

кову нельзя было к ним присоединиться. Он был «мальчиком». Кроме того, каждую минуту Гурьев мог его позвать в дом. Василий садился на бревно, недалеко от хозяйского крыльца. Густой песок лежал кругом. Сирота доставал прутик, прутом чертил по песку. На песке получались линии... Не отрываясь, он следил за наброском, возникавшим из-под прута. Он повторял рисунок, который рисовальщик только что выводил на поверхности голубой кости.

Срельчатые арки сходились над его головой. Остроглавые башенки уходили в бесконечность. Вызванивающие под ногами плиты суживались, уменьшались, создавали перспективу огромного, пустынного храма. С боязливой медлительностью мальчик шел вперед. На полпути он догадывался, что здание не имеет конца. Холодный пот покрывал тело ребенка. Он ускорял шаг, с быстротой преследуемого, бросался вперед. Он бежал, закрыв глаза от страха, здание гудело от колокольного звона. Два чувства боролись в Угольникове — страх и непреодолимое любопытство. То там, то здесь вспыхивали голоса. Мальчик оглядывался. К нему приближались люди, сухие их пальцы перебирали четки. Сияющие женщины бережно и бесстыдно вынимали груди из корсажа и—держа их на ладонях—не опуская глаз, целомудренно улыбаясь—шли навстречу...

Это были сны наяву, сладостные и страшные. Угольников не знал — хочет ли он, чтоб они оборвались или, наоборот—чтоб длились до бесконечности.

От ярко — до боли в глазах — ощутимых видений его отрывал хозяин.

— Спишь, а глаза открыты. Так рыбы спят.

— Я не рыба.

— Знаю, лихая доля! А говорил — спать не хочется!

— Я не спал.

— Ты не скрытничай, мне-то что? Пошли работать!

Сияющих женщин не было больше, как не было арок, сводов, башен. Изображения поворачивались к Угольникову спиной. Грубый профиль ратуши, длинную сутану костлявого старца, негнущуюся одежду бессмысленно улыбающейся Мадонны надо было покрывать кружочками...

Кружочки кормили Угольникова, давали крошечное место на огромной земле.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Следующее за от'ездом подмастерья событие было столь же незначительно, как и первое.

Мастеровой, рисовавший контуры барельефов, облюбовал богатую вдову и женился на ней.

Вообще-то возраст гурьевских помощников (за исключением Угольникова, взятого напоследок) подходил к тому периоду, когда из всех трудов самым увлекательным считается любовь... Сытная пища напрягала желания. От девичьего смеха, от шороха платья, от очертаний ног, проступающих сквозь юбки, от женских глаз, даже самых постных, ничего не обещающих, — захватывало дыхание и ощутимо замирало сердце.

Петр Гурьев не мог не заметить этого. По своему обыкновению он пошел навстречу опасности. Он заявил парням, что ничего не имеет против их женитьбы. Наоборот — он очень этому будет рад. Сверх платы за работу женатый получит на питание: хочешь деньгами, хочешь — натурой.

Женитьба мастерового не очень должна была поразить Гурьева. Задерживало внимание другое. Костяника удивляла та легкость, с какой работники бросали резьбу по кости... У них не было никакой связи с ремеслом. Им было безразлично — чем заниматься. Один нашел себе утешение в об'ятиях польской девки, другой...

Другой, женившись на богатой вдове, недолго поразмыслив над судьбой, пришел к твердому решению — заняться земледелием, завести себе молоконосных коров-холмогорок.

На этот раз уход работника опечалил Гурьева. Дело касалось старательного рисовальщика, он был усидчив и пунктуален.

— Хочешь — жалованья накину, — уединившись с молодоженом, спросил хозяин. — Я тебе, друг болотный, хорошую монету положу.

— Не. Я пахать буду.

— Никакого интереса! От пахоты руки портятся. Карандаш, помяни мое слово, перестанет тебя слушаться. Лучше работника найми, а сам — рисуй!

— Не. Буду пахать.

Он остался при своем, подозрения Гурьева вскоре рассеялись: молодожен в самом деле взялся за плуг и борону, забыл, что не так давно держал в руках карандаш и резец.

Пришлось костянику подыскать нового рисовальщика.

Выбор пал на Угольникова.

Об'яснения хозяина Василий слушал со все убывающим вниманием. Образы женщин, костлявых мужей, соборов, арок и балюстрад давно уже шевелились в его воображении. Он видел, как струятся складки на длинных платьях высоких дев, как под платьями движутся бедра и дышит грудь. Не раз он всматривался в глаза костяных людей, и люди эти, отделившись от пластинок, ожив, шли ему навстречу. Он знал их, он грезил ими, они снились ему! В одиночестве, вдали от любопытных и завистливых глаз, в глухой тишине тесной каморки, достав карандаш и бумагу, он давно уже предавался сладкому и горькому одновременно занятию. В горячем труде, который мальчик готов был считать отдыхом, он одолевал мастерство, за ступенью брал ступень, взбирался все выше и выше...

Сейчас, прислушиваясь к тому ликованию, которое бурлило в крови, Угольников с недоумением ловил слова Гурьева.

— Для начала ты вот что, — говорил хозяин. — Для начала ты циркулем отмеривай каждую часть. Главное — старайся, чтобы твои линии ни на волосок не отставали от линий на рисунке. Закрой весь лист — глаза разбегутся. Рисуй по частям. Не горячись. Не спеши! В день иль в неделю копировать не научишься,—это не лаком пластинки покрывать, не кружочки накладывать. Нет, тут работа хитрая!

В самом деле, работа в том виде, в каком она представлялась Гурьеву, была неаппетитна, хитра и громоздка. Изображение рассекалось на части, линия не связана с линией, одно не вытекает из другого, смысл, содержание рисунка становится понятным лишь после его окончания, он холодел, как зимний закат.

— Дайте, я по-своему буду, — просил Угольников.

— По-своему не годится. Делай по-моему.

— Не пойму я...

— Для того и учишься!

— Так не научусь...

— Научишься! Будешь рисовать — за милую душеньку! Я тоже, когда был молод... тоже... любопытствовал... по-своему мне все хотелось... Да что — глупости вспоминать! Знай свое — работай.

Угольников работал. Вскоре он приноровился к указаниям Гурьева. Люди и здания на барельефах должны были находиться в том положении, в каком сотни лет тому назад разместил их гравер. Единственное, что оставалось Угольникову — это менять выражение изображаемых лиц. Святых женщин он заставлял улыбаться так, как улыбались холмогорские девушки. Старцев лишил надменной неземной почти сухости римско-католических монахов. В людях, которых изображал Василий, не трудно было узнать старцев родного села — землепашцев, звероловов, рыбаков. Как-то нарисовал он попа, поп был похож — до трудно передаваемых в резьбе линий на лбу, до выражения глаз — веселых и насмешливых одновременно.

Гурьев узнал, цыкнул языком, покачал головой.

— Ты не совсем научился, Вася, — огорчительно сказал он. — То делал в точности, то—глянь—стал ошибаться... Можно подумать, что ты не модель изобразил, а — попа нашего. Так не годится, парень! Ошибаться тебе не след!

Даже от этих небольших утешений Василию пришлось отказаться...

...Жизнь была неласкова, она расходилась с тем миром, который все чаще звучал в Угольникове. Работа не давала радости. Вечерний труд — наедине с карандашом и бумагой — отпал сам по себе. Одних и тех же лиц он не был в состоянии изображать живыми и мертвыми — одновременно. Жирную пищу он жевал с трудом. Подперев тяжелую голову, найдя точку для глаз, он часами сидел неподвижно. Работники щелкали картами, звенели стаканами. Тянули песни. Уголь-

никову казалось, что в этих звуках они оплакивают зря проходящую жизнь. Эх, день да ночь, да сутки прочь — слава те, слава! Еще год прошел, еще годок, — пусть летит время, жизнь все равно проиграна!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Любовь и ненависть скованы одной цепью, — их отделяет небольшое звено. Угольникову опротивели притворные костяные улыбки. Его мутило от искусственно изогнутых пальцев — указательный наставнически поднят, большой и мизинец едва сходятся, от маленьких губ с углами вверх, от ямочек на округлых щеках, от подразумевающегося кирпичного румянца. Ненавистными оказались гудящие соборы, ажурные украшения на стенах, стрельчатые башни, их остроконечность, ратуши, от беспредельности которых когда-то бросало в дрожь. Неподатливая и своевольная кость властвовала над раз навсегда придуманными формами, материал не был покорен. Под складками мантий вытекали некогда упругие мускулы. За гладкой поверхностью лба не было мысли, как не было веселья в растягивающей лицо улыбке. Все притворство, прах, обман! Убогая хижина — выдумка, которую давно покинули жильцы.

Теперь Василий завидовал подмастерьям — они умели расцвечивать свой подневольный труд. Он мечтал о бездумном равнодушии. Он мечтал... Но равнодушие не приходило, ненависть росла: чувствуя отвращение к мертвым — и мертвящим — изделиям, он вынужден был из месяца в месяц, из года в год увеличивать их количество.

Часто срывал он свое настроение на окружающих. Брань, проклятья, незаслуженные обиды летели с его языка. Он стал сварлив и мелочен, и чем больше замечал это, тем все больше и чаще срывался. Раны его зияли, бытие шарило по ним тяжелыми своими лапами, не очень щадило.

Но брань и проклятья не успокаивали Угольникова — наедине, сам с собой, он горько расплачивался за все эти срывы. Дело свое он выполнял аккуратно — многое поэтому ему прощалось. Днями не заговаривал он с окружающими, чуждался людей. Оставаясь один, он не знал, что делать с собой, со своими мыслями. Он чувствовал зуд в руках, ночи напролет лихорадочно рисовал, потом, в изнеможении, давясь, рвал рисунки, метался по комнате. Неудовлетворенность всей его девятнадцатилетней жизни стекала в один ручей.

Так длилось долго — столько, сколько требуется, чтобы обычное дарование достигло совершенства.

...Тогда юношу одолели воспоминания...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

...Тимофей Угольников, бедный мужик с красными глазами и жалкой судьбой, снял со стены ружье, натянул валенки, привычно, не думая, тремя пальцами приложился ко лбу, к животу, к правой и левой ключице. Так он всегда поступал перед тем, как пойти на охоту. Василий увязался за отцом.

Они вышли затемно, не останавливались, рассвет встретили в лесу. Снег, казалось мальчику, движется, всходит, как бы струится. Солнце подошло к земной коре, изнутри ее осветило. Белые невесомые лапы деревьев простерлись над поляной. Притронься пальцем — и поток радужных искр долго скользит вниз. Спокойный мир очарован собственной своей, оглушающей тишиной.

Василий стал слушать. Глухим, равномерным дыханием тишина билась в ушах. Ей отвечал стук сердца — тревожный и вещий. «Сейчас случится что-то». Мальчик закрыл глаза и перестал дышать.

Крик раздался вдруг. Угольниковы едва успели спрятаться. Крик, шум, треск, сопенье. На светлый круг, чуть касаясь снега, летело желтое пятно. Остановилось, метнуло глазом... В двадцати шагах от людей стояла важенка [1]. Она дышала низом живота, туманное сияние повисло над телом. Мальчику было видно, как наливаясь — опадая, наливаясь — спадая — жилы пульсируют на крепких ее ногах.

Треск ветвей, стук копыт, нарастающий шум продолжались. Зверь слушал, прядая ушами, ноздрями как бы ловя звуки. Он косил тревожными глазами, оглядывался, ждал.

---

[1] Оленья самка.

Отчаянный рев свалил с ног людей. На поляну выкатились два оленя. Сцепившись рогами, ничего не видя, они летели вперед. Натолкнулись на поджидавшую их подругу, только после этого раз'единили рога.

Тотчас же олени метнулись в сторону, борьба завязалась между ними. Очарованные, они разбегались, сталкивались разбегались, сталкивались. Снег под копытами взлетал, как перья. Внезапно алые лепестки посыпались на белую поляну. Крик зверей превратился в хрип.

Подруга стояла задом к дерущимся. Лишь изредка она поворачивала голову, невидящими глазами смотрела на оленей.

Вопль на-двое рассек поляну. Задрав голову, олень плакал кровавыми слезами. Глаза его вытекали. Наступал конец борьбы. Подруга все чаще оглядывалась, страсть в клочья рвала её терпенье. Дрожа, захлебываясь в частых и едва слышных звуках, она стала торопить победителя.

Эти сумасшедшие звуки вернули к сознанию раненого зверя. С обреченной медлительностью, слепо, наугад, он приблизился к сопернику и, сжавшись весь от напряжения, всадил рога в олений живот. Всадив — рванулся. Кишки вывалились на снег, дымились. Слепой победитель медленно и тяжело поднял окровавленную голову и затрубил победу.

Он трубил недолго, внезапно оборвал призыв. Звук, как клинок, застрял в горле, — олень подавился им. В следующий миг два бездыханных тела рухнули на землю.

Подруга позвала — раз — другой. Подождала. Хрипло, задыхаясь — точно лаяла — позвала еще раз, — последний раз. Презрительно вильнула отростком хвоста, чуть дрогнула спиной и — лая по-собачьи — убежала...

...Василий слушал свои воспоминания, вскрикивал от боли. С яркостью, более ощутимой, чем действительность, он видел, как дерутся звери. Когда рога оленя исчезали в теле соперника, юноша хватался за живот, — он чувствовал, как костяные штыки рвут его внутренности. Вместе с двумя оленями он падал на землю. Сраженный, со стынущими глазами и остановившимся сердцем, он все же видел, как та, из-за которой пролилась кровь, презрительно вильнула хвостом, дрогнула гладкой, лоснящейся под холодным солнцем, шерстью, и, насторожившись, бросилась в сторону...

Он старался не думать о том, что много лет тому назад произошло на снежной поляне. Произошло ли? Он уверял себя, что видение пригрезилось ему. Но мысль вновь и вновь возвращалась к давно прошедшей картине.

От этих воспоминаний надо было освободиться. Было ясно — забыть их не хватит сил...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Теперь Василию предстояло скрывать не только свои воспоминания... Мысли созрели в нем. Ему не дано было выбирать: он должен был освободиться от ноши...

Для тайного труда он пользовался хозяйскими отбросами — времени и материала. Его каморка запиралась изнутри. Так как он не знался с девками и не дружил с товарищами, его заподозрили в неестественных удовольствиях. Его осыпали насмешками. Ему некогда было избить болтунов.

В конце-концов некоторые странности в поведении Угольникова были отнесены к разряду чудачеств. Твердо убежденный, что праведные люди встречаются только в библии, Гурьев не придавал значения скрытности Василия. Угольников выполнял свою работу, остальное хозяина не касалось.

Видя, что юноша рассеян и пищу принимает без обильной слюны, не смакуя, Гурьев говорил

— Ешь, парень, жратву не обижай. Вишь — все работники гладкие, один ты худющий...

После этих слов он круглыми, как у змеи, глазами смотрел на Василия. Хозяйскую свою бережливость к рабочей силе костяник готов был принять за доброту. Ему приятно было думать, что к подмастерьям он относится с отцовской сердечностью..

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

...И вот настал долгожданный час. Угольников не знал, как отнестись к нему: он и желал и боялся его...

Он отложил резец и поднял голову. Завершенный труд стоял перед ним. Несколько раз он прошелся по каморке. Он ждал необыкновенных мыслей. Опустошенный он остановился перед работой. Безразличие коснулось сердца. «Я ждал другого», — подумал он и, как высший дар и лучшую награду, принял две слезы, нежданно затуманившие глаза.

В эту ночь не ложился Угольников. Просыпавшиеся работники, Гурьевы слышали, как скрипит пол под ногами чудака. Лампа в его каморке горела до тех пор, пока свет из желтого не превратился в красный. Потом огонь погас, фитиль зачадил, с дымом и копотью из стекла вылетали алые, как кровь, бусинки. В темноте Угольников продолжал ходит из угла в угол.

Он забыл обо всем. Он забыл о предосторожности. Глупая девка, дочь Гурьева — до того глупая, что даже не догадывалась о сердечной своей привязанности к Угольникову,—несколько раз подходила к заветной двери. Глазами, ртом, носом она припадала к щелям. Когда стало светать, она на столе работника заметила круглое белое пятно.

«Ишь, колдун», — подумала она вслу. и ухмыльнулась. Сразу захотелось ей зашуметь, ударить в дверь кулаком, ворваться в каморку, ткнуть Угольникова в бок, да так, чтоб он ее обязательно погладил, опрокинул на постель, потискал всласть. Конечно, она бы отбивалась — слегка только — чтоб не отбиться... Эх!

Так как желаний было слишком много, девка ни одного из них не выполнила. «Чисто колдун», — подумала она еще раз и захохотала. Ей понравилось это ее определение Угольникова.

— Чисто колдун твой Угольников, — сказала она отцу, дрожа от смеха крупной грудью. — Колдун он и есть, истинный господь.

— Дура, — подумал и ответил отец. Потом спросил:

— А что?

— Истинный господь! — Девка перекрестилась. — От стенки к стенке бегает, на столе белая...

— Чего?

— Какая-то белая...

— Чего — белая?

— Не знаю...

— Дура, — убежденно сказал отец.

Он бы забыл о словах дочери — плетет неумная! — но тут появился Угольников, к завтраку не притронулся, за работу сел — не свой. Карандаш падал из его рук. Часто он хватался за голову. Уставится в одну точку и замрет, мир течет мимо...

«Белое, белое, — подумал Гурьев. — А брюхо дуре набьет—за мое почтенье, вот и будет белое».

И хозяина — впервые за несколько лет — потянуло к жилью Угольникова... Никем не замеченный, он подошел к дощатой перегородке, толкнул кулаком — и дверь, которая изо дня в день была на замке — дверь легко распахнулась. Гурьев шагнул...

...Восьмиугольная ваза стояла на столе. Четкая резьба как бы помимо зрения вошла в сознание. От удивления Гурьев застыл на каблуках, растопырил пальцы...

Сцепившись, олени убивали друг друга. Пораженные любовью, они не чувствовали смерти. Широкими («в готический сборо» — подумал Гурьев) струями кровь лилась из развороченных ран. В нескольких шагах от погибающих зверей стояло их обольщение. Подруга ждала, звала, сгорала от нетерпенья, какой-то частью сознания презирала погибающих из-за нее, обреченных соперников...

Очнувшись, Гурьев прежде всего подумал, что Васька Угольников — вор, бесчестный и упрямый вор. Второй его мыслью было удивление: «как это Василий, сучий сын, из маленьких пластинок смог сделать большую и высокую вазу?». Он еще о чем-то нужном и важном — нумеруя мысли по порядку — собирался подумать, но тут острое, как резец, подозрение ударило в голову.

— Они у него, он нашел их! — дико закричал хозяин и бросился вон из каморки.

Продолжая кричать, он ворвалс

стерскую и, прыгнув, схватил Угольникова за горло.

— Отдай, — ревел он. — Отдай сейчас же! Вор! Разбойник! Я согрел тебя на своей' груди, змея! Не отдашь — выгоню!

Рассвирепевшего костяника мастеровые с трудом оторвали от Угольникова... Василий — как сидел, так и остался: в одной руке безглазая, но уже улыбающаяся Мадонна, в другой — карандаш. Губы его дрожали.

На минуту все затихло... В голове Гурьева вновь обнаружились мысли. Ему представилось, что на протяжении всей жизни его бесконечно обижают, — сейчас особенно жестоко. Он посопел, пощупал лысеющую голову, захныкал.

— У кого хошь спроси, — хныкал он,—любой скажет — моя правда! Нашел у меня, значит — мое!

— Ничего я не находил...

— Ни к чему отпираться!

— Не понимаю...

— Хочешь — при всех скажу?

— Говорите...

— Сам просишь, потом не пеняй, эй, Угольников!

— Говорите...

— Так я скажу! — Гурьев захлебнулся, во рту, в носу пищало. — Слушайте, народ честной! Вам, надо думать, известно — до меня в этом доме жил Шубный, никудышный старичок, царство небесное! После его смерти — гляжу — модели исчезли — нет и нет! Я подумал не иначе, спалил он их... со злости. А они — вот они! в угольниковском чулане оказались. По-хорошему — ему бы мне их вернуть, а он — продажная душа! — по этим моделям резать стал...

— Не резал я по моделям, — просто ответил Угольников. Он так был ошеломлен криком хозяина, что забыл подумать — каким образом обнаружен его тайный труд?

— Поймал с поличным, глупо отпираться!

— Не резал я по моделям, — повторил Угольников, скрипнул зубами и покачал головой.

— Вот и врешь! Я по оленям узнал! Такие олени у чудака-покойника были!

— Из головы я...

— Врешь!

— Из головы я!

— Врешь!

— Ну и как хотите, — рассердился вдруг Угольников. — Вам что? Резал — и буду резать! И буду! И буду! — Глаза его горели, он был страшен; размахивая резцом, наступал на Гурьева. — И буду, продолжал он кричать. — А не хочешь, давай расчет — уйду! Замучил, сатана! Надоел до смерти!

Он плюнул и вышел из мастерской.

И тут с Гурьевым произошла перемена.

По мере того как Угольников все громче кричал, хозяин успокаивался, оседал, спина его круглилась. Лень и расчетливость вновь овладели им. Покой, положение, сытая жизнь, подошли к обрыву, заглянули в пропасть... «Натворил я бедов, — с отчаянием подумал костяник. — Нашел чем пугать первосортного мастера — «выгоню»! Дурень! Да он — сделай одолжение! — в два счета найдет компаньона, любой ему денег даст — только работай. На худой конец — две красненьких раздобудет, купит голубую кость и—засядет. Ему б начать, а там дело пойдет! Только появятся шубнинские олени!..»

Так, примерно, думал Гурьев, боялся своих мыслей, не доводил их до конца. Опустив голову, кулаками опершись в скамью, он сидел неподвижно. Вдруг сорвался, хлопнул себя по ляжкам, обрывисто вскрикнул, побежал—во что бы то ни стало найти преступника.

Его не долго пришлось искать.

Житейская мудрость обошла Василия. Законченная работа опустошила его. Злоба исчезла, как и появилась — мгновенно. Он остановился. Куда пойти? Поморщился. Все внимание, весь досуг придется отдать поискам — угла, работы, хлеба. Он подумал о хлебе... Человек, в детстве долго голодавший, может отодвинуть свои мысли о ранних невзгодах, забыть их он не в состоянии... Правда, ему теперь не двенадцать лет...

Тут он услышал вкрадчивый голос. Хозяйская рука легла на плечо.

— Василий, друг, — говорил костяник.—Хоть мы и не петухи, а, выходит вроде... зря погорячились.

— Погорячились, — грустно повторил Угольников.

Гурьев посмотрел ему в глаза, угадал его состояние, захлебнулся от восторга и вдруг наступившего покоя. Хозяин вновь не сомневался в своей доброте, в том, что заменяет подмастерьям родного отца.

— Дд-как же! — Он пучил глаза и брызгал слюной. — Дд-разве мыслимо? Потеха! Ну — заворачивай, заворачивай, помирились! Ни я тебя, ни ты — меня! Работай — Гурьев тебя не обидит! А что до баловства, то — бог простит! Он? Он все видит, за всем следит! Уж он простит — я знаю!

Они пошли к крыльцу.

Угольников вспомнил, сказал:

— Так вы не подумайте... не подумайте худого, Петр Васильевич. Никаких у меня моделей нету... Все это я — из головы.

— Да уж ладно! — ответил Гурьев.

Верил ли он Угольникову? Сомнительно. Ни о чем плохом он старался сейчас не думать. Под конец он не вытерпел — захотелось пощупать воображаемый камень, лежавший за пазухой. «Дай срок, голуба,—думал он.—Найдется и для тебя ловушка, наброшу аркан и на твою шею... Ох, наброшу...» Когда человек не в силах мстить, он утешает себя мыслью о мести.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Чтобы числиться в списке надежнейших и быть на хорошем счету, архангельскому губернатору приходилось время от времени «харкнуть в ладошку» (как он выражался в тесном кругу близких людей) вышестоящему человеку. В те годы последнему русскому царю ласкать супругу и управлять страной помогал сибирский мужик. Именно его, Григория Распутина, имел ввиду губернатор. Северной губернией он управлял недолго, из Архангельска не выезжал. Поэтому поверил длинной истории старой пенсионерки — живет в Холмогорах резчик по кости, мастер замечательных изделий. За холмогорскими изделиями приезжают из Петербурга — да что Петербург! — парижане обивают пороги мастера...—Старуха оживилась, вспомнив обстоятельства, при которых ей (лет пятьдесят назад) подарили ожерелье из голубой кости.

В тот же день губернатор был у Гурьева. Оторопевший костяник — балда балдой — дрожащими руками раскладывал перед начальством барельефы, непослушными пальцами гладил точеные щечки святых, пытался цыкать языком.

— Сам папа... сам римский... как перед истинным... — говорил он первое, что приходило на ум, бурел от натуги.

Губернатор хмурил брови, сердился на пенсионерку. Готические изделия не нравились ему. Упоминания о наместнике Петра не произвели впечатления.

— Мне нужно что-нибудь отечественное,—сказал он. — Этакое одним словом...

— Этакое?..

Хозяин повторил машинально, только после этого догадливо мигнул... Он подумал об угольниковской вазе. Мысли спешили, костяник не успевал их нумеровать. «Выгодно иль невыгодно о ней упомянуть?».

— Подождите, — сказал он с облегчением и схватился за живот: от натуги свело кишки. — Так быстро я не умею...

Но он говорил неправду — все решилось в промежутке между двумя ударами сердца. «Ты меня, я — тебя, — думал он, имея ввиду Угольникова. — Хоть я и добренький, но — не спущу! Уж раз ты куралесил за моей спиной, годами молчал... Добра тут не жди... Пусть в крайностях твои олени будут у губернатора. В случае чего он мне поможет и на тебя управу найти...»

Бухая сапогами, от почтения закрывая рот, Гурьев повел губернатора в каморку Угольникова...

Через несколько минут, вряд ли понимая, что ему говорят, Василий стоял перед высоким начальством. В руках седого незнакомца он видел вазу, многолетний свой труд, — и это его не трогало. К законченной работе он потерял интерес. Неопределенное беспокойство, которому он был подвержен во время резьбы, сменилось равнодушием.

Губернатор несколько раз повторил свою просьбу — за четвертной уступить вазу. Молодой мастер молчал — он был

нелюдим и рассеян. Он не заметил, как освоившись, Гурьев подмигивал начальнику — «мол, парень малохольный, не обижайтесь...» Наконец, поняв, губернатор положил на стол кредитный билет.

— Получи свою плату, — сказал он,— и да хранит тебя господь...

На этом кончается личный интерес начальника губернии к Холмогорам, к резчикам по кости. Губернатор забывал все, что не относилось к нему непосредственно. Через три месяца (после того, как подарок был вручен Распутину), получив из Петрограда телеграмму, — немедленно направить в столицу резчика по кости Угольникова — он уже никак не мог догадаться, о ком, собственно, идет речь? С пометкой «исполнить» телеграмма была передана в губернское правление.

Здесь, совершив обычный свой путь— от стола к столу, она недолго задержалась. Собственноручная пометка губернатора ускорила делопроизводство. В Холмогоры поехал полицейский с отношением «немедленно препроводить в Архангельск костяника Угольникова».

Дальше все пошло по положению. Вместе с прибывшим из Архангельска полицейским, холмогорский урядник взялся исполнить распоряжение губернского центра.

— Возись тут с ними, — сказал он сочувственно, чтоб хоть что-нибудь сказать товарищу по службе, и вздохнул.

— Да, — ответил товарищ, и тоже вздохнул.

У верстака Угольникова они ненадолго задержались. Костяной старец с ввалившимися глазами смотрел на полицейского строго. Тотчас же пришедшие освоились с положением и приступили к исполнению обязанностей. Пароход в Архангельск отправлялся на следующий день. В ожидании парохода Василия посадили за решетку.

Спустя неделю Угольникова этапным порядком отправили в Петроград. Там его стали передавать из тюрьмы в тюрьму, от следователя к следователю. Арестованный не мог толком об'яснить, за что именно его задержали, и это осложняло и запутывало дело.

Так длилось несколько месяцев.

И вдруг...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

...В судьбе Василия произошла перемена.

Тут нужно вернуться несколько назад и ввести в повествование нового человека.

Графиня Б. — та самая, которая возглавляла вдовьи дома ведомства императрицы Марии, — с удивлением проснулась как-то на кровати Распутина. Петербургское утро лениво стояло за окном. Григорий сидел на бархатном кресле, пальцами расчесывал бороду, скучал. Графиня до подбородка натянула одеяло, воробьиными глазками уставилась на Распутина.

— Григорий Ефимович, — произнесла она с удивлением. — Не правда ли — при дневном свете у вас янтарные глаза?

Распутин не ответил.

— Который час?

Она задавала безразличные вопросы, словами заполняла тишину. К Распутину она попала случайно, — они не нуждались друг в друге. Она попросила не смотреть, отбросила одеяло, голыми ногами стала на паркет. Подняла худые руки к волосам, посмотрела в окно — и забыла поправить прическу...

На широком мраморе подоконника стояла восьмиугольная ваза из голубой кости — дар архангельского губернатора.

Графиня быстро подошла к окну, расширенными зрачками разглядывала резьбу, изображение любви и смерти. Беспокойный чадок изменил ее дыхание.

— Какая прелесть, — сказала она. — Григорий Ефимович, подарите...

Несколько раз она повторила просьбу. Григорий молчал. Графиня обернулась. Властелин сидел развалившись, руки на подлокотниках, каждый кулак зажат в двойную дулю.

Нельзя было сомневаться: так Распутин отвечал на просьбу.

— Хам, — сказала графиня, не очень злясь.

Она была упряма и самолюбива, кроме того, считала себя знатоком искусства. Голубая кость понравилась ей. В одной рубашке, стоя у окна, она решила, что должна обладать такой же, как Григорий, вазой. Перед тем, как покинуть Распутина, графине — на подставке восьмиугольного сосуда — удалось прочесть фамилию и местожительство резчика. С утра до вечера она была занята — и все же в тот же день успела выбраться к влиятельному сановнику. За несколько часов, отделявших графиню от встречи с Распутиным, желание ее оформилось. Она попросила срочно вытребовать резчика по голубой кости и направить его в ее распоряжение. Сановник обещал, послал телеграмму в Архангельск. Остальное известно из предыдущей главы.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В конце-концов человека не так трудно найти — даже если, по недоразумению, его посадили в тюрьму.

Получив щедрую плату, банщик усердно мял и парил холмогорского костяника. Из бани Угольникова доставили в парикмахерскую. Парикмахер посоветовался с секретарем графини, как бы под горшок подстриг деревенского человека. После стрижки стиль Василия определился сам по себе. Его обрядили в малиновую рубашку, в черные — из бархата штаны, в сафьяновые сапожки... Прежде чем отвести в один из вдовьих домов (там, по плану, костяник должен был засесть за работу), его доставили в особняк патронессы.

В тот вечер у графини было много оснований для хорошего настроения. Костяника она приняла в гостиной, как равного усадила возле себя. Угощала. Пока Василий, лягая под столом ногами в узком сафьяне, довольно громко прихлебывал из стакана, графиня успела восхититься работой Угольникова, высказать свое мнение об искусстве... Она говорила туманно — все же из слов ее понял Василий: жить ему теперь как у бога за пазухой, не терзать душу, не тужить, заниматься любимым делом. О войне, о призыве не думать — обо всем этом давно позаботились расторопные секретари графини. На прощанье графиня заставила костяника поцеловать руку, сама приложилась к русым его волосам, ласково улыбнулась.

Угольников зажил во вдовьем доме.

Дом был большой, рыжий, во дворе сходился четырехугольником. Одноцветные стены, правильные выемки окон на воротах — на одном и другом столбе белые журавли — шеи изогнуты, застыли, грустят. И хоть число окон переваливало за несколько сот — в доме стоял полумрак. Угольникову казалось, что полумрак этот пахнет нафталином, кошками, ромашкой, тлеющим в сундуках шелком. С утра до вечера, от нечего делать (инструмент и голубую кость не сразу доставили), он слонялся по дому, блуждал по одинаковым коридорам, лестницам, этажам. Жизнь начиналась рано. Вставали по звонку. Открывались двери бесчисленных комнат, появлялись черные вдовы. В руках ночные горшки. Как крысы, они шмыгали по темным проходам. Скрипели костыли. Шел шопоток. С утра нередко ругались — шопотком же. На выступах окон, на табуретах, на полу с шипеньем расцветали лиловые розы примусов. Узкие коридоры — мрачные катакомбы — гудели позмеиному. Завтрак полагался в девять, до завтрака каждая готовила себе — на свои деньги и вкус — блюдо: грибной супик, манную кашу, что-нибудь более сложное и заковыристое, сохранившееся в памяти от лучших времен. Пробовали друг у друга еду, причмокивали, задумывались, всякое выражение сгоняли с лица; редко хвалили.

После завтрака — в особенности, если он бывал плотен, — старухи добрели. Двери настежь. Бродя по коридорам, Угольникову было видно, как вдовы гостят друг у друга. Сидят на кроватях, ищут в головах. Незлобиво оплетничают. О старых встречах, о мимолетных изменах шепчутся с таким видом, точно все это случилось вчера. Из очень толстой и пушистой шерсти вяжут разноцветные салфетки. Раскладывают пасьянсы.

Василий ходил, зевал. Скучно. Среди сотен вдов он был единственный муж-

чина. К нему привыкли, как к кошкам — их было здесь не мало. Подойдет к окну — те же рыжие стены, журавли все так же опечалены — и повернет обратно. Веселой струей брызнет звонок — обед. Еще позвонят — ложись, не слоняйся, хочешь-не хочешь — отдыхай. Придет вечер, коридоры пожелтеют, в углах зажгут синие лампады. Настанет час ужина. И все шушу-шушу-шушу — шепоток за столом, шепоток в коридорах, шепоток комнатах. Не выдержит иногда Василий — топнет громко, чихнет на все здание... Слышит потом, как звук бродит по коридорам, заворачивает то в один, то в другой проход, гудит в ушах...

Иногда случались перемены, их с нетерпением дожидался Василий. Утром старуха не выйдет к примусу, не появится за общим столом — и глаза всех беспокойны, лица озабочены, вид рассеян. Толпятся в коридоре. Плюют через левое плечо. Сухими пальцами стучат по пузатым комодам — «сухо дерево, сухо дерево»... Ждут врача, точно все они заболели одной болезнью — и вот им доктор пропишет общий рецепт. С врачом говорит начальница, рыхлая женщина с усами, Марья Павловна, — все вытянут шеи по направлению к ней, передают из уст в уста: теплый клистирчик, два горчичника, десяток баночек...

В такие дни беспокойный дух плыл по дому. Старухи кряхтели, охали, вздыхали тяжело. На шеях у многих появлялись компрессы. Пахло камфарой. Кошки бесились от валерьяновых капель. С утра вдовы ходили простоволосые, до ночи не причесывались, валялись на кроватях. Боялись всего — сквозняков, злых глаз, длинных языков. Выдумывали: в уборных немыслимая температура, там легко поймать воспаление, — и в коридорах, друг против друга, в два ряда, бесстыдно усаживались на ночные горшки. Сидя, жаловались—на старость, на страшную смерть, на болезни, — выдуманные и настоящие...— Из-за угла, никем не замеченный, следил за ними Василий, карандаш бегал по бумаге, холмогорец забывал дышать.

Несмотря на старания и молитвы, жизнь часто отрывалась, в дом заглядывала смерть... Старухи дурели от страха. Сухо стучали костыли. Метались черные призраки. Появлялись новые люди. Ризы на плечах у священников горели ярко! Василий жалел, что в резьбе нельзя передать богатую эту расцветку.. Смерть изгоняли запахом ладана (он задерживался в небольших комнатах, долго еще пугал старух), пеньем мужских голосов, которые — как ни старались певчие — звучали здесь радостно, веселыми жаворонками купались в пахучем дыму... С похоронами спешили, не спали по ночам. Круглые сутки горел свет. То в одной, то в другой комнате падала в обморок старуха. Василий неохотно отрывался от бумаги, пугливых и слабых поил каплями. Возвращались с кладбища, наружные двери — на ключи, на засов. Опускали железную занавесь — она всегда закрывала парадную дверь.

И вновь—спокойствие, мирное житье. Впрочем, Василий скоро перестал его замечать. Привезли бивни, доставили инструмент. Из комнаты костяника доносился бодрый скрип. Угольников работал с увлечением. Он даже посветлел лицом, кстати, некстати — улыбался. Сидит за общим столом, обедает, ложку сует в ухо. Вдруг засвистит, хлопнет себя по коленкам. Озорничал. Уставится на старуху, та смутится, начнет расправлять оборочки, разрумянится, вспомнит молодость...

— Вообразите, барыня, — скажет, — смерть охотится за вами, идет по пятам... Вот уж — близко она... вот...

Лицо вдовы исказится, она машет руками, плюет, крестится...

Костяник хохочет — «только пугнуть вас и хотел, поглотреть, — страшна ли вам смерть?»

Привыкли и к озорству. С мужика не спросишь. В корпусе Угольников не обучался, читать-писать едва умел, несмотря на это — не грубил, всегда улыбчив, моется, любит чистоту. Трудолюбив. С утра до вечера хрустит голубой костью, вечером сам убирает комнату, подметает пыль. Выйдет — дверь на ключ, ключ на пояске — сказочный мужик. Никого к себе не приглашает, близко подойдешь к двери — хмурится. Графиню (раз в месяц она посещала дом) и ту не впускал в комнату, не подпускал к верстаку. «Окончу вот, тогда — пожалуйста...»

Так — в работе, в покое, в тишине — шло время. Одни — со страхом и неохотой — умирали, места их занимали другие. За стеной происходили события, рикошетом попадали в дом. Часть четырехугольника — один корпус — пришлось уступить лазарету. Старух уплотнили, вместо шести в комнатах жили по семь человек. От раненых забаррикадировались — если б одновременно все они кричали и корчились от боли, едва ли б их услыхали во вдовьем доме! Только суету можно было видеть во дворе. На носилках копошились искалеченные люди... Мелькали белые платки сестер... Чтоб не расстраиваться, начальница велела заделать несколько окон. Отверстия так искусно забили щебнем, залили цементом, что на второй же день всем казалось — окна никогда там не находились.

Приваливали лишения, их нельзя было не ощутить. Потемнел хлеб. Батоны сморщились — как старые лица пенсионерок... Уменьшили порцию мяса... Исчезла рыба... Отменили сладкое. Вдовы бурчали до тех пор, пока не узнали, что во всех этих урезках начальница не виновата... Тут уж ничего не поделаешь, нужно потерпеть!

Жили, надеялись на бога, сами не плошали, отталкивали от себя смерть. Верили теософке, знатной старухе: на войне гибнет много народу, значит — меньше будут умирать во вдовьем доме.

Старухи надеялись... Может быть, в доме совсем не будут умирать?..

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

...Настал, наконец, вожделенный час — второй раз в жизни Угольникова.

Теперь Василий знал — вместе о окончанием работы приходит ни с чем несравнимое опустошение, непреодолимая тоска... Никаких особенных мыслей и ощущений он не ждал... Как и в обычные дни, он запер дверь, на звонок пошел в столовую. Сел за стол — рассеян и далек. Глаза пусты. Никого не затронул, ни на кого не взглянул. Тихо сказал начальнице:

— Пошлите за графиней. Кончил я...

Хотел, видно, еще что-то добавить, но раздумал (забыл?), махнул рукой.

— Одним словом, кончил я...

В тот день после обеда шептались старухи: заскучал, заскучал Василий Угольников! Да и кто не затоскует? Говорят — его работа пришла к концу. Кому охота — из наших палат обратно в Холмогоры? В деревнях теперь лебеду едят... Да-а, жаль мужичка!

Так шептались они, старые, без конца месили одно и то же тесто. Вздыхали. Жалели. Приготовления отвлекли их внимание. В коридорах, в общих комнатах, зажгли двойное количество ламп. Снизу пришли две старухи, обе пыхтят, обе одинаковые, вкатили огромное полотняное колесо, стали разматывать. Дорожку разворачивали в торжественных случаях. Ждали графиню.

Подняли железную занавесь. Осветили парадное. В свете электричества было видно, как плавно под'ехали автомобили. По лестнице, со своими секретарями, с какими-то военными, в блеске электричества, в звоне шпор, прошла графиня. Прошла, улыбнулась близстоящим, и прямо — в главный зал.

«Торжественный момент», — шептались старухи.

Они бродили по коридору, крепкие разместились у входа. Ни одна из вдов не была допущена в главный зал. Когда открывали дверь, было видно, как все сияет в главном зале — пол начищен (яркие огни делают его глубоким, как колодец), позолота на рамах сверкает, белые скатерти голубоваты, похрустывают будто...

Приложив ухо к замочной скважине, чуть приоткрыв дверь, крепкие старухи слушали — через пень-колоду — передавали любопытным: «Ничего пока интересного... об искусстве говорят... о народе... о боге... Главное — впереди». Василий, как равный, сидел среди знати. Лицо его шло пятнами. Малиновая рубашка пылала, над белокурыми волосами — точно сияние...

Но вот речи окончены. Василий и секретарь встали, пошли к выходу. Вдовы отхлынули от дверей. Неровным шагом Угольников прошел коридор. Секретари почтительно шли за ним. Скрылись.

Время растянулось. «Прошло полчаса... Не случилось ли что?»

На самом деле вряд ли отлетели три минуты. Неловко перебирая ногами, кругом прошли секретари. Они несли какой-то предмет — белая материя лежала на нем — подгоняли впереди бредущего Василия, подбадривали его.

— Не робейте... Графиня сумеет оценить... Она — знаток...

И опять двери закрыты. Тишина. В коридоре недолго повозились. Марья Павловна овладела замочной скважиной, никому не уступала. Ни на секунду она не выпрямлялась, не замолкала, с охотой, рассказывала о том, что происходило за стеной. Торжественный момент вскружил ей голову. Она увлеклась, многое угадывала заранее. Когда-то за успешное окончание института ее наградили золотой медалью. Сейчас она вновь переживала молодость. Вместо Василия, сидела рядом с графиней, млела от робости и восторга.

— Воображаю его состояние, — говорила она, всем было слышно, как от волнения дрожит ее голос. — Ему придется ответить на приветствия... Что он, бедное дитя, понимает?..

— Это Угольников — дитя? Мужику за двадцать... У самого, небось, детишки в деревне...

— Вы ничего не понимаете...

— Миленькая, не надо ссориться... Рассказывайте...

Легко сказать — рассказывайте!

Все же начальница взяла себя в руки. Воспоминания совпадали с происходившим за дверью. Не повторялась ли жизнь?

— Сейчас графиня скажет, — проговорила она еще до того, как патронесса стала говорить.

В самом деле выступила графиня. Она говорила недолго. По движениям ее губ начальница угадывала слова. Графиня благодарила Василия за работу. Стояла над прикрытым белой материей предметом, руки сложены. От пальцев тянулись длинные, разноцветные лучики — сверкали бриллианты.

— Поднимают материю... Бедняжка Василий будет отвечать, — предсказала Марья Павловна. — Ох, не выдержу...

Призреваемые разом замолкли. Глухо и неровно стучали вдовьи сердца. За дверью — с одной и с другой стороны — оборвались звуки...

Несколько секунд женщинам видна была неподвижная спина начальницы. Вдруг по телу ее прошла дрожь. Не выпрямляясь, она повернула голову — вместо глаз блеснули белки — попыталась что-то сказать, во рту булькнула слюна — и не успела...

В главном зале загрохотало, зашумело. Вдовы услышали дикий вопль... Многие так и не догадались, что звуки эти принадлежат патронессе.

— ...с ума сошли, — кричала графиня, ее голос срывался, гремел по-мужски. — Издеваетесь? Решили — ваше время пришло? Сгною в тюрьме, мужицкая дрянь...

Вряд ли у призреваемых хватило времени опомниться... Да и опомнившись, они едва ли сообразили — что именно произошло в неуловимый этот срок? Усатая начальница не успела выпрямиться. Ударом двери она была опрокинута. Мимо — мелькнула как тень — пробежала графиня... В беспорядке, точно после битвы, отступали секретари, военные...

Топот ног, беспорядочный крик, звон шпор, стук дверей, гудки автомобилей...

. . . .

Первой вбежала Марья Павловна. Она еще попыталась щелкнуть ключом — запереться. Двери тотчас же распахнулись. На ходу опрокидывая стулья, вдовы летели по залу. Опередили начальницу...

...На столе лежал костяной четырехугольник. Он напоминал могильную плиту. В страшной конвульсии на плите умирали старухи. Ужас изменил их лица. Выкатив безумные глаза, они сидели на ночных горшках. Опирались на костыли. Шаркали ногами. Неподвижные слезы лежали на щеках. Волосы растрепаны, безобразны. Веселые певчие раздирают глотки. Вдовы сбились стадом. Плывет дымок — последний дым — он вьется, свивается, — и вот уже толстыми веревками тянет старух к могиле. В обширных ящиках разлагаются мертвецы. Гробы набиты распухшими трупами. Они лежат рядами, их лица ужас-

ны. Смерть окружила старух, в окна врывается смерть...

. . . . : : . . .

— Ишь поганец! Как это он вас изобразил — весь срам наружу...

— Да это не я! На себя, вот, взгляните... На горшочке...

— Смотрите — начальница!

— Даже графиню... И ту не пощадил!

— Да он, негодный, всех опоганил!

Сейчас только вспомнили об Угольникове. Растерянный, он стоял в углу. Страшными глазами смотрел на обезумевших старух. Смотрел — не понимал. Шевелил пальцами — хотел сказать что-то — и не мог...

...Когда цепкие руки потянулись к Василию и одна, было, взяла за кушак костяника, он опомнился, рванулся, бросился из зала... Побежал по полотняной дорожке. Мчался по лестнице — один топот каблуков... Поздно: огни потушены, железная занавесь спущена. Вовремя сообразил, спасся — по черной лестнице вверх, и — в свою комнату. Раз-раз — дверь на ключ. После этого только вздохнул.

Старухи недолго шумели за дверью. Грозились. Вспомнили — в освещенной комнате осталась голубая кость — их общий позор — и всех как одну смыло вниз...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

После этого наступили грустные месяцы...

В кабинете начальницы беспрерывно заседали. С распоряжениями приезжали люди. Ночью Угольникову мерещились шаги. Он прислушивался, замирал, — каждую секунду готов вскочить. Тишина...

Угольников ждал... Чего? Взобравшись на подоконник, он глядел вниз. Сеет дождь. Блестит асфальт — холодно, неуютно... Если броситься вниз... едва ли уцелеешь. Начинала кружиться голова. Костяник слезал и прыгающей походкой бегал по комнате. Точно самого себя догонял.

На другой день Василия повели к начальнице. Со страхом, после неловкого молчания, Угольников посмотрел на Марью Павловну, и едва ли узнал ее. В каждом движении, даже в дыхании ее — упрек. Минут через пять стала качать головой — все это молча...

Василий не выдержал, заговорил первый.

— Отпустили бы меня, — сказал он грустно и тяжело вздохнул. — Отпустили б, а? — Сам не веря в свои слова, он закончил привычно, как на допросах в тюрьме: — Ни в чем не виноват... Напрасно страдаю...

Начальница собиралась сказать длинную речь. Видя, что Угольников не кается, она рассердилась, отодвинула приготовленные в уме слова. Злоба зажгла отвисшие ее щеки — они стали коричневыми.

— Не желаю вступать... — Она хотела сказать «в пререкания», но подумала, что костяник не поймет этих слов: — Сообщаю распоряжение: графиня приказала немедленно приступить к резьбе оленей. Впредь не запирать комнату.— Злясь, она говорила языком канцелярских бумаг — их ей не мало приходилось составлять. — Впрочем, вы сами увидите.

В это время раздался звонок. Марья Павловна строго собрала губы.

— Ступайте...

Опустив голову, Угольников вышел из кабинета. От двери отделились две старухи, пошли за ним. Он сел за стол — старухи по обе стороны. Поднялся — в тот же момент поднялись и они. Провожали до комнаты, остались — чувствовал Василий — за дверью.

С этого началось.

После завтрака старухи входили в комнату Угольникова, усаживались друг против друга. Мелькали спицами, следили за костяником. В их присутствии Угольников должен был «резать оленей». Перед обедом вдовы запирали кость и инструмент, до ночи не покидали Угольникова. Как тень, неотступно двигались за ним. Остановится у окна— и они стоят, поглядывают. Зайдет в уборную — шуршат за стеной. Ждут.

Чтоб отделаться от графской милости — после оленей, быть может, отпустят? — Угольников пытался резать. Но работа как на грех не клеилась. Карандаш и резец валились из рук. Василий

мучился, страх морозил пальцы. Не разучился ли он работать? С ужасом смотрел на старух. Сидят, уставились, не мигают — как во сне. Угольников вскакивал, хватался за голову. Спицы переставали мелькать. Старухи настораживались, каждую секунду готовы подняться, пойти за ним.

...Вот когда даже годы, проведенные у Гурьева, показались Угольникову раем... Он потерял равновесие, перестал замечать все, что происходило вокруг— видел только двух старух, они не уставали следить.

Жизнь, между тем, давала трещины. Василий был удручен, не замечал, как все чаще и чаще вдовы дурели от беспокойства. Не спали по ночам. Прислушивались. Стынущими ушами ловили стрельбу. Носились с царскими портретами, все думали — куда их спрятать? Шептались, шептались, шептались... Косились на Василия, еще зорче наблюдали. Несколько раз ждали гостя — «важного, из новых — еврейчика какого-нибудь». В самом деле приезжал гость — маленький, во френче, на груди красный бант, поздравлял «с величайшим историческим событием». Поздравив, демонстративно, за руку, прощался с кухарками, спешил уйти.

Петербург грохотал, щетинился, трясся. Вдовы вставали среди ночи, зажигали свечи, перебегали из комнаты в комнату. Василий ворочался на жесткой кровати, видел сон — всегда один и тот же. Он плывет по голубой реке, спешит — поспеть бы! Внезапно замечает— костлявые руки давно его держат, он размахивает ногами, делает все необходимые движения — и находится на одном месте. Хочет крикнуть, открывает рот, напрягает все силы — звук не слышен — едва ли он раздался... Угольников открывал глаза (рубашка прилипала к холодеющему телу), садился, слушал.

За стеной ворочались старухи...

Однажды — только сели завтракать— постучали в парадную... Раз, другой. Затрезвонили. Снизу примчалась старуха, бледная, едва говорит: — «Бьют прикладами по железной занавеси, грозятся!» Вдовы задвигались, все в столовой пришло в движение. Одна как сидела, так и повалилась на стол, бюстом раздавила стакан. Открыли дверь в столовую. Гул, стук все отчетливей. Во-время догадалась Марья Павловна, послала старуху к парадной.

— Скажи им — без разрешения графини мы не имеем права, пусть идут к ней.

За дверью ненадолго утихло. Грохот, гул, стук. Старухи сбились у дверей — рты открыты, при каждом ударе глаза мигают. Тишина. И вдруг — воздух дрогнул, блеснуло, лестница точно сдвинулась с места. После этого только раздался взрыв. Мелькнул огонь. Как бумага, разорвалась, сверкнула железная занавесь. Посыпалось стекло, подул ветер, понесло снегом...

Все это — в одну секунду...

В следующий момент Угольников увидел, как в развороченное отверстие вбегают солдаты. Штыки на перевес. Василий оглянулся. Старух будто не было. Точно ветром отнесло их в кладовую...

. . .

Матрос в рваном бушлате, с револьвером в руке, подбежал, ударил Василия в грудь и отступил на шаг. Матрос знал — в доме живут женщины. Перед ним стоял — ряженый-не ряженый — мужик в малиновой рубашке, волосы под горшок, на ногах цветные сапоги...

— Ты что? — спросил матрос, опуская револьвер и разглядывая костяника.

— Мы здесь по голубой кости, — ответил Василий. Видя, что его не понимают, он быстро добавил: — По ремеслу, одним словом...

— По ре-ме-слу??!

Матрос еще раз — сверху вниз, снизу вверх — посмотрел на Угольникова, рукояткой револьвера почесал затылок, выругался, топнул ногой.

— Бери винтовку, дурья голова, — рявкнул он повелительно. — Зимний взят!..

ГЛАВА ВМЕСТО ЭПИЛОГА

«...Теперь, товарищи, опишу вам еще случай искривления нашей линии. С этой историей пришлось канителиться больше десяти дней, ездить в Архангельск

и прямо там заявлять — если, ребята, будсте волынить, то найду на вас управу и в Москве. Под конец поняли, что и как, разобрались все-таки.

А разобраться, товарищи, было нелегко. Васильев, бывший холмогорский пред, так запутал дело, что — удивляюсь — в местном центре долго повторяли его диктовку, точно он их всех опоил, что ли, честное слово.

Расскажу по порядку.

Об этом Васильеве, головотяпе, я вам писал в предыдущем письме. За искривление линии и за головокружение от успехов мы его будем судить показательным судом. Этот Васильев женат на одной дюже безобразной бабе с фамилией до загса — Гурьева. Ее отец, довольно седой старичок, Петр Гурьев, живет в лучшем доме и у него не реквизировано ни одного бревнышка, ни одно кило хлеба — за что такой почет?

Но не буду задаваться очень прозрачными вопросами — откуда у него шикарный дом и все такое, и почему его щадят? В настоящее время он является членом артели числом в девятнадцать человек и артель эта занимается местной кустарной работой, называется — резьба по голубой кости. Вырабатывают они на мой простой взгляд вещи религиозного культа, одним словом, барахлятину, каких-то заграничных попов, что ли, меня это не касается. Изделия экспортные, валюта нам очень нужна. Пусть работают, хотя надо выяснить (и мы выясним!), не является ли Гурьев просто старым хозяйчиком, платит работникам жалованье и только для фина они числятся членами артели? Очень похоже на правду, порыться здесь следует. Работают в гурьевском доме, больше чай пьют и орут песни, а старичок, все равно как хозяин, посматривает только. Что-то подозрительно. Но это пока оставим.

Живет еще в Холмогорах некий товарищ, по фамилии Угольников. Как приехал я в рик, так меня Васильев науськивает на Угольникова — и такой он, и этакой, и растакой. «Что, думаю, за явный контра и гуляет на свободе?» Показывает мне список раскулаченных— на первом месте Угольников. Начнет говорить о сопротивлении и кулацком шопоте — обязательно Угольникова припаяет. «Да он, знаешь, на царя, на Распутина вещи поставлял, нарочно в Питер ездил». — Какие вещи? «Из голубой кости». — Ладно, — думаю, и удивляюсь, как человек с такой откровенной биографией невредимо поживает до нашего года и как ему не прописали ижицы?

Вы уже, товарищи, знаете, что до нашего приезда население районов так было загнано в бутылку, что никто пикнуть не смел. Выступишь на собрании, об'яснишь, для чего сюда приехал — «задавайте, граждане, вопросы» — молчат. Молчат и молчат, воду в рот набрали. Пройдешь по деревне — тишина, все в сторону шарахаются, будто ты не представитель рабочей власти, а пугало, честное слово. Вот какое наследие — что хочешь, делай!

Вкратце, отбросив всякое комчванство, скажу — с помощью бедноты удалось пробить этот лед и, все равно как непобедимому нашему ледоколу «товарищу Красину», вывести на чистую воду.

И тут открывается картинка — товарищ Угольников с малых лет работал у Гурьева, и с малолетства тот Гурьев чинил ему препятствие, совал палки в колеса и тормозил нормальное развитие. Действительно верно — работа товарища Угольникова была передана Гришке Распутину, но в этом вина Гурьева, потому он науськал губернатора забрать угольниковский труд. А почему? А потому — Угольников страсть не любил делать святых, а резал с живой натуры, что придет в голову. За это он и пострадал в городе Ленинграде, но это длинная и старая история, значения не имеет, а времени у меня нет все описывать.

После окончания гражданской войны Угольников, как участник на восточном и южном фронтах, прибывает в Холмогоры — и тут Гурьев начинает ему строить свои козни. Тогда у Гурьева были руки коротки, ничего поделать он не мог. При местной трудовой школе Угольников организовал класс и обучал местных ребят любимому делу. Из бесед с товарищем Угольниковым я выяснил, что кроме своей работы, главной задачей он считает обучение крестьян-

ских детей резьбе по голубой кости. «Мне, говорит, начало далось с трудом, много, говорит, мне крови напортил Гурьев, хочу, чтобы молодое поколение не знало о мучениях». Действительно верно. Из ребят стали появляться настоящие мастера (их работы на местные и современные темы находятся в архангельском музее) — как Васильев, женатый на дочери Гурьева, заступил на пост председателя рика — и все пошло шиворот-навыворот.

Прежде всего товарища Угольникова и всю школу лишили голубой кости. Васильев и старик Гурьев сумели доказать в архангельском Госторге, что в школьной мастерской зря только изводят ценную кость и никакой пользы от ребят не приходится ждать. Надо же быть самыми настоящими головотяпами и потерять рабочее чутье, чтобы поверить, что делать заграничных попов — это пролетарское дело, а обучать детей ремеслу и иметь своих работников — это значит зря изводить кость! К ихнему позору скажем, что такие головотяпы нашлись в архангельском Госторге! Прямо волнуюсь и готов выражаться, как попало, когда вспоминаю всю канитель. Ничего, я еще соберусь со временем и напишу о них заметку в «Правду». Такие вещи надо клеймить позором.

Не думайте, товарищи, что этим дело ограничилось.

Лжеартель здорово, видно, боится молодых школьных сил и товарища Угольникова. Что же они делают? А вот что. Костянику нельзя заниматься другим физическим трудом, потому что портятся руки, а у них вся сила в руках. Зная это, Васильев нарочно посылает лучших учеников Угольникова на окорочную работу. Сам же Угольников об'является кулаком, хотя он самый советский товарищ и работник. Его и семью его лишают продовольственных карточек, у него реквизируется имущество — серебряная цепка в полтора метра и часы, которым цена два червонца. Этого мало, товарищи! Поднимается дело, что Угольников работал на Гришку Распутина и еще на кого-то там, что он явный монархист и... У меня, друзья, не хватает терпения перечислять всю эту канитель и чепуху.

Что же трудовое население, спросите вы — так и молчит? В том-то и дело, что — нет. Мне удалось откопать в Архангельске не одно коллективное заявление на неправильные действия местной власти. Но заявления эти клались под сукно. Бюрократизм, одним словом, чтобы не сказать крепче.

Конечное дело — товарищ Угольников восстановлен в своих правах и получит материал — для себя и для школы. Нечего и говорить, что молодые костяники были сняты с окорки в первый же день, как выяснилась вся эта история. На всю эту канитель я потратил десять дней

Еще раз прошу выделить общественного обвинителя от нашей фабрики (за это и многие другие дела будем показательно судить Васильева), хорошо бы товарища Крылова. Много времени у него не займет, а значение будет иметь политическое.

Присылайте бумагу и конверты — не на чем писать — и выпишите для нашей избы-читальни два номера «Правды» до конца года и десять номеров «Крестьянской газеты».

Ну, друзья, на этот раз хватит. Расписался.

Остаюсь с товарищеским приветом

Николай Милов».

Записки Мосолова

Повесть

А. Толстой и П. Сухотин

(Продолжение)

Перед от'ездом Уорд набросал воззвание (перевод Магдалины) и размножил в миллионах экземплярах. С этим грузом он поехал по городам Сибири. Магдалина сопровождала его (одетая в замшевую куртку, в папахе с бело-зеленой лентой наискось). Летучки они начали разбрасывать с первого же раз'езда. Ваня принес мне один из таких листочков:

БРАТЬЯ, РУССКИЕ![1]

Мы пришли сюда, чтобы помочь русским людям в борьбе против большевиков. Мы пришли по доброй воле, желая, чтоб у вас воцарился тот мир, которым сейчас пользуется Англия. Мы знаем, что большевики тираны, поправшие правду. Уже 20 английских кораблей прибыли во Владивосток. Они нагружены военным снаряжением, ружьями и амуницией. Нам самим нужны корабли, для подвоза пищи и сырья в Англию, но мы охотно даем их вам, желая послужить святому делу вашего освобождения. Мы, английские офицеры и солдаты, опытные в обращении с нашими орудиями, охотно явились научить наших русских братьев употреблению танков, аэропланов, ружей и пулеметов английской системы.

Обращаемся ко всем, кто хочет мира и восстановления прежних дружеских отношений с Англией: притти и соединиться опять с нами. Придите к нам, братья! Приводите к нам обманувших вас комиссаров, а уж мы им покажем правду!

Английский солдат.

[1] Подлинная агитка 1919 года. Ред.

...(Магдалина записывает) ...Наш поезд пропускают почти без задержки. На станциях — эшелоны с войсками, идущие на запад, и длиннейшие поезда полуразбитых вагонов и платформ, набитых беженцами. Спасаясь от революции на восток, они везут домашний хлам (унылое впечатление от этих внутренностей человеческих жилищ) — узлы, мешки, чемоданы, ящики, мебель. Мы с Уордом долго смеялись, глядя, как на одной из платформ комфортабельно расположился на двуспальной кровати бородатый человек, в собачьей дохе и полярной шапке. Он курил трубку, защищенный от ветра зеркальным шкафом и рогожами, натянутыми на железнодорожные щиты.

Из теплушек приветливо курится дым, — там тоже кровати, кресла (даже обеденный стол, накрытый клеенкой), дети, собаки. Рассказывают, что эти дома на колесах достаются за очень высокую плату. В них путешествуют целыми месяцами, удирая от надвигающейся революции и возвращаясь, когда она отступает.

Мчимся беспредельными, снежными равнинами (конец февраля). Часами не видно человеческого жилья. Суровый и

пустынный край: население, страшась горячности атаманов, уходит подальше от полотна, в глушь... Те, кого мы видим из окон, похожи на людей каменного века, — в шкурах, бородатые, рослые, угрюмые... Уорд много фотографирует. На остановке, где был базар, он купил несколько глиняных горшков, украшенных орнаментами, совершенно такими же, как неолитические черепки. (Посылает их в Британский музей). Мы, как существа из какого-то высшего мира, двигаемся по этому дикому краю. Наш вагон — чудо комфорта. Уорд позаботился украсить салон чудными персидскими ковриками. Блестит лакированное дерево. Тепло, хорошо пахнет трубочным табаком и настоящим мокко. В купе тончайшее полотняное белье — тоже забота Уорда. У нас отличный повар. По всей линии — приказ не задерживать с паровозами. Конечно, мы ломаем все железнодорожные графики, и это свинство, когда посмотришь на посторонившиеся на запасные пути поезда с грязными беженцами и серые солдатские эшелоны. Но наша цель слишком значительна. Уорд должен отослать в Лондон отчет о своих впечатлениях, а от этого зависят и дальнейшие кредиты и температура общественного мнения, несколько, к сожалению, пониженная за последнее время... (В этом направлении большевики стараются во-всю). Помогают и наши «левые» дурачки, — возмущенные какими-то там атаманскими ужасами... Как будто гражданская война ведется в перчатках... Лес рубят — щепки летят...

...Наше первое выступление — в Иркутске. Командующий военным округом, комендант города, городской голова, председатель земской управы, председатель военно-промышленного комитета, — все власти извещены о нашем прибытии. С трудом уклоняемся от официальной встречи (мы — демократы). В ремонтных мастерских — трибуна, украшенная бело-зелеными и английскими флагами. В президиуме почтенные железнодорожные деятели, кооператоры и один рабочий. Уорд с улыбкой входит на трибуну (я стою рядом, перевожу по-русски) и открыто, честно, начинает излагать свою точку зрения: он говорит о возрождении спокойной трудовой жизни в рамках законности, свободы и частной инициативы и, как всегда (любимая тема), — о счастьи, о счастьи труженика. Описывает жизнь английского рабочего, шаг за шагом, без резких порывов и насилия, завоевывающего право на счастье... Борьба оружием, разрушение, ненависть — плохой путь.

Я перевожу фразу за фразой, мне жарко, снимаю папаху, чувствую — все глаза устремлены на меня. Я начинаю овладевать этими сумрачными сердцами. Слушают молча, но по выражениям лиц (грубых, запачканных маслом, сажей) замечаю, что слова падают живительной влагой. Мы кончаем. Молчание, — они переживают. Уорд вполголоса мне: «Впечатление огромное». Несколько человек пытаются разбить единодушие, — грубыми и насмешливыми голосами с места задают вопросы:

«Почему нужно стремиться восстановить порядок, который позволяет немногим грабить многих?»

«Разве пролетариат, уничтожая собственность, не возвращает только то, что ему принадлежало и принадлежит?»

«Как вы считаете, мировая война — тоже путь к счастью?..»

«Без порывов и насилия...»

В аудитории — сдержанный смех. Председатель косится на Уорда и звонит. Я сбрасываю куртку, залпом выпиваю полстакана воды и начинаю говорить об анархическом строе души русского человека, о дикости и некультурности и отсюда — безумной идее разрушения... «Друзья мои!..» Приветствую насилие и уничтожение, когда вы идете в тайгу и вырубаете лесную глушь, чтобы очистить место для пашни... Но существующий во всем мире порядок — не дикий лес!» Лицо горит, волосы рассыпались... Стол президиума аплодирует. Уорд (когда возвращаемся в вагон) говорит: — «Я потрясен, Магдалина, — у такой маленькой женщины такая власть над толпой...»

...Поездка идет блестяще. Останавливаемся на всех станциях, где ремонтные мастерские. В Канске курьез: аудитория настолько политически невежественна, что голоса с мест (насмешливые и высо-

комерные) утверждают, будто трэд-юнионизм — буржуазное движение. Уорд блестяще разрушает этот предрассудок. Рабочие, разумеется, убеждены, но, по обыкновению, молчат, а вначале был такой лед и недоверие, будто их собрали не на митинг, а на экзекуцию. Причина этого — коварный обычай атаманов собирать рабочих на политический доклад, а потом арестовывать крикунов и допрашивать в следственной камере. В Богатоле, по просьбе местных властей, Уорд произвел расследование о брошенном в тюрьму каком-то австрийском подданном. С первых же слов Уорд раскусил эту птицу,— отпетый негодяй и убежденный большевик. После нашего отъезда он был расстрелян.

На последней остановке перед Читой долго ждем отправления. Паровоз давно взял воду, но его почему-то не прицепляют. Внезапно нас отводят на запасный путь, — Уорд в бешенстве. Станция пуста, как выметенная. Какой-то дикий человек, увешенный гранатами, указывает на три пульмановских вагона с мощным паровозом под парами, оказывается, — поезд атамана Семенова: этой ночью на станции был налет красных и атаман его ликвидировал. Сидим в салоне, ждем, что будет дальше. Немного жутко. Вдруг раздается сумасшедшая музыка, — рожки, трубы, дребезжат тарелки, бухает турецкий барабан. Мимо вагона валит толпа, колотят в бубны, размахивают шашками, приплясывают, — скуластые, косоглазые, в монгольских шапках, в офицерских фуражках, у всех — пулеметные ленты, иные увешены револьверами, часовыми цепочками, гранатами. Останавливаются у нашей площадки. Уорд строго поджимает губы. Музыка смолкает, вагон слегка встряхивается, и к нам входит... не входит, а будто подкрадывается, широкоплечий, низенький человек, с большой головой. Лицо — плоское, монгольское, круглые, не мигающие черные глаза. Одет в японский халат с собольим воротником, соболями на подоле и на обшлагах. На меховой шапке бляха в виде двуглавого орла. На туго перепоясанном наборном ремне кривая, в серебряных ножнах, сабля и два кинжала. Уорд говорит мне сквозь зубы:

— Он похож на самурая.

Настороженно глядя на нас, человек медленно закрывает дверь. Торопливые зрачки быстро оценивают, нет ли засады. Но в купе только безоружный Уорд и я. Азиатская улыбка ползет на его губы, на матовые глаза. Кивнув, хрипит простуженным голосом (купе наполняется спиртным перегаром):

— Атаман Семенов...

Уорд добродушно протягивает обе руки, говорит, что очень ждал этого свидания, так как нужно наконец разрешить затяжное недоразумение между атаманом и адмиралом, — этого ждет Россия, этого ждут союзники. (Я перевожу).

Семенов со снисходительной усмешкой садится к столу (без приглашения), вынимает огромный золотой портсигар с монограммами (пальцы короткие, плоские, грязные), постучав папироской, закуривает, пускает дым из ноздрей и быстро оглядывает меня всю. Подняв брови, со вздохом:

— Не больно хорошо адмирал показал себя в правительстве генерала Хорвата... Да и то сказать, когда было ему в Харбине заниматься политикой, — деньги выкачивал из Китайской дороги. Ох ты, мать честная, сколько денег нагреб!

Уорд строго:

— Деньги шли на организацию белой армии.

— Ну, там, куда денежки шли, мы не знаем. Японское командование имеет на этот счет определенное мнение. (Семенов бросил папироску на ковер, вынул из кармана халата шоколадную плитку, разломал и положил в мою чашку с недопитым кофе...) Он и мне предлагал деньги, а на чорта мне... Адмирала со всей армией куплю, да не на бумажки, на золотые цены. (Размешая шоколад, выпил, поморщился, плюнул). Я не злопамятный. Для общей политики — надо, так и прохвоста в задницу поцелуешь. Вы давно из Омска-то? Ну да, тогда вы еще не знаете, — я адмирала признал на федеративных началах.

Уорд просиял:—«О, наконец-то, слава богу. Вы сделали большое дело. — Семе-

нов потянулся за бутылкой коньяку, понюхал, налил в ту же чашку.

— Дело не слишком большое. Есть у меня задачи покрупнее. Японцы в одну авантюру тянут, да я еще думаю (прищурясь и опять оглянув меня). Я по матери — монгол, из рода Чингиз-хана. Мои люди предлагают, и японцы широко идут на это, но, конечно, такое дело нельзя тяп да ляп, — надо согласовать с державами. (Передернул плечами и спиной потерся о диван). Да, зовут... Но не решил еще сам для себя, — президент или император. Монголия—страна невежественная, император для них понятнее. Воевать больше не буду. Ну ее к чорту, эту войну! Подпишу договор с Японией, — пускай строят города, фабрики. Страну надо культивировать. В японских газетах они меня так и окрестили: Микакики-Хурикики (хрипло захохотал, загремел саблей). Чума их знает, что такое! По-нашему, вроде, «мужественный рыцарь степей».

— Насколько понимаю, вы хотите стать императором Монголии? — спросил Уорд.

— Повторяю — дело пока еще мною не решеное. (Выпил коньяк, начал собираться). Так вот, вас тут маленько задержали на станции. Теперь скоро отправим. (Вдруг ткнул в мою сторону пальцем). Супруга русская? (Уорд растерянно взглянул на меня). В Харбине одно время тоже были дамочки — графини, баронессы, выбирай любую. (Подмигнув, оправил пояс, шашку). Так что не получи я вчера сведения, большевики пустили бы вас под откос.

Он подал мне цепкую руку, похлопал по плечу Уорда и, звякая шпорами, пошел из вагона. Опять началась дьявольская музыка. Окруженный конвоем, атаман прошел в свой вагон. На крыше сидел пулеметчик, в хвосте поезда, на платформе — скорострельная пушка, впереди паровоза — пулемет. Пронзительные свистки — атаманский поезд ушел.

Но мы все еще не трогались. Уорд вышел на перрон ругаться. Оказалось, что по линии к нашему паровозу ползет какой-то раненый человек, размахивая флагом. Мы поспешили к нему. Это был стрелочник, — рассеченное шашкой лицо и перебитые ноги. В полузабытьи, захлебываясь слезами и кровью, повторял: «Убили, убили» и, оборачиваясь, указывал на железнодорожную будку. Там мы увидели омерзительную картину расправы над семьей бедного человека. На полу, навзничь, в лужах крови, лежала мертвая женщина. Из ее вздутого, распоротого живота торчала ручка еще не родившегося младенца. Рядом валялась голая девочка с размозженной головой. В углу, на корточках, сидел китаец. Я крикнула ему: «Кто эти злодеи?» Китаец поднял отрубленную по локоть руку, обмотанную кровавым тряпьем:

— Атамана рубиля, кричала — болесевики, болесевики...

. . . .

Колчак на фронте подал рапорт о выздоровлении. На законном основании взял на дом папку фронтовых сводок. Хаос в бумагах ужасный, — тут же попадаются сведения контрразведки, концы и начала секретных докладов. За мое отсутствие выросла в большую персону фигура Гайды, — человек не без талантов, но какой блестящий путь от фельдшера австрийской армии до русского полководца. Чтобы перейти на службу к нам, потребовалось только угодить офицерью и их ненависти к демократизму. Арестовав членов чешского военного комитета, Гайда произвел сенсацию и снискал благословение Колчака. Приезжал в Омск и плакался правителю на преследование врагов. Получил генерал-лейтенанта и должность командующего нашей правофланговой армией, а за взятие Перми — георгия. Почувствовав себя владыкой, захватил единственную в Сибири суконную фабрику Злоказова и обмундировал свой конвой в форму императорских охранителей. Стоило это три миллиона рублей. Сопровождая Колчака в автомобиле, Гайда приказывает своим молодцам мчаться сзади и по бокам на конях. После такой безумной скачки, загнанных лошадей тут же пристреливают. Впрочем, все наши генералы чувствуют себя царьками. При взятии Перми Пепеляев захватил там все запасы и заставил местные заводы работать только на свой корпус. Гривин, Вержбицкий, Казагранди, также вели себя в других местах, а

потому в одних частях избыток всего, у большинства же — голод и нищета неприкрытая в полном смысле этого слова.

Заходил навестить меня Захржевский, рассказывал о порядках в штаверхе, у Лебедева... (Он теперь там. Читал свои похабные стихи и хвастался, что всем в ставке они очень нравятся. Шут попал на свое амплуа...)*Из его слов понял, что идет глухая борьба между Лебедевым и новым начальником снабжения бароном Будбергом. Старый барон— прямой монархист, но не из тех — икающих руганью при каждом удобном и неудобном случае, — он отшлифован, зверь вылезает из него в маске великосветского циника. Службист и по-своему честен, не понимает только одного, главного — дело не в проходимце Лебедеве, а в том, о чем говорят сведения контрразведки, хотя вряд ли они ему известны, — по обычаю канцелярии правителя такого сорта документы обычно кладутся под сукно. Взятие Перми надолго вскружило всем голову и, несмотря на все поражения нашей армии, продолжают мечтать о триумфальном шествии на Москву, а между тем крестьянские восстания настолько серьезны, что даже наши атаманы всполошились: за голову партизана Щетинкина назначено сто тысяч. По Томской и Енисейской губернии, на Алтае бродит красное пламя. Совет министров чуть ли ни каждый день в своих телеграммах молитвенно становится на колени перед Парижем. В Омске создан комитет из представителей: штаверха, министерства просвещения, охранки, какого-то «святого братства» и церквей, для уничтожения вредных книг. Сжигают Герцена и даже Толстого.. Сам Колчак на фронте для воодушевления своим присутствием бойцов за возрождение России... Но наши атаманы уже не веруют во вдохновение и воруют во-всю, чтобы обеспечить свой собственный тыл.

Вчера контрразведка донесла, что ею уличен комендант станции Омск в принятии мзды за внеочередной пропуск поезда со спекулятивным грузом. Будберг торжествующе зол. Заявился ко мне в дежурку пешком... (особый вид генеральской простоты и патриотизма)... Сел, побарабанил пальцами:

Наш комендант —
Большой педант:
Дерет и днем и ночью...
Секретно и воочью...

Стишки написаны скверно, но правильно... (улыбнулся в себя)... Слыхали?

— Слыхал.

— А в это самое время с ведома начальника военных сообщений генерала Касаткина... (вынул записную книжку, надел роговые очки и стал похож на сову)... на станции Омск были задержаны поезда с военными снаряжениями... Да-с... А красные большебукашки за два с половиною месяца от Казани доползли до Екатеринбурга, но мы сами с усами...

Правитель барона не принял, он только что прибыл с фронта и оказывается больным. Вечером должен доложить ему о деле коменданта и генерала Касаткина (они арестованы)...

Позвонил колокольчик. Я собрал папку. На пороге, за портьерой, меня ждала Анна Васильевна.

— Не бойтесь его, он вас любит... И попрежнему прошуршала платьем. Мой страх — ее собственный вымысел, но сознаюсь больше, чем когда-нибудь, мне нужно быть около него.

Я вошел в спальню.

Адмирал лежал на диване. Нос выпятился и на тени особенно велик.

— Вы оправились?

— Так точно... (Даже руки не подал, она за бортом куртки, и так же по-наполеоновски — сбита на лоб челка).

— Покороче, я нездоров...

Но я знаю, что он здоров и хочет поскорее избавиться от неприятного доклада. Намеренно докладываю безо всяких экивоков:

— После опроса следователя по особо важным делам преступники...

— Какие преступники? (Адмирал кричит и дергает под пледом ногой).

— Комендант станции Омск и генерал Касаткин...

Быстрым движением плеча, подминая подушку:

— Дальше... (Голос хрипит, значит раздражен).

— Они указывают на своего сообщника—начштаверха генерала Лебедева...

Адмирал сбросил с себя плед, спу-

стил с дивана ноги и, стараясь поймать туфли, ерзает ими по коврику:

— Передать дело другому следователю, а этого.. (отпихнул туфлю, опять лег и махнул рукой, словно на муху) — надо уйти. И только что я вышел за дверь — в спальне затопали необутые ноги и затрещал телефон.

История заминается. МООР действует во-всю. Чтобы отвлечь внимание любопытных, атаманом Красильниковым открыт заговор в покушении на адмирала. В офицерских кабаках неистовые пьянки и разговоры о «жидах» и «немцах». Второй день не могу найти Ваню. Началась комедия выражения адмиралу поздравлений по поводу избавления и прочей ерунды. Заезжала Магдалина справиться, когда правитель может принять Уорда. Сперва мило болтала и сплетничала, потом выспрашивала о новостях с фронта и обиняками под'езжала — не скажу ли чего-нибудь о слухах по поводу отозвания из Сибири английских войск. Кажется чует, что мечты ее о поездке с полковником в Англию разлетаются... (он не так глуп, а что касается женщин, то любая обкуренная трубка, прибавленная к его коллекции, заменит ему любовные ласки)... Магдалина со мной нежна, это меня устраивает.

Благополучной судьбой железнодорожных воров (генерал Касаткин на свободе) возмущен главнокомандующий фронтом Гайда. Экстренно примчался в Омск и требует суда и расстрела. Никто с такой помпой, даже атаман Красильников, не езжал по нашему городу, — Гайда, как говорят с восхищеньем офицеры, — всем насыпал. Улица перед домом верховного правителя заставлена автомобилями, биение моторов, треск подков... (конвоиры осаживают коней)... на бегу, с рукой, прилипшей у козырька, докладывают друг другу по чину сопровождающие главнокомандующего. Еще на ходу, откинув автомобильную дверцу, выскакивает из машины ад'ютант, за ним рывком, опершись на соседа, — седой генерал, — выпрямляется большая фигура Гайды. У него слетает фуражка— на широких плечах яйцом вытянулась голова, и на ветру скачут длинные патлы желтых волос... Он что-то говорит, — на выпяченной нижней челюсти сверкают золотые зубы.

Неистовая, с сипотой, команда по караулу, поместившемуся у парадного входа, — и Гайда, как ветер, врывается в приемную правителя...

Меня подмывает любопытство, и деревянным голосом я повторяю слова Колчака:

— Верховный правитель России приказали сообщить вашему высокопревосходительству, что оставление вами фронта в момент особо тяжелых операций по отводу наших войск в тыл, он считает нарушением боевой дисциплины и приравнивает ваш поступок...

Гайда сильной рукой сжимает мой локоть. Я вижу, как на его нижней выпяченной губе пузырьками накапливается слюна, в горле его клокочет животный рык, и вот-вот грянет мне прямо в ухо. Невольно сам повышаю голос:

... приравнивает ваш поступок дезертирству...

Гайда отскакивает от меня, хочет что-то сказать седому генералу, но молча отбегает в угол и оттуда кричит:

— Я требую! Мы требуем! Я требую!

Скандал полный. При его имени Колчак зеленеет и ломает карандаши (этого с ним прежде не случалось)... Гайда обвиняется в большевизме, и у меня лежит приказ о его аресте, но он давно выехал из Омска.

В дежурке вертится корреспондент РТА, — во всем заграничном, с вечным пером, но воняет от него так же скверно, как от жандарма Дудкина. Сегодня в газетах:

«В высшем командовании армии, произошли некоторые перемещения. Начальник штаба верховного главнокомандующего, генерального штаба генерал-майор Лебедев получает новое назначение. Главнокомандующий фронтом генерал-лейтенант Гайда получает отпуск и уезжает на восток для отдыха...

Главный начальник военных сообщений генерал-майор Касаткин увольняется от занимаемой должности.

Начальником штаба верховного главнокомандующего назначается генерал-лейтенант Дидерикс, с возложе-

нием на него временно исполнения обязанностей главнокомандующего Восточным фронтом».

В гранках, присланных нам «для сведения», вычеркнуто синим сообщение об от'езде генерала Дутова на ликвидацию забастовки Китайско-Восточной железной дороги. Берет тревога, — узнал, что Ваня там. Его мать — Прасковья Лутошина — после гибели мужа пристроилась в стрелочницы. Видел ее у будки на путях, когда ходил осматривать вагон верховного правителя. Петр арестован, сидит в комендантской казарме. Условия мне известны, — подвал без света, вода для умыванья и для питья из лужи со двора, куда выпускают арестантов за нуждой. Стойкость и простота в горе Прасковьи Лутошиной изумляют, она не окаменела, наоборот, — напрягла весь остаток сил, но замолчала, и если говорит, то слова ее тяжелы и холодны, как куски стали.

Каждый день по нескольку приказов и воззваний. Спешно приручен к ставке правителя генерал Пепеляев, — слывет за оратора и демократа, красно и со слезой пишет. Бегает в военное министерство к машинисткам со своими сочинениями и напевает им фистулой романс Чайковского:

Средь шумного бала, случ
В тревоге мирской суеты...

Наконец-то разродился:

«Граждане. Настал грозный час военных событий.

Большевистские деятели, во главе с Лениным, напрягают последние усилия и поставили все на карту, чтобы прорвать железное кольцо народных армий, окруживших Россию.

Красными использовано все, что можно. Они усиленно развили агитацию, разбрасывая миллионами листы с самыми льстивыми, гнусными обещаниями.

В армии у них введен суровый террор, и каждому комиссару дано право убивать солдат за малейший проступок.

В занимаемых ими местах они немедленно мобилизуют все мужское население, ставя его под ружье, забирают все припасы, лошадей, коров, хлеб.

В самой Советской России стоит страшный голод, грабежи, своеволие, убийства.

Отдельные отряды мадьяр, китайцев и латышей служат главной опорой большевиков как в тылу, так и на фронте.

Наша армия, ведя неустанно и бессменно войну, не выдержала и отошла, отдав снова в руки врага сотни тысяч граждан на грабеж и разорение.

От имени умирающих за святое дело свободы и равенства я обращаюсь к населению:

Все на борьбу с врагом.

Без всяких различий веры, положения, состояния, — каждый должен помочь всем, чем может.

Идите добровольцами, кто может.

Я обращаюсь к земству.

Призовите население к борьбе с врагом, попирающим все права народа.

Я обращаюсь к духовенству:

Призовите народ к борьбе за веру, святыни русские.

Я обращаюсь к крестьянам:

Встаньте на борьбу за разграбленные села ваши, за Учредительное собрание, за землю и волю.

Я обращаюсь к рабочим:

Не верьте темным слухам, которые злоумышленники распускают среди вас. и встаньте на борьбу с красным злом, по примеру героев воткинцев и ижевцев.

Я обращаюсь ко всем партиям:

Отбросьте партийные споры и разногласия, единая родина, великая и неразделькая свободная Россия — вот лозунг, который должен об'единить всех.

Мы, сибиряки, не можем допустить и никогда не допустим гибели родины. Враг будет разбит, но мы ждем помощи от всего народа...

За свободный труд, за землю и волю, за Учредительное собрание вперед!

. . . . . .

— Кого суды прет?

В слякотной ночной мгле двора комендантских казарм ничего не разбираю.

— Ад'ютант верховного правителя...

— Покажь пропуск их благородия есаула... (На меня лезет борода и хлюпающий нос казака)... Чего еще тута?..

Сую ему бумажку, он мнет и гыкает:

— В кабак это пропуск харошай... (Запихал кредитку под картуз и опять нагло захлюпал носом...)

— Пропуск забыл... неважно... — Я смело шагаю ко входу в казарменный флигель. Знаю, что подвал там. Казак хватает меня за рукав, и это спасает мое положение. Я кричу (проверив на себе, что ночной долгий шопот всегда подозрительнее крика):

— Как смеешь, офицера!

— Кого...

Казак еще что-то бормочет и, уже не препятствуя мне, идет вслед до дверей и в коридор. Там я громко ему шепчу:

— Адмирал Колчак велел проверить на месте ли арестант Петр Лутошин... Понимаешь?.. (Казак сопит)... И если он по заговору с генералом Гайдой бежал, то, понимаешь, что я должен сделать?.. Понимаешь? Отопри сейчас же!

Заметив лестницу вниз, иду туда. Казак сопит около двери и трет об нее локтем, отыскивая ощупью замочную скважину, бормочет:

— Стало-ть, бывали здеся...

Где-то капает и под ногами чавкает вода. В открытую дверь лезет крепкое зловонье, кто-то начинает стонать, как в степи колесо.

— Петра Лутошин, тебе поверка...

Не помню, как пришло в голову:

— Ты что ж там! Это тебе не у матери Прасковьи сидеть. Смотри у меня!

— Сиживал и с братом Иваном...

Казак засапел и рявкнул:

— Как ты можешь их благородию!..

Но дело сделано: записка соскользнула в холодную ладонь Петра:

«Заяви, что согласен только лично рассказать мне о своей причастности к заговору генерала Гайды».

Я крикнул: «на замок!» — и поспешил уйти.

Конец первой части.

1930

Е. Габрилович

1

Я приехал в Азулино вечером третьего января 1930 года. Был буран. Мой вагон шел последним. Я долго плутал по шпалам, прежде чем попал на перрон. Наконец, увидел я коричневый вокзал. Коричневая краска обледенела. Какой-то гражданин вырезал ножом на льду: «Товарищи, до Уфы 25 километров». Тут же висело расписание Волжского пароходства. Расписание изображало пароходы, дымившие на середине реки. Все пассажиры гуляли. Шумели волны. На мостике стоял капитан.

Я вошел во внутреннее помещение вокзала. Здесь увидел я буфетчика, носильщиков, кассира. Был одиннадцатый час ночи. Всем хотелось спать.

Большая татарская семья лежала вповалку в зале третьего класса. Мужчины лениво оглядывались, бабы причесывались огромными металлическими гребнями. Плакал мальчонка. Мать кормила его, придерживая ладонью за спину. Мальчонка одет был в длинные ситцевые штаны, но посреди их — от спины до живота — виднелся разрез, широко освобождавший ребяческие ягодицы.

Путь мой лежал в Саргар, в сторону от Азулина. В Азулине я должен был пересесть на новый поезд. Как выяснилось, поезд этот ушел. Мне предстояло ждать другого поезда до трех часов следующего дня. Я отправился к начальнику станции просить содействия. В руках у меня был мандат Средне-Волжского крайколхозсоюза с надписью: «посевная». Выслушав меня, начальник принялся кричать. Стукнув кулаком по столу, он спросил, кто будет заботиться о движении поездов, если он станет думать об опоздавших пассажирах. Я неумело молчал. Тогда, ободрившись, начальник крикнул: «Шляются, лодыри!» Он кинул мандат мой на пол, топнул ногой и вновь поднял мандат. Затем мы оба помолчали. Помолчав, начальник приказал старшему товарного поезда, отправлявшемуся в Саргар, взять меня с собой.

Списав номера вагонов и получив накладные, старший вышел со мной на перрон. Буран рычал. Снег падал стеной, сломанной, как старая решетка. Нельзя было увидеть ни надписи на льду, ни расписания пароходства.

С трудом различил я поезд. Старший усадил меня на тормозную площадку одного из вагонов. Здесь уже сидел, закутавшись в шубу, дежурный кондуктор. Паровоз загудел, мы тронулись. Ветер сразу прохватил меня. Каждый миг я вздувался и суживался. Руки мои окоченели. Ботинки для восхождения на снеговые высоты, купленные мною в Москве, в магазине «Турист», обледенели. Мне захотелось спать. Я подумал, что замерзаю и начал тормошить кондуктора. Он приоткрыл, наконец, свою шубу — распаренный, как купец за самоваром, но не сказал ни слова.

Подумав, я принялся отбивать чечотку трехслойными подошвами, сшитыми для снеговых восхождений. Желтый кондукторский фонарь освещал меня; кондуктор, приоткрыв край воротника, смотрел на меня, горячий, как одеяло.

Внезапно поезд застопорил. Кондуктор, ворча, слез с тамбура. Я побежал к станции. Станция помещалась в двухоконном домике, прижатом сугробами к земле. В темном углу топилась печка. Я бросился к печке. Отогревшись, я увидел телефон, часы, расписание поездов, сигнальные аппараты, дежурного по станции в красной шапке. Это был Саргар — центр колхоза «Заря» Азулинского района.

Шел январь 1930 года.

«Заря» была в плохом состоянии. Двадцатипятитысячники еще не приезжали. В правлении колхоза сидели ребята, плохо разбиравшиеся в классовой и экономической политике колхозного движения. Председателем сидел Боев, бывший пред. ТПО, телеграфный служащий.

Аппарат правления был плох. Район не смог дать колхозу ни агрономов, ни бухгалтера, ни канцеляристов: их не хватало самому району. Качество работников, посылавшихся центральными организациями на колхозную работу в январе тридцатого года (т. е. до постановления ЦК о мобилизации специалистов) — было ниже критики. Многие организации отыскивали для колхозов людей, которые не нужны были им самим. Так попали в «Зарю» Морзин, Хлескин и Ступов.

Я жил с этими чудаками в колхозном общежитии. Общежитие было невелико. В нем не было ни стола, ни стульев. Хлескин украсил стену около своей кровати фотографиями и открытками. Здесь висело все то, что обычно висит в таких случаях: Лиа-де-Путти, Фогель, Иван Грозный, убивший сына, И. П. Павлов, волосатые Эйзенштейн и Жизнева. Под кроватью у ветеринара лежала огромная клизма. Под койкой бухгалтера валялись сапоги.

Комната была закрашена масляными красками. Много вещей висело некогда подолгу в этой комнате. Вещей этих не стало. Но, содранные со стены, они оставили на ней толстые пятна. Просыпаясь, мы видели пятно часов, пятно комода, пятно занавесок. Одно пятно мы так и не смогли разобрать. Оно представляло собой длинную полосу, жирную посредине. Тень трех шаров свисала к полу. Множество лучей шло вверх. Мы спорили, недоумевая.

Нас было четверо: бухгалтер Морзин, агроном Хлескин, ветеринар Ступов и я. Трое из нас—бухгалтер, агроном, ветеринар — были людьми пожилыми, командированными на колхозную работу месткомами банков и канцелярий. Они привезли с собой свои ревматизмы. Один привез свое воспаление почек. Комната усеяна была лекарствами. Все много спали.

Бухгалтер Морзин был банковский бухгалтер со стажем в 30 лет. Он занят был составлением примерного баланса колхоза. Акты, подписанные комиссией по обобществлению, он вводил в книгу. Актов было невероятное количество. Они путешествовали в санях, ночевали в сараях. Они отсырели. Многое в них расплылось. Морзин читал их сквозь лупу и, не разобрав, бегал от стола к столу, прося помочь. Мы читали: «Принято у гр. Нелкина в счет пая 1 л. сер. 2 к. 1 сеялка. Пр. он. сав.». Дальше ничего нельзя было разобрать. Круги и пятна.

Агроном Хлескин прислан был из исследовательского агрономического института. Он мог составить любой план, обосновать любое мнение, но давно забыл о сроках посева, об условиях посева и прорастания той или иной культуры. Составляя план весенней посевной кампании, он бегал по бригадирам и спрашивал их: сколько людей надо на сеялку, сколько часов может работать лошадь.

Самым старым из всех был ветеринар Ступов, присланный шефским обществом. Ему было 65 лет. Это он был болен воспалением почек. Он приезжал к лошадям и коровам, покрикивая от колик в спине. Он клялся, ставя лошади клизму, что напишет в здравотдел жалобу на людей, заставляющих работать больного человека. 25 лет он не занимался практикой. Из всех болезней он знал хорошо только одну: болезнь почек. Он знал ее досконально. Он знал ее порошки, ее жидкости, ее мази. Он знал, какую кашу должен есть человек, больной ею, как лежать ему, какие грелки ставить. Он любил рассказывать то, что знал.

Морзин, Хлескин, Ступов и я жили дружно и каждый из нас стыдился чего-либо.

Морзин был лентяем и стыдился своей лености.

Он приходил на должность в правление колхоза в одиннадцать утра. Он кланялся сослуживцам, снимал шубу и шапку. Он садился на стул, на котором лежала подушка. Он чинил карандаш. Утро бывало холодным. Сосульки висели во всю длину окна. Морзин писал. Ему лень было писать. Лень обуревала его. Он искал и искал, оглядываясь, той подвижности, той болтовни, тех усилий, в которых соединились бы, как сестры, деловитость и лень, которая служила бы одновременно и созиданию и ничегонеделанию. Он шел к мужикам, сидевшим в передней у печки. Он принимался болтать с ними. Он хлопал рукой по газете, вытаскивал в переднюю графленые листы, клялся, мотал головой, курил, пил воду. Лень обуревала его. Он клялся, что в городе есть автобусы, телефоны, универсальные магазины. Он утверждал, что скоро там будут подземки. Он не знал, что болтать от лени.

Наконец, мужики уходили. Морзин видел пустую переднюю, грязную печь, окурки, сор и бумагу.

Он шел к себе за стол. Здесь он принимался экзаменовать своего помощника Петровкина по бухгалтерии. Он спрашивал Петровкина: куда отнести родившуюся телку и пропавшего мерина. Петровкин отвечал быстро, но ошибался.

К концу занятий Морзину становилось трудней. Он ерзал от лени на стуле. Он кряхтел. Он хватался за карандаш. Он спрашивал Петровкина опять — куда отнести телку: он стыдился своей лени. Придя с должности, Морзин садился на койку и ел. В японскую войну он был под Мукденом.

Агроном Хлескин стыдился любви к сладостям. За долгие годы службы в институте он привык сосать леденцы, жевать шоколадины. Он втянулся в конфеты и стыдился этого. Хлескин прятал от нас конфеты. Он ел их изредка, по ночам, подбрасывая обертки кому-либо из нас под кровать. Иногда Морзин просыпался в это время, скрипел, позевывал, кряхтел и Хлескин застывал тогда, как пень, держа под языком расколотую конфету. Он слушал недвижно. Он стыдился.

Доктор Ступов стыдился того, что не переносил храпа.

Каждый день приезжал к нам ночевать какой-нибудь новый человек — уполномоченный края, председсльсовета. Каждый из них чуть волочил ноги от усталости. Едва раздевшись, он падал на койку и начинал храпеть. Затем, поболтав, укладывались и мы. Раздевался и доктор Ступов. Он ложился набок, притворялся спящим. Он даже сопел, свистел, даже храпел понемногу. Но он не мог спать. Храп наш, действительно громадный, не давал ему покоя. Едва все засыпали, доктор вставал с койки. Он ударял жестяной кружкой по столу. Храп прекращался. Слышались вздохи, бормотания. Затем клокотание. Затем храп. Тогда доктор ложился на спину и глядел в потолок. Ночь шла. Лаяли собаки. Пел петух. Трещало ссохшееся дерево. Светлел восток. Доктор не спал. Изредка, приподнявшись, он ударял по столу кружкой. Затем опять не спал. Шумели крысы. Били часы. Мычали коровы. Доктор не спал. Горел восток. Дымили трубы. Близился день. Храп к утру становился все тише и тише. Доктор засыпал, наконец.

Иногда в часы ночного безмолвия пути доктора встречались с путями Хлескина. Хлескин приподымался на кровати. Оглядываясь, он вытаскивал из-под подушки мешочек с конфетами. Он принимался лизать конфеты. Доктор — ложно храпел тогда, стараясь показать себя человеком много спящим. И Хлескин, успокоившись, чмокал и чмокал, подбрасывая обертки под чужие кровати.

Всех моложе был я. Я приехал в колхоз «Заря» по поручению Хлебоцентра. Заслышав, что я журналист, ко мне начали приходить со всех сторон. Шли крестьяне, уполномоченные, кооператоры, правленцы, счетоводы, агрономы. Они рассказывали мне свои горести. Они знали только три газеты: «Правду», «Известия» и «Волжскую коммуну». Описание их рассказов, напечатанное в каком-либо ином месте, переставало быть для них описанием. Они ощущали лишь то, что было напечатано в «Прав-

де», в «Известиях», в «Волжской коммуне». Все остальное представлялось им случайным и незаметным. Они просили: «напиши в «Правду». Но я не писал. Я не был сотрудником ни «Правды», ни «Известий» и стыдился сказать об этом.

2.

15 января вечером к нам в общежитие пришел старый татарин. Он нес за спиною мешок. Под глазом у него чернел громадный удар. Нос его был разбит. Он подошел к умывальнику и умылся. Мы сидели в тот час на плоской докторской кровати и пили чай. Самовар шумел у наших ног. Чашки стояли под кроватью: мы боялись столкнуть их ногой. Умывшись, старик присел на кровать и спросил чаю. Мы выпили вместе много чаю. Затем, улегшись на докторскую койку, осененный волосатыми Жизневой и Эйзенштейном, татарин рассказал нам свою историю.

Звали его Сафатдин Касымов. Он жил в селе Новый Вериг вместе с женой, с двумя тридцатилетними сыновьями, с пятью внуками. В 1927 г., когда ему было сорок девять лет, он решил учиться русской грамоте. Сыновья запретили ему учиться. Тогда он (ему было сорок девять лет) бегал учиться тайком. Сыновья поймали его и запретили опять. Но великая страсть слагать, бормотать, водить пальцем, великое любопытство знать, что написано на вывеске, в воззвании, на этикетке — уже охватила его. Он принялся вновь (ему было сорок девять лет) бегать в школу, придумывая разные отговорки. Сыновья поймали его и избили табуретками. Четыре дня он лежал в постели. У него отбиты были почки. Тогда он бросил бегать в школу и начал учиться грамоте, читая по букварю в коровнике. Он учил так сам себя два года и выучился читать. В 1929 г. началась коллективизация. Село Новый Вериг — самое кулацкое село в районе. На собрании, посвященном коллективизации, в колхоз записалось лишь 20 дворов. Настроение было неуверенное. Тогда, с призывом вступить в колхоз, выступил Сафатдин Касымов.

Когда он возвратился домой, сыновья раздели его и, читая молитвы, дали ему сто ударов причальным канатом. Затем они выбросили его в снег на улицу. Он пролежал в снегу до утра. На следующий день, опомнившись от побоев, он пошел и записался в колхоз. Узнав об этом, жена перестала давать ему обед, а сыновья выгнали его из избы в хлев.

При распределении колхозных обязанностей Касымова назначили заведующим куроводством. Он взялся за дело горячо. Он придумал какие-то удивительные насесты. Тщательно отделив больных кур от здоровых, Касымов сократил падеж их вчетверо. Затем падеж исчез вовсе. С курятником, словом, все обстояло благополучно. Значительно хуже обстояло дело в собственном доме Касымова.

Однажды, придя домой, Сафатдин застал там муллу. Сыновья связали Сафатдина. Мулла произнес заклинание. Затем сыновья спросили Касымова: выйдет ли он из колхоза? Касымов сказал: нет. Его начали бить. Мулла прочел заклинание. Через полчаса Касымова спросили — выйдет ли он из колхоза? Касымов сказал: нет. Его принялись бить кирпичами из глины. Он упал. Мулла орал заклинания. Пропел петух. Злые духи должны были отлететь. В полночь Касымова спросили — выйдет ли он из колхоза? Он ответил: нет. Тогда его ударили табуреткой по лицу и выбросили в снег. Утром, проковыляв пятнадцать километров, он пришел к нам в правление, в общежитие. Вот и вся история.

Заслушав ее, мы побежали к старшему милиционеру. На следующий день сыновья Касымова и мулла были арестованы.

Касымова назначили заведующим колхозными конюшнями правления. Здесь он проявил удивительную деятельность. Фуража не было. Лошади голодали. Многих из них приходилось подвешивать к стропилам на лямках, чтобы не дать им упасть. Касымов принялся разбирать соломенные крыши на ригах. Он рубил эти крыши ржавой соломорезкой, найденной им невесть где. Он кипятил громадные чугуны воды, обливал кипящей водой изрезанные крыши, осыпал их солью и лошади ели их и ели с удовольствием. Он спас лошадей. Он спал в конюшне, он не отходил

от лошадей ни на шаг, он выкормил их без фуража, без денег, без помощи. Слава его прошла далеко. Конюшню и окрошку его приезжали смотреть агрономы из района и из округа.

Предправления Боев призвал его к себе, поблагодарил и сделал заведующим мастерской по починке плугов. Мастерской этой не было вовсе. Были толевая крыша, зазубренный молоток, прорванный, как старый барабан, горн. Касымов зашил горн и взял в руки молоток. Он принялся стучать, гнуть, накалять докрасна. У него не было ни угля, ни железа. С утра отправлялся он разыскивать по сараям железные листы и прутья. В полдень он шел с мешком на станцию к машинистам. Те давали ему уголь. Вечером он садился за работу. Он ремонтировал по полплуга в ночь. Этого было мало. Он написал заявление в партколлектив и ему дали пять комсомольцев. Касымов достал железа и научил комсомольцев работе и песням, которые надо было петь, чтоб работать быстрей. Дело пошло. К 5 марта мастерская выпускала уже в день два плуга. Касымов чинил и чинил и дочинил бы все плуги, свезенные к мастерской, до конца, однако, нетерпеливый Боев, поблагодарив, сделал его заведующим шорной мастерской.

Здесь опять не было ничего. Была баня, в которой висели клещи — деревянные остовы хомутов. Не было ни войлока, ни кошмы, ни кожи. Заведующий Касымов принялся бродить по деревне. Он искал теперь гвозди, войлок, кожу. Он находил. Он находил их в местах самых удивительных — в ямах, на печке, под кроватью. Они лежали здесь годами, настолько сросшиеся с предметами, которые они прикрывали, над которыми висели, к которым были прибиты, что хозяин не видел их уже отдельно, не ощущал их как предметы, которые можно отделить, вытряхнуть, отдать: они стали печью, ямой, кроватью, как становятся печью — кирпичи, ямой — земля, кроватью — матрац и железные прутья. Касымов отделил их и начал чинить хомуты. Затем он принялся делать кнуты, чресседельники, постромки.

Время было тревожное. Перегибы, бесхозяйственность правления, кулацкая агитация волновали крестьян. Со всех концов колхоза шли в Саргар ходоки, чтобы послушать, что делает председатель Боев, как полагает он сеять, что говорит он по поводу отсутствия фуража. Ходоки несли с собой заявления и просьбы. Здесь были просьбы о близкой весне, об отсутствии денег, о ремонте, о триеровке, о болезни, о старости, о молодости, о разводе. Из самых отдаленных деревень шли ходоки.

Они шли ночь, утро. Они приходили к вечеру, таща в торбах исписанную бумагу. Но крестьянам, пославшим их, было мало этого. Пугаясь, что заявления могут не дойти, что ходоки могут загулять, заболеть, поломать ноги, крестьяне слали им вслед новых ходоков с такими же заявлениями. Эти ходоки приходили на следующий вечер. Но крестьяне беспокоились. Для верности они посылали третьих ходоков.

Шло множество народа. Шли татары, мордвины, чуваши, русские. Все шумели на разных языках. Все рвались в дощатый домик правления. Дверь от комнаты правления бывала заперта. Эту дверь толкали, гладили, щелкали каждое утро ходоки. В полдень дверь открывалась. Выходил председатель. Он был молод, белокур, в лаковом козырьке и в синей рубахе. Ходоки пяти национальностей глядели на него, разинув рты: это был Боев, слухи о нем гремели повсюду.

Выйдя из кабинета, Боев лез на громадную двухэтажную конторку, чтобы увидеть собравшихся и произнести речь. Под'ем на конторку был труден. Боев срывался, его поддерживали. Наконец, взобравшись, Боев снимал картуз и отирал пот. Все стихало. Он говорил, требуя немедленной, стопроцентной коллективизации, сбора постромок, сбора целевых взносов, обещая увеличить посевную площадь на сорок процентов.

Сказав все это, Боев слезал, вытянув ноги, с конторки. Тут разражалась буря криков. Ему кричали: «Как сеять», «Будем жаловаться», «Я хочу, жена не хочет», «Коров куда ставить», «Вранье», «Отдай лошадей», «У нас 15 стариков», «Куда детей девать», «Брехня», «Почему нет трактора».

Боев продирался к двери. Его обступали ходоки. Ему всовывали в руки громадные списки; ему кричали на пяти языках: «нет трактора, жена не хочет, куда детей девать». Председатель пробивался руками и бедрами. Толпы останавливали его наконец. Хлескин, Морзин и счетоводы бежали ему на выручку. Его вытаскивали за плечи, за пиджак, за рубашку. Он удалялся в комнату правления.

Ходоки оставались. Они стояли, курили, разговаривали. Они толкали, шлепали дверь, в которую вышел председатель. Вечером они отправлялись в обратный путь.

12-го марта получена была статья т. Сталина «Головокружение от успехов». 14-го пришло постановление ЦК, раз'яснившее подлинную политику партии в колхозном вопросе и клеймившее перегибы. Боев был смещен. Было смещено правление «Зари» и руководство партколлектива. В новое правление вошел двадцатипятитысячник Никаноров, два представителя бедноты, один середняк. Секретарем партколлектива выдвинут был рабочий Азулинского депо Загоров. И новым предправления избран был по требованию колхозного актива б. зав. механической, б. зав. шорной, б. зав. конюшнями Сафатдин Касымов.

3

Касымов принял дела в момент общих выходов из «Зари». С утра в правление бежали все: мужики, бабы, слепцы, старики, старухи, припадочные, девки, мальчишки, дети. Все кричали и все размахивали заявлениями. 14-го марта, на первом своем заседании, новое правление постановило раз'ехаться на места для массовой раз'яснительной работы. Касымову достался южный район «Зари». Я отправился вместе с ним.

Мы ездили из села в село. Прибыв в село, Касымов созывал в народном доме сход. Это были народные дома, дымные и закоптелые, хранившие в своих стенах следы всех схваток великой весны. Здесь виднелись окурки, валявшиеся еще с декабря, болтались обрывки — приклеенных еще в ноябре — плакатов. Это были те великие дощатые дома, которые дали кров, стол и лампу всем борцам за первый большевистский сев. Дома эти бывали грязны. Поля и леса — гнилые останки какого-то декабрьского спектакля — висели на их эстрадах. Зимний ветер заволжских полей бил их окна, топот ног — радостных и протестующих — разрушал их.

Толпы валили на сход. Едва Касымов всходил на эстраду, как сотни вопросов летели в него со всех сторон. Это был вихрь, штурм, самум вопросов. Надо было быть агрономом, инженером, ветеринаром, экономистом, метеорологом, юристом, чтобы ответить на все вопросы. Касымов, старый татарин, не был никем из них. Более того, он не был даже оратором. Говоря вступительную речь, он путался в трех словах. Реплики с мест сбивали его настолько, что он закрывал глаза, облокачивался на стол и казался спящим. Зал орал. К Касымову подскакивали с мест, теребили его халат, ругались. Касымов молчал. Понемногу собрание успокаивалось. Оно видело, что перед ним стоит человек, хоть примолкший и закрывший глаза, но ждущий сказать. Молчание приходило само собой. Тогда, встрепенувшись, Касымов вызывал к себе на эстраду кого-нибудь, кто сидел поближе. Касымов начинал громко говорить с этим человеком. Он узнавал имя и отчество своего собеседника и называл его по имени и отчеству. Тут-то собственно и начиналось собрание. Касымов, этот оратор, не умевший произнести трех слов, обладал каким-то гениальным пылом личного разговора. Он видел человека, видел покачивание его головы, его бороду. Он видел и понимал его сомнения, как видят дом, лес, лужайку, — и ответы, для которых надо быть экономистом, инженером, агрономом, срывались с его губ сами собой. Это была самая проникновенная агитация, которую мне довелось когда-либо слышать. Колхоз дышал, как человек, в словах Касымова. Колхоз сбивался, спешил, удивлялся. Колхоз терял вещи, сомневался, позевывал и оглядывался. Собрание, затаив дыхание, слушало этот удивительный диалог.

Сход продолжался пять-шесть-семь часов под ряд. Касымов выбирал себе собеседника за собеседником. В конце концов он добивался перелома настрое-

ния. На седьмом часу собрания подымались с мест колхозники. Они благодарили оратора и клялись построить колхоз и прекратить выходы.

В четвертом часу утра Касымов об'явил собрание закрытым. В восемь мы ехали дальше.

Так прошло три недели. Иногда ночью я читал Касымову, по просьбе его — газеты. Я читал ему газетные лозунги, пытаясь растолковать их. Заслушав лозунг, Касымов пугался; стальная прямолинейность лозунга заставляла его бледнеть: не допустил ли он какой-нибудь ошибки. Он пугался так, что я пугался за него. Он читал лозунг, шепча: «я не оратор». Он ходил несколько часов сам не свой. Он шагал и шагал, думал и думал, шлепая калошами и размахивая руками. При этом он бормотал.

Через несколько часов он привыкал к мысли лозунга так, как привыкал к бороде, к пуговице, к халату своего собеседника. Лозунг терял теперь вещи, сомневался, болел, спешил, сбивался. Этого было достаточно. Лозунг можно было теперь увидеть, он становился своим.

В течение трех недель произошла постепенная кристаллизация колхоза. Отсеялся неустойчивый элемент. Возникли подлинные артели. 27 марта прибыли в «Зарю» фураж и хлеб, одолженные благополучными колхозами, пришли деньги. Прибыла агробригада Крайколхозсоюза. Хлескин, Морзин и Ступов отстранены были от работы. Агробригада в пять дней составила простейшие посевные планы. Правление и партруководство приступали к организации труда.

Что видел мужик в «Заре» за десять первых недель весны тридцатого года. Он видел огромное свое безделие, видел Боева, лезшего на конторку. Он слышал: бригады, посевные участки, задания. Все это можно было знать, но нельзя было увидеть. О колхозе кричали, из-за него дрались, о нем спорили день и ночь, но сущность его была бесплотна.

Колхоз, раз'яснявшийся сотнями агитаторов, оставался недосягаемым для зрения, обоняния, осязания, вкуса. Он был чем-то духовным и торжественным как угодник; из-за него можно было драться, но его нельзя было ощутить.

Хлеб, фураж, планы, нормы труда, кредиты решили дело. Впервые за 10 недель колхозник увидел бригаду, увидел колхозное поле, увидел колхозное посевное задание — отчетливо и ясно.

Бригада, поля без межей, посевное задание — казавшиеся доселе восклицаниями — убеждающими, но бесплотными — обросли вдруг махорочным дымом, сапогом, почесыванием, сутолокой. Можно было видеть теперь песок, присохший к сошнику колхозной сеялки, и прыщ на щеке колхозного бригадира. Вкус, осязание, обоняние и зрение заработали вновь и теперь уже внутри колхоза. Этого оказалось достаточным. Колхоз, подлинный колхоз креп теперь с каждым часом.

Не хватало одного — ремонта инвентаря. Не было кузниц, не было мастеров. Стояла уже первая неделя апреля, а колхозные сеялки и плуги лежали без гаек, без сошников, без лемехов в сарае — так же, как лежали они при Боеве. Тщетно ездили правленцы в Азулино. Мастеров не было. Тщетно слал каждый день Касымов телеграммы в Самару. Мастеров не хватало. Мастера не выезжали. До сева оставалось не более месяца.

5 апреля правление постановило командировать Касымова в Самару для личных хлопот.

4

Он приехал в Самару поздней ночью. Поезд запаздывал и нагонял теперь время. Не успел Касымов стащить со ступенек мешок, как станционный сторож ударил в колокол. Кондуктор свистнул. Поезд ушел.

Старик очутился на пустом перроне. Паровоз огромного товарного поезда сипел неподалеку. Помощник машиниста бегал вокруг колес, держа в руках дымную паклю. Какой-то высокий паренек, не торопясь, упрашивал машиниста взять его на паровоз. Машинист отказал, и паренек, сбросив со спины мешок, прилег на платформу. Он качнул головой и вынул из мешка хлеб и селедку.

Касымов вышел на привокзальную площадь. Десятка два пассажиров кружились здесь около извозчиков. Извоз-

чиков было мало. Каждый из них мог бы выбрать себе пассажира по желанию. Извозчики сидели поэтому недвижно. Пассажиры трясли чемоданами и толкались.

Старик пошел пешком. Вскоре в темном переулке он заметил извозчика. Извозчик спал, сидя на облучке. Он опускал во сне голову все ниже и ниже. Затем, встрепенувшись, разом поднимал ее. Но и этот взмах был все тем же сном. Приоткрыв глаза, извозчик вновь закрывал их и вновь постепенно опускал голову.

Разбудив извозчика, Касымов попросил его отвезти в гостиницу. Извозчик запросил два рубля. Он обещал довезти его до номеров «Альгамбра» на улице Льва Толстого. Сафатдин согласился. Они двинулись в путь.

Снег был чист и ясен. Светила луна. При свете ее Касымов увидел улицу Льва Толстого. Домишки здесь были невелики. Тротуары, подаренные творцу Бородинского сражения, казались не шире ¾ метра. Лошадь едва взбиралась на сугробы, отданные великому человеколюбцу.

Вскоре Касымов очутился у номеров «Альгамбра» и принялся звонить. Заспанный швейцар отпер ему входные двери, прикрыв шубенкой кальсоны.

Старик пошел вверх по лестнице. Во втором этаже, в окошке, увешанном правилами внутреннего распорядка, спал дежурный счетовод.

Разбудив его, Сафатдин растолковал ему причину своего посещения. Дежурный принялся звонить, но никто не шел к нему на помощь. Тогда, вместе, они направились в комнату номерантки. Комната эта оказалась окрашенной белилами. В ней помещались диван, комод и два стула. На кровати, свернувшись в клубок, положив под голову правую руку, спала старая и сморщенная номерантка. Они разбудили старуху. Кряхтя, она повела Касымова в номер.

Сафатдин принялся раздеваться. Наученный долгими странствованиями, он отодвинул кровать от стены, опасаясь клопов. Он лег и потушил электричество. Сразу же зачесалась у него спина, грудь и руки. Клопов не было, но кусались блохи. Сафатдин не мог заснуть. Он вертелся с боку на бок, думал и чесался. Это была поистине скучная ночь в чужом городе.

Утром, часов в семь, он пошел умываться. Он увидел полотенце, умывальник и кран, который надо было повернуть вправо, чтоб пошла вода. В глубине комнаты он увидел эмалированную дыру, воду в ней, бак наверху и цепочку, свисающую, как груша. Он глядел и глядел, не зная и не понимая. Это была уборная.

Он вышел на улицу. Он прошел в переулок. В первый раз в жизни увидел он мостовую, тумбу, вертушку с афишами. Переулок кончился. В первый раз в жизни Касымов увидел бульвар, надписи на воротах, решетку для стока дождевой воды. Он подошел к трамвайной остановке. Стоя здесь, он увидел баб с корзинами, извозчиков, толпу, окна, портфели. Он струхнул. Ему показалось, что он навсегда в этом городе, что он один, что все остальное придумано для него нарочно — все непрочное, ненастоящее. Он стоял и стоял, качая головой. Подошел трамвай. Касымов хотел было отойти, уйти в гостиницу, уехать в Саргар, увидеть дощатое правление, шорную мастерскую. Он сделал шаг назад; но все же вошел в трамвай. В трамвае он увидел в первый раз в жизни сумку кондуктора, рулоны с билетами, короткие скамьи для сидения и иллюстрированные правила уличной осторожности, приклеенные к стенам.

Он приехал в Крайколхозсоюз. Люди самых различных профессий и назначений сновали здесь. Тут формировались бригады агрономов, инженеров, инструкторов, врачей, кузнецов, счетоводов. Пульс огромного напряжения совершенно отчетливо прощупывался здесь сквозь столы, шкафы, чернильницы. С часу на час нагнетались отсюда в деревню новые силы. Люди приезжали в этот домишко со всей страны, получали инструкции, сапоги, тулупы, брошюры и уходили. Назавтра их не видели больше. Они уезжали на два, на три месяца, на полгода, на пять лет.

В Крайколхозсоюзе Касымову сказали, что в Азулинский район отправлено двадцать пять ремонтных рабочих бригад. Больше бригад в распоряжении

Крайколхозсоюза нет. Касымову следует обратиться с просьбой о бригаде непосредственно к рабочей общественности. Председатель рекомендовал Касымову пойти в партячейку и в завком механического завода, отправившего уже на посевную 17 рабочих бригад.

Касымов пошел на механический. Секретарь партячейки выслушал сбивчивые его разговоры. Секретарь сказал, что поставит этот вопрос завтра в обед на общем собрании рабочих. Он попросил Касымова сделать на этом собрании доклад. Касымов отправился в гостиницу.

Он начал готовиться к завтрашней речи. Он вынул из котомки листы с цифрами, листы, которые выдал ему бухгалтер перед самым от'ездом. Он читал и читал эти цифры, шепча: «я не оратор».

Стемнело. В 6 часов вечера Касымов решил выучить завтрашнюю свою речь наизусть. Он взялся за перо. Он писал и писал, не поднимаясь и не оглядываясь. Пробило полночь. Он сидел и сидел, теребя лоб, ковыряясь в бумаге. В три часа он встал со стола. Он принялся ходить по комнате. Он шептал, шевелил пальцами, махал руками. Он учил абзац за абзацем. Он ходил и ходил, подтягивая штаны и шлепая калошами. При этом он бормотал.

К десяти часам утра он доучил речь. Он вышел на улицу. Во второй раз в жизни увидел он тумбу, вертушку с афишами, бульвар, надписи, решетки для стока дождевой воды. Он шел, ехал и, споткнувшись, пробегал. Он пришел на завод в одиннадцать — за час до собрания. Его усадили в комнате завкома. Он сидел и сидел здесь. Конец и начало речи он помнил хорошо. Он сидел, не шевелясь, повторяя про себя середину, отрывок середины, возгласы середины своей речи.

В половине первого его позвали в клуб. Он увидел огромный зал, полный людьми. Его пригласили на эстраду. Он начал речь. Начало речи он сказал внятно, хоть и вовсе смутившись. В середине речи он сбился. Он мямлил эту середину. Он возвращался вспять. Он громко бормотал обрывки середины, возгласы середины, силясь выдать их за самую середину и перейти, вздохнув, к концу. Тщетно — конец не давался. Тогда, сбившись, он начал вновь составлять погибшую середину речи. Он начал подбирать слова и возгласы, близкие к былой середине. Он отдалялся от выученного с каждой секундой. Он влип, наконец, в слова, во взмахи рук, в покашливания столь сложные, что их нельзя было уже проворотить. Они могли быть серединой, началом, концом речи: здесь на эстраде, впопыхах, Касымов не мог даже без дрожи обдумать, чем они являются. Он говорил и говорил, стараясь лишь об одном: кашлять, взмахивать руками, не смолкнуть. Он говорил и говорил, думая про себя: «все пропало, я не оратор».

Ничто не пропало! Здесь, в зале, были свои. Их не надо было называть по имени отчеству, дергать за пиджаки, хватать за пуговицы. Они понимали: старик задохся, вспотел, зашился. Они понимали, что важно не то, что старик говорит, а важно то дело, из-за которого он приехал. Они сидели переговариваясь, ожидая мгновенья, когда старик обмякнет совсем и отвалится от речи.

Когда Касымов отбормотал положенные ему тридцать минут, секретарь партячейки вышел на эстраду и сказал:

— Товарищи, старик задохся, вспотел и зашился. Дело же вот в чем.

Секретарь рассказал о положении «Зари».

— Надо нам, товарищи, выделить, — сказал секретарь, — еще одну бригаду.

Он указал, что завод выделил уже восемнадцать ремонтных бригад, что оставшиеся напрягают все силы, чтоб не сорвать промфинплан.

— И все же, — сказал он, — бригаду, товарищи, надо выделить.

Собрание постановило: отправить бригаду «Заре». От'езд бригады назначен был на 16 апреля, по выполнении полумесячного заводского промзадания.

Дело было кончено. Касымов уехал из Самары.

Поезд гудя двинулся.

В окошко видны были мокрые овраги, скользкие степи. Редкие одноэтажные станции попадались на пути. Часам к семи пошел дождь и подул ветер.

— Туман, — сказал проводник.

Начиналась мгновенная оттепель тех районов.

Рабочая бригада приехала 17-го. Она принялась за работу; она работала день и ночь, ремонтируя пять плугов, десять борон, три сеялки в сутки и все же молниеносная оттепель весны 30-го года оказалась быстрей работы бригады. 25-го нужно было выезжать в поле, солнце жгло, земля сохла с каждым часом, но инвентарь еще не был готов. Выехали лишь отдельные группы; они работали вяло и нерешительно.

Общий сев начался 30-го, т. е. с опозданием на 5 дней. Солнце жгло. Земля сохла. Необходимо было не только выполнить ежедневную норму сева, но и покрыть опоздание. Однако работа не ладилась. Портился в поле инвентарь. Позевывали люди. Колхозный сев оказался под ударом. В скверном состоянии был и сев единоличный. Партколлектив, правление, рабочие шефы, рабочая бригада ударили тревогу: прорыв.

3 мая прибыли рабочие ремонтные бригады, переброшенные из благополучных колхозов. Приехали выездные редакции газет. Приехали агрономы, политические работники, комсомольские группы.

Были организованы походные полевые кузницы: мех, два мешка угля, пять молотков, телега, сивая лошадь, наковальня. Начался ремонт инвентаря.

Начались собрания. Пятнадцать политруков раз'езжали по деревням, раз'ясняя политику советской власти по отношению к колхозам и единоличникам, раз'ясняя сущность боевских перегибов. Возникли супряжные группы единоличников. Азулинская бригада медсантруда создала ясли. Возникли походные кухни.

Возник культфургон. Вытащена была из сарая и поставлена на колеса крытая телега для газет, книг и журналов. Создана была передвижная стенгазета. Стенгазету развозил по деревням Азулинский духовой оркестр. Приехав в село, он играл марш и, когда сбегался народ, прибивал к воротам сельсовета передвижную газету.

Четвертого мая, через пять дней после начала тревоги, нормы выработки увеличились на сорок процентов. Этого было мало. Солнце жарило. Земля сохла с каждым часом. Трудно было сомневаться, что сев все же будет сорван.

Новая тревога: все на помощь саргарскому севу! Выделены были комсомольские бригады; они работали на полях. Выехали в поля агитфургоны, раз'яснявшие политическую сущность сева, агитировавшие за увеличение темпов. Прибыли Азулинские партбригады. Они работали на полях после дневной работы в учреждениях. Ночью, оставив плуги, они уезжали обратно в Азулино, чтоб утром взяться за портфели. Прибыли агитгруппы, распевавшие частушки (увеличьте сев!) и представлявшие скетчи (увеличьте сев!). Певцы самарского гортеатра пели арии (увеличьте сев!), встав на бороны. Журналисты сидели в полях, записывая реальные трудности, реальные непорядки, реальные примеры оппортунизма. Организованы были ударные супряжные группы. Началось социалистическое соревнование.

Норма ежедневной выработки поднялась на тридцать процентов против плановых цифр. Этого было недостаточно. Сев опоздал на одиннадцать дней. Солнце жарило. Земля сохла. Необходимо было ежедневное стопроцентное покрытие норм.

Новая тревога.

Организованы были ночные работы с кострами и фонарями. Колхозники-ударники, отработав норму, шли работать на отстающие поля. Партийцы и комсомольцы восемнадцати партячеек брошены были на ту же работу.

Журналисты, артисты, врачи, студенты, агрономы соединены были в бригады. Бригады эти выполняли подсобные посевные дела, освобождали от этих дел людей, которые могли выполнять основное дело — непосредственную работу по севу.

Трудно стало узнать Саргар. Он дрожал. Новые и новые люди сыпались в него со всех сторон. Стучала походная типография. Сияли походные динамо. Висели на весенних деревьях проводы походных телефонов. Не хватало мест для ночлега. Люди спали на столах, на полу, на боронах. Но не хватало ни столов, ни борон. Грязный и недвижный, Саргар грохотал теперь и гудел. Невиданная энергия, нагнетаемая отовсюду,

распирала его. Он раздувался как шар, дрожа и дергаясь. Его разбудили, подняли и пронесли на руках.

11 мая было достигнуто девяностопроцентное перевыполнение норм сева.

На следующий день Касымов отправился на собрание в Максимовку (увеличьте сев!). Он заночевал по пути в Н.-Вериге, в родной своей деревне. Спал он в сельсовете, на столе. Ночью он услышал звон разбитого стекла. Он открыл глаза. Дымила тихая лампа. Вились в тусклом блеске ее стенные портреты и плакаты. Было тихо. В разбитое окно дул ветерок. Касымов провел рукой по щеке и увидел кровь и след пули на фанерном столе. Он приподнялся, удивленный. Раздался выстрел. Касымов упал со стола. Он был ранен в спину. Он пополз к двери, стараясь прижаться к полу, мечтая, чтоб лампа погасла. Лампа не гасла. Касымов подполз к двери. Ему надо было подняться теперь, чтоб открыть задвижку. Он не поднимался, ожидая тревоги. Тревоги не было. Он поднял руку. Все было тихо. Рука не доходила до задвижки. Он поднял плечи. Все было тихо. Кровь лилась из спины. Горела лампа. Лежа на полу, Касымов видел корзину для бумаг, сломанное перо и черный песок. Он поднял голову. Раздался выстрел. Касымов был убит.

На следующий день задержали убийцу. Это был сын муллы, арестованного по делу об избиении Касымова.

На пятнадцатый день сева мы хоронили Сафатдина Касымова в Н.-Вериге 14 мая.

Мы несли красные знамена. Оркестр играл марш Шопена. Мы шли, опустив головы. Печальный гром оркестра гнал на улицу всех, кто еще сидел дома. Мы прошли улицу, вышли в поле, подошли к кладбищу. Здесь стояли колхозники многих деревень. Они держали знамена, на которых значилось: «Смерть кулакам». «На смену одного встанут тысячи». Началось прощание. Я стал в очередь. Я подвигался медленно. Я видел черные поля, видел плуги, тракторы, сеялки, перевыполнившие вдвое план ежедневного задания. Я подошел к Касымову. Я увидел сморщенное его лицо, неровный его лоб и, попрощавшись, уступил место следующему. Затем мы опустили гроб в яму и зарыли яму. На холм взошел мордвин Околов, зав Сартарской экономии.

— Товарищи, — сказал он, — здесь лежит большой старик. Он верил в лучшую жизнь. Мерзавцы убили его. Чего добились они? — Ничего. Умер один лишь старик. Все мы живы. Остались сеялки, плуги, бороны. Прощай, старик. Мы помним тебя: ты был невысок и худ. Ты ходил в халате. Ты стеснялся на собраниях. Ты робел. Ты кашлял. Но мы клянемся итти туда, куда ты шел, куда ведет нас великая советская власть и великая партия.

Заиграл оркестр. Мы разошлись.

Было пыльно. Жгло солнце. Я сел у кооператива. Не было ни облачка. Промчалась в телеге выездная редакция. Прозвенели кухни: было десять утра. Прошла со знаменами ударная пионерская группа. Проехал культфургон. Дряблая баба вышла из-за ворот и, глянув в небо, принялась качать воду. Зевал кооперативный сторож. Прошагала, неся таганки, ремонтная бригада. Проехал верхом агроном. Дул ветер. Плескалась река. Пели птицы. Гремела, пыля, выездная самарская труппа: был полдень, час обеда.

Истинный пафос, говорят, незаметен. Это неверно. Пусть выражен он в запинках, негромко, даже неслышно. Пусть. Все равно — он гремит. И когда человек берется за перо, чтобы записать то, что он видел, он пишет об этом неслышном пафосе, оглушенный и очень взволнованный.

Я хотел сжать этот рассказ. Я не хотел мазать в нем политику и людей по придаточным предложениям. Я понимаю сущность литературы великой пятилетки так: довольно болтать.

Я хотел написать этот рассказ, рассказ о подлинном человеке честно — не размазывая и не болтая.

Громадный труд. Тщетно правил я фразу за фразой. Я люблю буран, луну, ужин. Мне хочется болтать. Ночь, керосиновая лампа, крепко держат меня за руку. Странно описывать мне десять часов утра, полдень.

Поэзия американских негров

1. Наследие

Что мне Африка теперь?
— Солнца медь, песок и зверь,
Джунглей звезды, джунглей лаз,
Сталь мужчин и мягкий глаз
Женщин, через чей живот
Жизнь ведет наш черный род...
Триста лет с тех пор. И нам
Чуждо милое отцам —
Пряность рощ, пугливый зверь,
Что мне Африка теперь?

Так я лгу. Но целый день я
Слышу, как дичает пенье
Птиц всполохнутых, когда
Мяса грузные стада
К побережьям пить идут
Через травы, где, как жгут,
Плоть двух любящих слита,
А над ними — высота.
Так я лгу — но вот удары
Барабанов и я даром
Затыкаю пальцем уши...
— Барабаны воздух рушат...
Так я лгу, один из тех,
Кому нет сильней утех
И тоски милей, чем та
В темном теле густота
Крови терпкой, как вино
— И пульсирует вино
И боюсь, чтобы не смыл
Этот пульс каналы жил...

Африка? Но книгу эту
Я листаю до рассвета
— Грузный лет ночных мышей,
Кошки в гуще камышей,
Стерегущие, когда
Мяса нежные стада
К водопою подойдут
— И вдали растущий гуд
Будто бычьей груди стон. —
И, из бархатных ножен,
Когти вышли. И, раз в год,
Змеи сбросят серебро
Своих шкур. Их носишь ты,
Что теперь до наготы
Мне твоей? Змеиный страх
Не дрожит в твоих глазах,
Прокаженные цветы
Не вздымают здесь листы.
Тел нет мокрых и тугих,
Пот и дождь не льется с них,
И не движутся они
Ритмом джунглевой любви...
Что прошедший снег для нас?
Что весь прошлый год? Сейчас
Покрываяся листвой,
Дерево, забудь былой
Свой убор — и лист и плод,
Позабудь былой прилет
Птиц, свивавших столько гнезд.
В густоте твоих волос...
— Триста лет прошло, и нам
Чуждо милое отцам —
Пряность рощ, песок и зверь,
Что мне Африка теперь?

Так я лгу — но нет покоя
Ни в прохладе мне, ни в зное,
От того, что топот ног
Вверх и вниз и поперек
Улиц тела моего
Сети джунглевых дорог
Протопатывает зло...
Так я лгу. И ночью дождь
Колдовскую сыплет мощь.
(Никогда я спать не мог
Под его журчащий ток!)
И, сходя с ума от боли,
Повторяю поневоле
Я его припевы. Так

Вьется на крючке червяк
— Эти ритмы сберeглись
В теле криком: — «Обнажись!
Роскошь платья поскидай!
Пляс любовный начинай!»
— Память ночи, память дня
Дождь работает меня.

Ночь насквозь и день насквоз
Хоть бы раз мне удалось
Кровь и гордость остудить,
Чтоб себя не затопить,

Чтобы уголь не сжигал
Лес сухой. Ведь я считал
Этот лес сырым. Но он
Суше, чем сушеный лен...

— И отцы меня подменят,
Сердцу нет и голове нет
Всей реализации
Моей цивилизации.

Коунти Куллен

2. Призыв к творчеству

Эй, ты,
Делатель красоты,
Оставь красоту на минуту —
Надо грубость, боль надо знать.
Жизнь опять увидеть:
Плач детей,
Ложь богачей,

В Китае — миллионы голодных смертей,
И на Востоке — гром:
«Несмотря на все
Жизнь должна жить».

В Индии, у которой сложены руки,
В Китае, над которым висят пушки,
В Африке, у которой улыбка горька,
Тот же шопот:

«Жизнь должна жить»...
Пусть жирные захотят
Мир свой грабительский провозгласить,

— Это мир только для смерти пригоден,
От того что лучше смерть, чем в себе
подавить
Крик: «Я свободен».
Эй, ты,
Ничтожный делатель красоты!
С теми, кто рушит, поработай-ка ты,
С теми, кто строит, пройди в ногу ты,
— Красоте: быть!

3. Руди Браун

Была молодой, красивой
И золотистой, как свет дневной,
Гревший ей кожу,
Но — цветнокожей была,
И город Мейвилль не мог предложить ей
Ни места, ни чаши для пламени,
Которым пыталось гореть ее сердце.
И, вот, раз
Сидя на черном крыльце у старой миссис
Латам
И чистя ее серебро,
Она задала себе два вопроса,
Звучавших приблизительно так:
— Что может сделать негритянская девушка
На деньги с кухни белой женщины
И: — неужто же в городе нет совсем радостей?
И вот: улицы у реки
Знают много про красавицу Руди Браун,
И темные, со ставнями, дома
Держат золотистую девушку,
Искавшую ответа на свои два вопроса...
Честные прихожане ее имени не произносят,
Но белые мужчины, гости высоких, со
ставнями домов
Платят ей больше денег теперь,
Чем прежде, за работу в их кухнях...

4. Негритянским детям

— Это от того, что вы молоды,
— Вы не понимаете...
Но мы стары,
Как деревья, которые
Отцвели в джунглях,
Как реки, которые
Ушли в землю.
Мы знаем больше, чем вы:
— И радость жизни,
— И бесполезность вещей.
Вы слишком молоды, чтобы понять это.
Вы строите
Еще один небоскреб,
Задевающий звезды.
А мы сидим, прислонясь к дереву,
И следим, как небоскребы падают,
Как звезды забывают свой собственный
свет.
Соломон построил храм,
И этот храм рухнул,
И его больше нет на земле...

— Мы стары,
Мы знаем вещи, о которых вы не подозреваете.

5. В христианской стране

Бог дремлет в одной из задних аллей,
В руках у него бутылка джина.
Поди-ка сюда, бог, и
Борись, как мужчина.

6. Некоторым негритянским вождям

— Голос вопиющего в пустыне,
По стольку-то за слово
От белых:
«Негритосы,
Будьте послушны и скромны
И не плачьте
Слишком громко».

7. Устал

Я так устал дожидаться
— А ты — разве нет?
Покуда мир станет честным,
Прекрасным, добрым,
Давайте возьмем ножик,
Разрежем мир пополам,
Посмотрим, какие черви
Точат его кору

8. Негритянское гетто

Я посмотрел в их черные лица,
И увидел вот что:
Ветер, замкнутый в плоть,
Солнце, закованное в закон.

И я следил, как они
Словно вода текли по дорогам,
И меня взволновало вот что:
Их слишком робкие ноги.

9.

240.000 африканских негров
Работают в шахтах Иоганисбурга,
Какие тут еще писать стихи!
240.000 негров в шахтах Иоганисбурга.

10. Танец

Закинуть руки вверх,
К солнцу, куда-нибудь,
И целый день плясать
— И после отдохнуть
И будет вечер свежим —
И свежими тополя,
И ночь придет тиха,
Темна как я.

Вот мой сон.

Закинуть руки вверх,
К солнцу их на грудь!
Пляс! Жги! Жги!
И после — отдохнуть,
Покуда вечер бледен
Как стройные тополя,
И ночь придет нежна
Черна как я.

Лэнгстон Хью

11. Лето 1919 года

Беременен мир. Воплем сгущенным мечется гром,
В животе у земли бурями тужится жизнь,
Молнии жгут небеса, и человек потрясен,
Африка, спавшая столько веков, время, проснись!
На западном небе горит отраженным пыланьем
Пламя, которым на небе восточном туч огневеет гора,
Братья и сестры, проснитесь, пора!
— Роды земли разрывают живот ее каменный,
Словно гроб отпадает сухая кора,
И мудры безумцы, и мудрой растет детвора.
— На Востоке огромной страны потуги — пламенем
Над нею туч огневеет гора,
Братья и сестры, — смотрите! Братья сестры, — пора!
Сладостны ночи для сна, сладостны дни для работы,
Дети сладких ночей, детям ваших детей раскрывается жизнь,
От дремучих лесов, где идет леопард на охоту,
Поднимите глаза! — Ефиопия, время, — проснись!
На западном небе горит отраженным пыланьем
Пламя, которым на небе восточном туч пламенеет гора,
— Братья и сестры, проснитесь, пора!

— Роды земли разрывают живот ее каменный,
Словно гроб отпадает сухая кора,
И мудры безумцы, и мудрой растет детвора.
— На Востоке огромной страны потуги — пламенем
Над нею туч огневеет гора.
Братья и сестры, — смотрите! Братья и сестры, — пора!

12. Тени Гарлема

Я слышу девушки каблук стучит.
— О негритянский Гарлем! Ночи кров
Кругом. Я вижу девушка спешит
Ловить желаний беспокойный зов...
— Всю ночь насквозь, обутых в туфл ног
Шаги стучат в тиши ночных дорог.
— Всю ночь насквозь, до самого утра
Шаг мелких серых ног стучит. Стучит
Всю ночь насквозь. Как белая кора
Холодный снег на улицах лежит.
— Полураздетых девушек обутых ног
Шаги стучат в тиши ночных дорог.
Жестокий мир, который приволок
На нищее позорище свое
Шаг этих робких, этих темных ног,
Священных ног народа моего.
— О сердце мое! Обутых в туфли ног,
В Гарлеме стук в тиши ночных дорог.

Клод Мак-Кэ

Перевел Юлиан Анисимов.

Вынужденные признания

(Буржуазная пресса о нашем социалистическом строительстве)

Н. Корнев

Пишущий эти строки беседовал с одним довольно известным лево-буржуазным американским журналистом, только что побывавшим у себя на родине. Беседа шла, конечно, прежде всего об общеэкономическом положении САСШ, о различных явлениях кризиса. Описывая явления кризиса, американский журналист отметил, что в Америке люди, из кожи лезут вон, лишь бы придумать что-нибудь такое, на чем можно было бы заработать. Иным это удается, улыбнулся американец: вот, например, один ловкий парень перевел на английский язык изданную в СССР листовку о пятилетке для детей. Получилась доступная пониманию среднего американца книжка о пятилетнем плане нашего социалистического строительства. Эта книжка разошлась в течение двух недель в количестве 65 000 экземпляров и, по крайней мере, для одного ловкого американца экономического кризиса в Америке не существует.

Этот курьезный пример лучше всего иллюстрирует тот огромный интерес, который именно в Америке наблюдается по адресу СССР и который охватывает почти решительно все явления нашего политического, социального и культурного бытия. Нам пришлось недавно перелистать библиографию книг об СССР, вышедших в различных капиталистических странах. Америка здесь занимает первое и руководящее место, оставляя за собой далеко позади даже такую европейскую страну, как Германия. Достаточно сказать, что за последние полгода в Америке вышло 25 книг об СССР, написанных людьми, пробывшими более или менее долгое время в СССР и сделавшими попытку — конечно, по мере их сил и возможностей — серьезно разобраться в том, что они называют советской проблемой и что они сами вынуждены противопоставить тому, что происходит в капиталистическом мире и, таким образом, косвенным путем признать, что речь идет о социалистическом строительстве.

Помимо серьезных (или выдающих себя за серьезные) книг об СССР в Америке вышло бесконечное количество мелких брошюр. В любой американской газете (от самой крупной до самой мелкой провинциальной газетки) можно найти информацию об СССР в виде статьи, интервью или изложения доклада на советскую тему. Ибо надо сказать, что в Америке имеется целая группа людей, избравших себе профессией чтение докладов об СССР. Доклады эти читаются перед самой разнообразной публикой, в самых разнообразных аудиториях, вплоть до церквей и по единодушному свидетельству всех, побывавших в Америке, ни одна тема не вызывает такой страстной дискуссии, ни за одним докладом не следует таких жарких прений, как за докладом об СССР вообще или любой из советских проблем. Надо, конечно, помнить, что, если мы говорили выше об огромном интересе к СССР, проявляемом в Америке, то этим мы, конечно, не хотели сказать, что речь идет исключительно об интересе положительном, т. е. о том, что о нас и нашем строительстве в Америке говорят и пишут исключительно люди, нам сочувствующие, регистрирующие только наши успехи и наши достижения. Конечно, в Америке в достаточной степени, с легкой руки американских профбюрократов и русских меньшевиков, пишут и говорят против СССР, доходя до последней черты нелепейших измышлений и гнуснейшей клеветы.

Но показательным для Америки является тот факт, что не только рабочие, с одной стороны, и крупные промышленники и финансисты — с другой стороны (обе очень суммарно намеченные нами группы по весьма различным, конечно, побуждениям и соображениям), проявляют интерес к СССР, но что они хотят во что бы то ни стало понять и осмыслить то, что происходит на той одной шестой части земного шара, где, как мы утверждаем, строится социализм. Об'яснимся: в то время как в Европе (в первую очередь в Германии) пытаются все еще представить происходящее в СССР, как обыкновенный процесс индустриализации некогда чисто аграрной страны, и пытаются споры о нашем промышленном строительстве свести к спорам о сроках и темпах, пытаются даже поставить наше промышленное развитие на одну доску с промышленным развитием, например, такой страны, как Германия, как известно, проделавшая в последнюю четверть прошлого века процесс сравнительно быстрой индустриализации, в то время как, повторяем, в Европе хотят доказать, что большевики, мол, пороху не выдумали, в Америке же давно поставлен вопрос со всей решительностью, т. е. поставлен вопрос не о нашем промышленном строительстве вообще, а о его социалистическом характере.

При этом весьма показателен тот факт, что именно в Америке проблема социалистического строительства в СССР была поставлена со всей решительностью и откровенностью, как только у нас параллельно с социалистической стройкой промышленности началась социалистическая стройка деревни, началась коллективизация сельского хозяйства. В то время как в Европе именно потому, что там рассматривали и рассматривают наше строительство как обыкновенный процесс индустриализации промышленности, не могли логично не считать, что коллективизация сельского хозяйства есть случайный придаточный продукт политики советской власти или правящей коммунистической партии, в то время как в Европе (даже в Германии, где лучше разбираются в наших экономических проблемах, чем в других европейских капиталистических странах) договаривались даже до определения коллективизации сельского хозяйства, как «сумасшедшего и ненужного эксперимента советской власти», в Америке классовый инстинкт подсказал буржуазии, что социалистическое строительство промышленности и социалистическое устроение деревни на началах коллективизации есть два проявления одной и той же советской проблемы, что здесь одного явления никак нельзя отделить от другого, если не подходить к тому, что происходит в СССР из нарочито искусственных и потому заведомо неверных построений и предпосылок.

Мы не будем уже напоминать о том, что талантливый представитель руководящего органа американской буржуазии «Нью Йорк Таймс» Вальтер Дюранти с самого начала нашего социалистического наступления на сельскохозяйственном фронте изо дня в день твердит своему читателю об органической связи этих двух основных явлений политической экономии СССР. Но мы должны указать на то, что популярнейшая в Америке книга об СССР Морриса Гиндуса с весьма примечательным заглавием «Выкорчеванное человечество» (Humanih uprooted) именно так ставит советскую проблему, весьма красноречиво доказывая, что речь идет не о промышленном развитии СССР вообще, а о социалистическом строительстве на одной шестой части земного шара, которое должно было охватить все стороны политического, социального и культурного бытия страны, а, стало быть, не могло в стране с подавляющим крестьянским населением пройти мимо социализации крестьянского хозяйства. Человек, которого американская буржуазия посылала несколько раз изучать «большевистский эксперимент» и который доказал в своей книжке, что этот эксперимент выкорчевывает на территории бывшей Российской империи старого человека с его сугубо индивидуалистическими навыками и ставит на его место членов многомиллионного творческого коллектива, этот человек должен был после своего «Выкорчеванного человечества» написать книжку о «Красном хлебе», т. е. лучшее, что появилось по ту сторону советской границы о коллективизации сельского хозяйства. Моррис Гиндус должен был в этой книжке при всем своем неизбежно сентиментальном отношении к гибнущим в процессе коллективизации кулацким «индивидуумам» признать закономерность сплошной коллективизации и уничтожения кулака как класса.

Примечательным является тот факт, что «Выкорчеванное человечество» разошлось в Америке в количестве 32 000 экземпляров, а за книгу о «Красном хлебе» Моррис Гиндус от одного из самых махровых представителей американского финансового капитала Гуггенгеймера получил премию в 2 500 долларов для того, чтобы он имел возможность, как офи-

циально зафиксировано в решении Гуггенгеймеровского комитета, и течение целого года без забот о хлебе насущном изучать советскую проблему. Хотя надо сказать, что изучение советской проблемы давно уже, вследствие беспримерного успеха книг, статей и в особенности докладов о советской стране, освободило Морриса Гиндуса от всяких забот о хлебе насущном даже в условиях общего экономического кризиса. Парадоксальное на первый взгляд явление: в руководящей капиталистической стране оказывается весьма прибыльным занятием писать более или менее «об'ективно» о единственной в мире социалистической стране.

Почему же все-таки получается такое парадоксальное на первый взгляд положение? Как это получилось, что руководящая капиталистическая страна, официально не желающая даже знать о нашем существовании, упорно отказывающаяся «признать» советское правительство несмотря на то, что это непризнание на четырнадцатом году существования советской власти вызывает улыбки у самих американцев, не лишенных вообще чувства юмора, как это получилось, что страна классического монополистического капитала обнаруживает больше всего интереса и своеобразной «об'ективности» по отношению к стране строящегося социализма?

Об'яснение возможно только в той форме, что американский монополистический капитал, исходя из своего учения о незыблемости капиталистического строя в Америке, о невозможности создания в нем условий, подобных европейским и ставящих в Америке проблему пролетарской революции, считал, по крайней мере, до последнего времени несовместимым со своим учением об исключительном положении Америки какой-нибудь другой подход к СССР, кроме высоко «об'ективного». Американский капиталист, изображая «об'ективное» отношение к СССР, допуская более или менее «об'ективную» информацию об СССР, не возражая против активного участия своих специалистов в нашей социалистической стройке, принимая даже, к ужасу Европы, не только наше промышленное строительство, но и социалистическое устроение деревни, этот американский капиталист хотел сказать: «Пускай большевики индустриализируют страну, пускай они даже строят социалистическую промышленность, пускай они даже социализируют деревню; последнее нам даже на пользу, ибо социализация деревни обозначает индустриализацию сельского хозяйства, а это создает для американской промышленности новый гигантский рынок. Нам удача большевистского эксперимента не страшна, ибо наше процветание (пресловутое «просперити») является надежным и даже абсолютным заслоном от коммунистической опасности, от пролетарской революции». Таким образом, как в признании закономерности социалистического устроения деревни при социалистической постройке промышленности здесь с американской стороны снова в своеобразном толковании получается повторение советской формулы: на этот раз формулы сосуществования, хотя бы и временного, двух систем. Повторение тем более своеобразное, что из него по некой странной логике получается подтверждение отсутствия необходимости политического признания СССР, т. е. восстановления нормальных дипломатических сношений с пролетарской страной.

Из этой американской установки в гармоническом созвучии с пренебрежительным отношением к Европе вообще получились американские насмешки над установкой европейских стран по отношению к социалистическому строительству СССР. Американская печать не только делала вид, но зачастую, отражая мнение «среднего американца», «человека с улицы», никак не могла действительно понять, почему даже руководящие органы европейской буржуазной печати усматривают в об'ективном признании советских успехов и достижений нечто вроде предательства и измены широко понятым (или узко понятым смотря по точке зрения) интересам капиталистической системы. Именно американская печать никак не могла в условиях «процветания» усвоить европейский взгляд на об'ективную информацию об СССР, как на косвенную или даже прямую коммунистическую пропаганду.

Такая американская установка, конечно, могла существовать только в условиях просперити, т. е. пока действовал, если не в действительности, то в воображении американского капиталиста метафизический (т. е. по определению Карамзина, в природе не существующий) иммунитет Америки против «коммунистической заразы». С окончанием периода процветания, с самым началом общеэкономического кризиса в Америке должна была начаться по отношению к СССР известная переоценка ценностей. Иначе говоря, те же самые американцы, которые направляли все удары грубого американского юмора против чрезмерной

осторожности одряхлевшей Европы, усматривающей в малейшем признании успехов молодого Советского Союза смертельную опасность для себя, эти же самые американцы, которые думали, что для них не писаны европейские капиталистические уставы, должны были бы признать, что эти уставы и для них имеют свою законную и закономерную силу. Но переключиться просто на понимание советской проблемы в ее европейском толковании Америка не могла по причинам не только политическим, но хотя бы даже и психологическим. Если под причинами политическими мы понимаем невозможность для руководящей головки политических приказчиков американской буржуазии официально признать прекращение иммунитета против «коммунистической заразы», наличность и для Америки угрозы пролетарской революции, то под причинами психологическими мы понимаем то немаловажное обстоятельство, что ограниченный кругозор среднего американца в области представления того, что делается за пределами Америки, не позволяет ему в одночасье совершенно пересмотреть свою установку на какую-нибудь чужую страну. Ограничимся одним примером: вспомним, каких усилий стоило антантовской пропаганде создать специфическое представление о Германии во время мировой войны, хотя это специфическое представление полностью соответствовало империалистическим видам самой американской буржуазии. Из этого примера ясно, что совсем не так просто было бы даже в условиях огромного экономического кризиса или вернее именно в условиях этого кризиса создавать представление об СССР, в котором за основное бралось бы то, что было лишь неизбежным капиталистическим аккомпанементом во время всяких демпинго-крестовых походов против СССР при всем фактическом признании достижений нашего социалистического строительства.

Поэтому дирижеры американского общественного мнения пошли по совершенно иному, довольно своеобразному пути. Если они во времена просперити щеголяли положительными признаниями успехов социалистического строительства, то с самого начала кризиса они начинают еще больше щеголять, сказали бы мы, отрицательным признанием нашего социалистического строительства. Как это ни странно звучит на первый взгляд, но в качестве оружия борьбы против «коммунистической заразы» берется как бы чрезмерное преувеличенное признание наших достижений и успехов. На оформлении корреспонденций московского представителя «Нью Йорк Таймс» Дюранти, о котором мы упоминали выше, можно проследить, так сказать, техническое выполнение пропагандистского задания, поставленного американской печати в условиях кризиса и все более исчезающего «иммунитета» против пролетарской революции. Во времена «процветания» корреспонденции Дюранти печатались на самом видном месте, на первой странице руководящей американской газеты наряду с самыми сенсационными отчетами об убийствах и разводах. С началом экономического кризиса корреспонденции Дюранти были загнаны на второе, третье место газеты и одно время помещались на самых ее задворках. Теперь эти корреспонденции опять перебрались на первую страницу. Между тем, их характер все время не менялся: все время подчеркивались наши достижения и успехи. Но в них — и именно потому они опять перебрались на первую страницу — стали проскальзывать весьма любопытные нотки. Будто бы об'ективное признание наших успехов дает американскому журналисту возможность выдвигать на первый план не только наши затруднения, но и те же жертвы в американском, конечно, понимании, которыми для трудящихся Советского Союза сопровождается усиление темпа социалистического строительства в городе и в деревне. Мысль здесь совершенно ясна и проста: если сначала американский капиталист во времена процветания говорил:«Пускай большевики строят социализм, нам это опасностью не угрожает, а приносит даже пользу в виде открытия новых рынков», то теперь этот самый капиталист хочет сказать: «Большевики строят социализм, но зато ценой каких жертв?» Тут явная спекуляция на инстинктах привилегированной верхушки американского рабочего класса в надежде, что эта привилегированная верхушка увлечет за собой в новой трактовке советской проблемы широкие массы американских рабочих и колеблющиеся в условиях жестокого экономического кризиса прослойки мелкой буржуазии города и деревни. Недаром самым резким противником СССР, возглавляющим кампанию против его признания, является руководитель американских профсоюзов Маттей Уоллен.

Поэтому для американских настроений настоящего времени, собственно говоря, показательны не такие книги, как книги Гиндуса, о которых шла речь выше, а недавно вышедшая и наделавшая много шума не только в Америке, но и в Европе, книга о пятилетнем плане

нашего строительства американского журналиста Никербоккера. Эта книга просто называется «Советский пятилетний план» (The Soviet Five year plan), но отрывки из книги печатались в журналах и газетах Америки под весьма характерным названием «Россия в плавильном тигле» и с подзаголовком «Страна постоянной войны».

Так как книга Никербоккера неизвестна советскому читателю, то мы позволим себе здесь привести в выдержках вступительную главу, которая является великолепной иллюстрацией того, как в представлении буржуазного журналиста причудливо перемешивается правда с вымыслом и тенденциозностью.

«Советский Союз есть страна на военном положении, начинает мистер Никербоккер. Это было мое первое впечатление и таково же было мое последнее впечатление. Таково было мое первое впечатление, когда я вернулся в Россию, в которой я не был три года. Таково было мое последнее впечатление после путешествия в течение семи недель до самых отдаленных пунктов пятилетнего плана. Мое путешествие заставило меня сделать больше десяти тысяч миль по всему промышленному фронту от Урала до Кавказа. Я с'ел 50 фунтов пищевых продуктов, которые я привез с собой из Германии (зачем? Н. К.), и я потерял бы значительно больше, чем 10 фунтов в весе, если бы я не привез с собой своих собственных продуктов (?). А все-таки я во всей России не видел ни одного голодного человека.

Я видел повсюду огромные новые здания, огромные новые фабрики, длинные серии предприятий, построение которых быстрым темпом идет к своему завершению и которые после своего окончания будут самыми огромными предприятиями мира в данной области. И в то же время я видел население, которое не доедает, бедно одето и живет в невероятно переполненных квартирах [1].

Получаются трудно об'яснимые противоречия. Если бы вы попали в Москву и провели там всего один день, то вы, вероятно, пришли бы к заключению, что страна погибает (буквально: идет к чертям собачьим). Ибо первое, на что обращает внимание наблюдатель в чужой стране, это на население. Вид населения должен убедить наблюдателя (очевидно, буржуазного. Н. К.), что население находится в затрудненном положении. И поэтому наблюдатель должен притти к выводу, что пятилетка проваливается. Но такой вывод был бы неверен, и поэтому совершенно невозможно дать даже краткое описание московского дня, не сказав, что представляет собой пятилетний план.

Пятилетний план есть самый гигантский экономический проект, который только знает история. Он начался в октябре 1928 г. и хочет до 1933 г.—так и хочется сказать: через ночь—сделать первые и самые значительные шаги к превращению аграрной страны в страну фабрик и заводов, осуществить индустриализацию самой отсталой страны Европы, превратить обширную Россию в удовлетворяющую саму свои потребности единицу, сделать из нее непреоборимую крепость коммунизма. Такая задача может быть осуществлена только при помощи приведения страны в военное положение. Офицерами в этой войне за индустриализацию являются члены коммунистической партии. Солдатами является все остальное население. Главное оружие представляют собой 86 миллиардов рублей, т. е. почти 9 миллиардов фунтов стерлингов капитального вложения. Об'ектами завоевания в этой войне является увеличение производства вообще, в особенности удвоение производства нефти, угля и стали, утроение производства металла и учетверение производства машин. Кратко говоря, об'ектом этой войны является в общем удвоение промышленного производства и коллективизация сельского хозяйства. Как во время любой войны население терпит лишения. Это мы видим в Москве. Но если мы видим те лишения, которые терпит население, то мы должны одновременно зарегистрировать и признаки того, что несмотря на эти лишения или же *благодаря этим лишениям* русские выигрывают войну и достигают своей цели.

В Москве бесконечное количество новых зданий, как учреждений с огромными зеркальными окнами, так и больших комплексов жилищ для рабочих. Горизонт, который сначала был занят бесконечными церквами, теперь занят дымящимися трубами. Москва теперь не так прекрасна, как она была. По вымощенным улицам мимо новых зданий идет население, которое отказалось от многого помимо московского романтизма. Толпа заливает тротуары и переливается на середину улиц. Люди все ка-

[1] Надо помнить, что Никербоккер подходит с масштабом жизненного уровня привилегированного американского рабочего. О десяти миллионах голодающих американских безработных и их семьях он, конечно, забывает.

жутся одетыми одинаково, преобладают серые тона. Все они страшно торопятся. Очень немногие из них улыбаются. Все они передвигаются быстрее, чем три года тому назад. Но все они сохранили свою вежливость. Они еще говорят «простите, гражданин», или «извините, товарищ», когда они толкают друг друга на улице. Но они произносят эту фразу как-то более коротко. Русские знают, что для того, чтобы приобрести что-нибудь, надо беречь деньги или надо научиться обходиться без них. Но даже когда бережливость становится очень трудной, они сохраняют свое чувство юмора».

Американский журналист подробно описывает затем систему заборных книжек, закрытых распределителей, описывает наши столовые и рестораны, кооперативы и рынки и заканчивает первую главу своей книги:

«Я мог бы без конца описывать, как живут люди в Москве, как они ютятся в комнатушках, как любая семья очень редко имеет больше одной комнаты и как иногда в одной комнате живут две или три семьи. Я мог бы продолжать в этом духе давать вам одну картину за другой тех лишений, которые переносит население. Но из всех этих описаний вы почти наверняка получили бы неверное представление. Ибо не так обстоит дело во всей России. По всему промышленному фронту, там, где строятся заводы, где возводятся огромные гидро-электрические станции, где появляются новые копи, где десятки тысяч тракторов взрывают землю, куда больше пищевых продуктов и куда лучше обстоит дело с одеждой. Я видел достаточно, чтобы убедиться в этом, ибо я пропутешествовал от одного конца Европейской России до другого и был в самой важной части Азиатской России. И есть еще одно обстоятельство, которое помогает населению жить в настоящих условиях: это тот факт, что каждый здесь имеет работу. Это война за индустриализацию и в ней все население принимает участие; если все население переносит лишения, то все население в то же время питает надежды. Это совершенно точные формулировки, хотя все то, что я сказал, требует еще длинных об'яснений.

Я хотел бы одним словом формулировать мои впечатления. Первое впечатление определяет пятилетний план, как неудачу. Вид населения (оцененный с американской точки зрения и без всякого сравнения с дореволюционной Россией. Н. К.) кажется тому доказательством. Но пятилетний план является колоссальным планом спасения целой нации и каждый фунт пищевых продуктов, каждый метр сукна, каждая пара ботинок, от которых отказывается население, обозначает столько-то и столько-то новых машин для новых заводов, строящихся по пятилетнему плану».

В этой вступительной главе из книги американского журналиста находятся почти все те элементы, из которых составлена его книга вообще. С одной стороны, здесь имеется ценное признание. Это признание нашего социалистического строительства. Никербоккер подходит к советской проблеме с несколько иной точки зрения, чем Гиндус, но в основном приходит к тому же выводу, что и Гиндус: к тому, что в СССР идет речь не просто об индустриализации страны, а о создании социалистической промышленности[1] и вместе с социализацией сельского хозяйства о создании социалистического строя. Но в течение своей книги Никербоккер делает целый ряд оговорок, которые превращают его книгу, производящую по вступительной главе впечатление просоветской книги в явно антисоветское произведение. Здесь важно не то, что говорит Никербоккер, а важно, зачем он это говорит, ибо его книга имеет совершенно определенную тенденцию, приспособленную к социальному заказу американской буржуазии периода беспримерного экономического кризиса. Ибо Никербоккер описывая лихорадочный темп нашего строительства, обвиняя нас в демпинге и в желании не только создать свое собственное социалистическое хозяйство, но и в стремлении подорвать экономические основы капиталистического хозяйства, фактически является сигнализатором угрожающей капиталистическому миру с нашей стороны опасности, проповедником применения к нам решительных мер, хотя он, как опытный журналист, и не произносит слова «интервенция». Но она у него само собой подразумевается, ибо несколько даже преувеличивая наши успехи, несколько сгущая наши темпы, он как бы проповедует капиталистическому миру, что промедление времени смерти подобно. При этом журналистский темперамент выдает его с головой: мы считаем, что центральным в формулировках американского журналиста является его заявление, что «если все население переносит лишения, то все население в то же время

[1] Он, конечно, говорит не о социалистическом характере нашей стройки, а, как видел читатель, «общенародном», но на то он и буржуазный журналист.

питает надежды». Вместе с признанием того факта, что «каждый в СССР имеет работу» в то время, как в капиталистическом мире бушует страшное бедствие безработицы, признание факта светлых перспектив на одной шестой части земного шара в то время, как на остальных пяти частях его бушует кризис, является грозным предупреждением капиталистическому миру. И именно в целях такого предупреждения и написана вся книга Никербоккера.

Любопытно, что американский журналист на всем протяжении своей книги несколько раз повторяет особенно поразившее его обстоятельство, что — говоря словами т. Сталина — труд является в СССР делом доблести и славы. Как известный герой Мольера, говоря обыденными словами, и не подозревал, что он говорит прозой, так и американский журналист и не подозревает, что говоря о труде, как деле доблести и славы, он признает, что вместе с социализацией промышленности и сельского хозяйства в СССР происходит социалистическая переделка человека, т. е. превращение отдельных людей в членов творческого коллектива. Представителя страны, доведшей до последнего предела фордизм, т. е. капиталистическую рационализацию, превратившей напряжение человеческих мускулов и мозговых клеточек в совершенно автоматические движения, должно было поразить то, что труд в СССР стал чем-то осмысленным и одухотворенным. Если всякие поклонники славянской души и богоискательства российского народа с началом пятилетки плакались (понятно, во имя чего) по поводу того, что наш народ «богоносец» стал поклоняться машине, то теперь со стороны представителя страны, возведшей эту самую машину в божественное состояние во имя прибавочной стоимости, мы имеем признание, что не машина овладела нами, а мы овладели машиной. Только в условиях социалистического творчества могло свершиться такое пленение машины.

Придание труду характера доблести и славы, превращение труда и взаимоотношений между человеком и машиной в нечто такое, о чем можно беседовать в свободное время и писать стихи, есть, очевидно, у нас такое значительное явление, что оно бросилось в глаза не только Никербоккеру. Любопытно, что другой иностранный наблюдатель, польский журналист и махровый монархист — фашист Мацкевич (редактор «Виленского слова») в одной из своих статей об СССР, между прочим, искренне изумляется содержанию разговоров, которые ведутся в кулуарах советских театров, в купэ советских поездов. О чем говорят у нас в Польше в театре и в поезде? — спрашивает польский журналист и горестно восклицает: о дороговизне, о том, какой министр проворовался, об очередных великосветских скандалах и о всяких политических сплетнях. О чем говорят в СССР? О том, какие строятся новые фабрики и заводы, о новых совхозах и колхозах, о цифрах добычи угля и нефти, о количестве вступивших в бой тракторов. Американец Никербоккер и поляк Мацкевич никак не могут понять, как могут люди, работающие ударными темпами, отдающие строительству все свои силы, говорить о труде в минуты отдыха. Обоим им даже не приходит в голову, что на их недоуменные вопросы есть простой ответ: в СССР не просто работают, в СССР строят социализм.

Не случайно американец Никербоккер, говоря о победоносных темпах нашего строительства, со злой усмешкой прибавляет, что великий Советский Союз создается путем «выголодания». Этот термин исторического происхождения и притом взят из германской истории. Впервые выражение «grosshungern» было применено по отношению к Пруссии, которая путем такого жестокого накопления государственных средств будто бы превратилась затем в великую Германию. Во избежание всяких недоразумений необходимо, однако, внести здесь же некоторые весьма существенные исправления в буржуазную историографию, ибо настоящего могущества империалистическая Пруссо-Германия достигла после трех войн, ограбив по очереди три народа, в особенности французский, после победоносной франко-прусской войны 1870 г. и оросив народное хозяйство своей страны золотыми миллиардами контрибуций, взятых с других стран.

Это первая, как видит читатель, весьма существенная поправка к истории будто бы «выголодавшейся к могуществу» Германии. Другая еще более существенная поправка заключается в том, что германское могущество носило сугубо империалистический характер и не только не привело к поднятию жизненного уровня широких народных масс, а наоборот, понизило этот жизненный уровень, создав предпосылки для быстрого образования монополистического промышленно-финансового капитала, весьме утонченно развившегося систему эксплоатации трудящихся. Из этих двух поправок совершенно ясно, что попытка сравнить наш процесс индустриализации страны с

процессом индустриализации Германии за последнюю четверть прошлого века является определенным покушением с негодными средствами на фальсификацию истории и современности, причем эта фальсификация имеет совершенно определенный политический смысл и умысел. Сравнивать наш процесс индустриализации страны с германским процессом, пуская в ход терминологию, исходящую из основного термина «выголодаться до могущества», авторы этого псевдо-исторического сравнения хотят вызвать в широких народных массах за пределами Советского Союза совершенно определенное представление о нашем промышленном строительстве. Воспоминания о германском промышленном развитии связаны с воспоминанием о пролетаризации широких масс мелкой и даже средней буржуазии, или вернее даже не пролетаризации, а пауперизации, ибо деклассированные развитием монополистического капитала мелкобуржуазные массы с большим трудом находили себе место в производственном механизме страны. Воспоминания о промышленном развитии Германии связаны с представлением о демпинге, причем не о том фантастическом демпинге, который ныне совершенно облыжно приписывается Советскому Союзу, а о демпинге классическом, приводящем к выбрасыванию на мировой рынок товаров, добытых с помощью неслыханного понижения зарплаты и повышения цен на внутреннем рынке с помощью протекционистских тарифов. Воспоминания о промышленном развитии автоматически вызывают в памяти требования германских империалистов о предоставлении им «места под солнцем», т. е. передела колоний и возможности политического и экономического порабощения малых народов. В применении к нашему промышленному строительству терминологии, заимствованной из истории промышленного развития Германии, имеется попытка осторожного внушения не разбирающимся в исторических тонкостях массам по методу параллели, что наше форсированное промышленное развитие обязательно должно привести к тем же результатам, что и форсированное промышленное развитие Германии, т. е. к вооруженному столкновению.

Нечего и говорить, что вся данная историческая параллель, как было отмечено выше, неверна и незаконна. Во-первых, наше промышленное развитие идет не во имя обогащения одной только верхушки, одного определенного класса, и уже поэтому наш процесс промышленного развития страны никак не может привести к ухудшению положения народных масс, а должен в качественных и количественных показателях привести к улучшению положения всего населения. В истории промышленного развития Германии действительно было «выголодание к могуществу», причем выголодание трудящихся во имя могущества правящих классов. Между тем у нас имеет место лишь перемещение потребностей решительно всего населения во имя жизненных интересов этого самого населения.

Как это ни странно, но по адресу нашего промышленного строительства термин «grosshungern» был впервые применен именно немцами. Делалось это совершенно сознательно, ибо побежденная в империалистической войне германская буржуазия пыталась сравнить лишения трудящихся, вызываемые в Германии репарационными тяготами, с ограничением удовлетворения некоторых материальных потребностей у нас. В своей попытке переложить на трудящихся Германии все репарационные тяготы буржуазия Германии пыталась воспользоваться некоторыми антисоветскими лозунгами. Во-первых, она пыталась доказать, что и в СССР, мол, терпят лишения, хотя СССР войны не проигрывал и версальских «мирных условий» не подписывал. Если, мол, в СССР терпят лишения, то побежденной Германии сам бог, мол, велел терпеть. Это сравнение опять неверно, ибо урезка некоторых материальных потребностей у нас даже не может сравниться с тем голодным пайком, на который посадил Германию Версальский мир. Главная же поправка заключается в том, что в Германии после поражения в мировой войне жизненный уровень масс непрерывно падает без всяких видов на улучшение положения в то время, как у нас со времени победы над интервентами и контрреволюцией во всех ее видах жизненный уровень масс беспрерывно поднимается. Этим весьма наглядно демонстрируется полнейшая бессмысленность жертв трудящихся Германии и наивысшая продуктивность или, говоря языком капиталистов, доходность наших «жертв». Во-вторых, германская буржуазия пыталась доказать, что процесс промышленного развития Советского Союза лишает Германию рынка. Некоторые круги германской буржуазии даже договаривались до того, что СССР, форсируя свое промышленное развитие, уклоняется от своего исторического пути, ибо история, как известно из германских учебников, предопределила России быть аграр-

ным придатком Германии. С этим германским утверждением мы здесь спорить не будем, ибо Октябрьская революция, как известно, похерила много более существенного и крепкого, чем германские учебники истории. Здесь же мы останавливались на этих сравнительно весьма свежих претензиях Германии к нашему промышленному развитию только потому, что именно в свете этих претензий еще более любопытно признание социалистического характера нашего промышленного развития, исходящее от видного буржуазного журналиста Германии.

Речь идет об Артуре Юсте, долголетнем московском корреспонденте одного из виднейших органов германской печати «Кельнише Цейтунг», который напечатал в журнале «Геополитик» очень занимательную статью «Самодовлеющее русское пространство» (Der autarche russiche Raum»). Юст при всей его внешне-политической установке на добрые отношения Германии с Советским Союзом, человек нам с классовой точки зрения, несомненно, враждебный. Это классовый враг, но не из глупых, поэтому с его статьей не лишне ознакомить советского читателя тем более, что она великолепно в некотором отношении дополняет изложенную нами книгу Никербоккера, округляя, таким образом, капиталистическое признание нашего социалистического строительства.

Юст пишет: «После того, как победил Сталин, а Троцкий был послан в изгнание, в Советском Союзе очень серьезно и сознательно пытаются осуществить экономическую автархию (самодовлеющую независимость). Тезис Троцкого, сформулированный самым простым образом, гласил: не может быть социалистического государства без предварительной победы мировой революции. Сталину удалось доказать, что большевики могут построить социализм на том пространстве, которое находится в их распоряжении. Решающим моментом является не то, соответствует ли происходящее в СССР в действительности идеальному представлению Карла Маркса о социализме. (Скромность и признание своей некомпетентности в данном случае со стороны буржуазного корреспондента прямо умилительны. Н. К.). Большевики совершенно правильно возражают своим критикам, что еще не было лучшего примера — что такое социализм — чем тот, который дали они. Решающим является только тот факт, что не только политически, но во все увеличивающихся темпах экономически и в области культуры большевики противопоставляют Советское государство остальному капиталистическому миру, что они хотят догнать и перегнать Европу и Америку. Движущие силы, стоящие за этими планами развития, исходят из уверенности в неизбежности войны, из страха перед блокадой и из стремления сделаться независимыми от вражеского окружения. Не приходится сомневаться в том, что налицо имеется желание осуществления автархии, даже больше того, в данном случае имеет место закономерное последствие, получающееся из желания данного государства жить, поскольку это государство желает развиваться по своим собственным законам и должно поэтому стремиться обороняться от всяких чужих влияний. С московской точки зрения это государство только тогда вообще имеет смысл, если оно в любой момент своего существования будет столь независимо, сколько это только возможно, и если оно все свои силы отдает на достижение этой абсолютной цели.

Извне глядя, дело обстоит совсем иначе. Получившееся вследствие революции 1917 г. выпадание русского пространства из оборота мирового хозяйства оказалось по окончании мировой войны очень неприятным сюрпризом. Сравнительно быстро происшедшее восстановление новых экономических отношений между странами-победительницами и отрезанным от остального мира побежденными, это восстановление не имело места между Россией и остальным миром, хотя и для этого были соответствующие возможности. Концессионная политика Ленина открывала пути, которые могли привести к колониально-капиталистическому использованию России(?!). Не приходится сомневаться в том, что миллиардные вложения иностранных капиталистов в 1923—25 гг. имели бы весьма значительное влияние на судьбы Советского государства. Если международный финансовый капитал этого не осознал достаточно рано, то он, вероятно, совершил одну из крупнейших и решающих ошибок, так как международный финансовый капитал позволил господствовать над собой политическим чувствам, а не экономическим соображениям. Исходной точкой для увеличения заинтересованности капиталистического мира в том, что происходит в Советском Союзе, является не появление Советского государства, как экспортера зерна на мировом рынке, а осознание, что во время мирового кризиса хозяйства необходимо вспомнить о вылущенном из мирового хозяйства русском пространстве, которое ока-

залось совершенно незатронутым этими общими (кризисными) явлениями и живет своей обособленной жизнью.

Сохранение всего народного хозяйства, транспорта, аппарата распределения товаров, развитие индустриализации по плану, соответствующему политическим требованиям, развитие культурных учреждений (школ, научных учреждений, книжного и газетного дела) из собственных средств без участия иностранного капитала в тяжелых условиях медленного капиталообразования, типичного для аграрной страны, все это, несомненно, экономические явления, которые заслуживают внимания.

Планы индустриализации Советского Союза исходят принципиально из того, что возможно использовать технический опыт высокоразвитых промышленных стран для того, чтобы, говоря словами Сталина, перепрыгнуть 50—100 лет. Восхищение Америкой имеет здесь весьма глубокий идеологический и политический смысл. Америка с ее размерами, напоминающими русские размеры, является руководящей страной с технической точки зрения. Постепенные ступени органического развития, которые проходила Европа, здесь, т. е. в СССР, никому не импонируют. Для того, чтобы достигнуть экономической самостоятельности, для того, чтобы «догнать и перегнать» имеется только один путь: использование опыта заграницы. Ленин точно это формулировал при обосновании концессионной политики.

При оценке различия экономических систем, капиталистической и социалистической, не приходится сомневаться в том, что последняя занимает позиции, дающие ей многие и весьма важные преимущества. С помощью монополии внешней торговли Советское государство создало наивысшую протекционистическую охрану. Фактически при своих деловых сношениях Советский Союз, в виду наличия всеоб'емлющей центральной власти, никогда не имеет дела с капиталистическим миром, а только с отдельными капиталистами. Распространенный теперь во Франции взгляд, что русской монополии внешней торговли можно противопоставить какой-либо исключительный режим для выравнения структурых различий, не является общим решением вопроса. В действительности такого решения нет, поскольку в рамках отдельных национальных хозяйств нельзя устранить конкуренции индивидуальных сил. Как строгий хозяин дома, Советское государство хранит у себя в кармане ключи к своему дому и не даст пробить каких-либо побочных дверей».

Что интересно в этих признаниях германского буржуазного журналиста? Он свидетельствует, что мы восстановили свое народное хозяйство, разрушенное войной и гражданской войной, без помощи иностранного капитала. (Вспомним о дауэсовско-юнговской Германии!) Мало того, он даже утверждает, что мы, опять-таки употребляя германское выражение, из нужды сделали добродетель и за отсутствием иностранной помощи пошли своим собственным путем, развивая гигантское государство в совершенно независимый от капиталистического окружения хозяйственный организм. Он даже пытается доказать, что «международный финансовый капитал совершил одну из крупнейших и решающих ошибок», не пожелав вложить капиталы в наше хозяйство и упустив, таким образом, возможность взять нас, т.е. изменить наш политически-экономический облик тихой сапой с помощью золота. Эта установка буржуазного корреспондента получается из полнейшего непонимания ленинской политики нэпа и концессий, ибо теперь пора было бы понять, что и то и другое не было отступлением с риском докатиться до буржуазной деформации Советского государства, а гениально продуманной установкой на то, чтобы «из России нэповской» сделать «Россию социалистическую». Но признавая «ошибку» международного финансового капитала, буржуазный корреспондент косвенным образом признает, что процесс индустриализации нашей страны, который питается исключительно нашими внутренними ресурсами, не есть просто процесс индустриализации, а есть еще к тому же процесс социалистической индустриализации, ибо народное хозяйство, совершенно независимое от всего капиталистического окружения, есть несомненно хозяйство социалистического порядка, ибо сам буржуазный корреспондент, очевидно, не знает других видов народных хозяйств кроме этих двух.

Таким образом, у Юста, как и у Никербоккера, мы имеем капиталистическое признание нашего социалистического строительства.

Еще более любопытен и знаменателен вывод, который делает Юст из этого своего признания. Он говорит: «Индустриализация до сих пор почти пустого русского пространства, открытие совершенно новых, отчасти совершенно неизвестных источников сырья в Европейской части мира должны с точки зрения миро-

вого хозяйства иметь огромное значение. Виды на развитие крупного аграрного хозяйства в Советском Союзе расцениваются (буржуазными) специалистами весьма оптимистически. Южная Америка совершенно справедливо чувствует, что Россия опять завоевывает то место, которое она занимала на мировом хлебном рынке до мировой войны. Верно и то, что старые промышленные государства должны будут при изготовлении своей продукции осознать силу Советского Союза и брать сырье там, где они его смогут дешевле всего купить (т. е. в Советском. Союзе). Противоречия и затруднения лежат в большинстве случаев в политической области. Здесь начинается взаимодействие: если Советское государство уже сегодня совершенно независимо, то и капиталистический мир независим от него. Если Советское государство захочет остаться в этой автархии, то капиталистический мир сумеет обходиться без Советского Союза. Экономические и исторические необходимости идут, однако, не в направлении установления такой автархии. Если политическая воля (чья? Н. К.) будет этому сопротивляться, то получается материал для конфликта».

Краткий смысл всей этой длинной тирады таков: буржуазный журналист переходит на оборонительные позиции и предлагает нам жить в автархии и давать жить в автархии же капиталистическому миру. Еще лучше было бы если бы мы согласились жить так, как по его мнению этого требуют «экономические и исторические необходимости». В противном случае неизбежна война, неизбежно вооруженное столкновение двух систем. Если Юст при этом говорит, что «капиталистический мир сумеет обойтись без Советского Союза» и в то же время угрожает нам вооруженным столкновением, то неувязка здесь — сплошная видимость: Юсту великолепно понятно, что в условиях беспримерного экономического кризиса капиталистического мира, о котором он сам говорит, этот капиталистический мир не может спокойно перенести нашего преуспевания в условиях полной автархии. Недаром он сам подчеркивает, что капиталистический мир вспомнил о нашем существовании не потому, что мы появились, как экспортеры на мировом рынке (этим, между прочим, наносится смертельный удар демпинговской легенде), а потому, что мы, в виду нашей социалистической автархии, совершенно не затронуты и не можем быть затронутыми кризисными явлениями капиталистического мира. При таких условиях слова о возможном столкновении звучат совершенно недвусмысленной угрозой.

Еще ярче, чем на примерах Юста и Никербоккера, признание наших успехов и достижений, признание успеха не только нашей индустриализации, но и ее социалистического характера, выступает при противопоставлении голосов буржуазной печати времен начала осуществления пятилетнего плана народного хозяйства и нынешнего времени. Мы цитируем:

Орган рейнских промышленников «Рейниш Вестфелише цейтунг» писал в конце июня 1929 г.: «Этот план, называемый пятилеткой, является камнем мудреца и его хотят осуществить любой ценой, хотя бы из-за этого погибла Россия. Тогда Россия станет раем на земле вместо того клабища, которое она представляет теперь. Нет ничего более показательного для социалистических властелинов, чем этот утопизм. Кто верит в этот пятилетний план, в это экономическое пророчество перенесения американских завоеваний культуры в русскую экономическую Сахару? Несколько восторженных голов. И все-таки этой чепухой занимаются с самым серьезным видом». Другой орган германских промышленников «Дейче бергвекс цейтунг» писал в августе 1929 г.: «Весь этот план является классическим примером того, до чего чужд действительности мир коммунистических идей, хотя коммунизм и обещает рабочему классу счастье и довольство».

Крупнейший орган французской буржуазии «Тан» вещал в мае того же 1929 г.: «Политическая экономия русского коммунизма совершенно ясна: она приносит все в жертву индустриализации и хочет перепрыгнуть все промежуточные ступени, пожертвовать настоящим поколением и в продолжение сравнительно короткого времени создать что-то, что само должно удовлетворять свои потребности. В надежде на осуществление этого плана советы требуют от своих приверженцев таких же жертв, которые требовались во время второго года французской революции от солдат, которые пошли босыми завоевывать Европу». И, наконец, самый махровый орган социал-фашизма «Форвертс» писал в феврале 1929 г.: «Русское народное хозяйство, в котором больше 80% населения занято в примитивном и отсталом сельском хозяйстве, меньше всего созрело для социалистического планового хозяйства. Нет для него об'ективных предпосылок. Плановый экономический радикализм, доведенный

в Советском государстве до последней черты, должен был бы довести до самого тяжелого паралича и более прогрессивные народные хозяйства».

Итак, камень мудреца, чепуха, жертвы, подобные жертвам времен Французской революции, и, устами социал-фашистского органа, все это происходит в стране, где нет никаких об'ективных предпосылок для планового социалистического хозяйства.

Прошло два года, наступил третий решающий год пятилетки и мы читаем:

Французская газета «Волонтэ» (от 25 февраля 1931 г.): «Франция только что открыла Советы. Достаточно было, чтобы Пармантье, один из самых наших опытных экономистов, вернулся из Москвы и об'явил об успехе пятилетнего плана, чтобы большая часть нашей печати пришла в волнение. В действительности такое показание способно вызвать мысли, полезные во многих отношениях. Если стать на чисто интеллектуальную точку зрения, то мы, французы, должны теперь научиться формулировать свои мнения не так страстно и более об'ективно (не только французам это полезно. Н. К.). В отношении России мы сделали странную ошибку и все время заявляли, что вещи выглядят так, как мы хотели бы, чтобы они выглядели, а не как они выглядят на самом деле. Противники коммунизма упорно пророчествовали нам провал советского режима и отрицали всякий успех его дела. Однако лойяльность требует признания, что концепция и осуществление пятилетнего плана требовали особых добродетелей. Сколько государственных деятелей могли так точно и всеоб'емлюще составить план, который разработал Сталин для того, чтобы добиться индустриализации России? Сколько затруднений приходилось преодолевать каждый день: лень славянских рабочих и крестьян, огромные пространства, откровенную враждебность иностранных государств, которые должны были дать техников и промышленное оборудование. И все-таки Пармантье приходит к выводу: план удался на 75—80%».

Один из самых реакционных органов не только Франция, но и мира — «Эко де Пари» (22 февраля 1931): «В ближайшем будущем Советская республика зальет не только Восток, но быть может и весь мир своими товарами и этим поставит под угрозу самое существование европейских наций. Эти нации только тогда избегнут паралича, если они об'единятся против этого нового противника и перестанут бесконечно спорить по данному вопросу. **Исход великих битв во имя обладания миром не зависит уже больше от пушек**».

Мы только что читали, что писала «Дейтче бергвергс цейтунг» в 1929 г. Но 3 марта 1931 г. эта же газета писала: «С необыкновенным упорством и энергией еще в 1927/28 г. в Советской России приступили к развитию большого промышленного хозяйства. Основной целью является возможно быстрое достижение полной автархии страны в области промышленности для того, чтобы защитить систему от всяких помех со стороны капиталистических государств. Осуществление промышленного развития удалось в значительной мере уже в первые годы приведения в действие пятилетнего плана народного хозяйства. Оно идет дальше, несмотря на все весьма значительные затруднения».

«Франкфуртер цейтунг» заявила 2 апреля 1931 г.: «Пятилетний план Советского Союза долго рассматривался во всем мире со снисходительной улыбкой. И вдруг скептический мир за пределами Советского Союза встрепенулся, когда полгода тому назад русские появились в Америке, на Балканах, во всей Европе с так называемым «демпингом» пшеницы, леса, спичек, табаку и т. д. Россия предстала перед нами, как великан, который, правда, все еще нуждается в кредитах, но который уже в ближайшем будущем станет самым могущественным фактором мирового рынка».

И, наконец, известное американское агентство «Юнайтед Пресс» писало в одном из своих сообщений из СССР (в декабре 1930 г.): «Во всяком случае Сталин делает историю в большом масштабе. Если он будет иметь успех, то этим самым коммунизм вступит в число тех идей, осуществимость которых доказана и которые должны поэтому быть серьезно приняты во внимание всеми теми, кто изучает народное хозяйство и социальные вопросы. Однако одним из самых важных последствий этого успеха пятилетнего плана будет то, что Россия с ее огромным населением, представляющим великолепный боевой материал, станет одной из богатейших и могущественнейших стран мира».

Итак, прошло только два года, мы только вступили в третий решающий год пятилетки и теперь мы слышим из капиталистического лагеря: план осуществляется, его осуществление требует добродетелей, которых нет в капита-

листическом мире, у капиталистического мира нет таких государственных деятелей, которые могли бы продумать такой гигантский план; достигается автархия социалистической страны, капиталистический мир перестал скептически улыбаться, Россия предстала, как великан, доказана осуществимость коммунизма и в то же время Россия становится величайшей и богатейшей страной мира. И только престарелому папе социал-фашизма Карлу Каутскому дано было одновременно с этими заявлениями буржуазной печати пропищать: «Этот сумасшедший эксперимент не может кончиться иначе, как страшной катастрофой. Не так обстоит дело, что эксперимент может не удасться, а можно уже теперь с уверенностью сказать, что он должен разбиться и не может не разбиться». Но буржуазный германский журнал «Геополитик», приведя это шамкание Каутского из книги с весьма несезонным заглавием «Большевизм в тупике», сухо отмечает: «Каутский, конечно, не привел никакого доказательства того, что развитие Советского Союза ведет к «страшной катастрофе».

Что же — эта установка социал-фашизма быть может даже еще ярче оттеняет вынужденное действительностью капиталистическое признание нашего социалистического строительства, его решающих успехов на третьем году пятилетки.

Рейс труда

П. Слетов

(Окончание)

О СВЯЗИ И СВЯЗЯХ

Связь — нервная система армии.

Приморские комбинаты АСО, такие как Най-Найский, Пилевский, Хойский, вытянулись вдоль побережья Татарского пролива. Сопки преграждают путь в глубь острова, только долины рек позволяют отойти от берега. Характер этих комбинатов определяется лесным и рыбным промыслом. Середина острова занята Верхне-Тымовским и Средне-Тымовским сельскохозяйственными комбинатами — течение Тыми, да еще Пароная создало земельные площадки, годные для сельского хозяйства. По Охотскому морю расположились комбинаты Катанглиевский, Пограничный, Охинский— основной упор в них на зверобойный и рыбный промыслы. К ним же можно причислить и Северный, тонущий в тундрах. В отношении геологических ископаемых запад острова дает преимущественно уголь, восток — нефть. Но горное дело не было предметом хозяйственной деятельности комбинатов, им ведал непосредственно горный отдел АСО, что же касается нефти, то добыча ее все время оставалась в руках центральных государственных органов нефтяной промышленности.

Все эти районы сообщаются между собой, снабжаются, экспортируют свою добычу преимущественно морем. Внутриостровным путем сообщения может служить только река Тымь, да и то не во всех случаях, и грунтовые дороги. Морские пути, для которых центром западного побережья является город Александровск, тяготеют к Владивостоку, восточное же побережье, где центром можно считать Оху, — к Николаевску на Амуре. Пароходные рейсы редко бывают кругосахалинскими — чаще рейс ограничен либо Татарским проливом, либо Охотским морем. Поэтому — чтобы прибыть из Охи в Александровск морским путем, приходится тратить недели, попадая иной раз для этого на материк через Николаевск или В.-Восток.

Зависимость острова от работы флота огромна. Недостаточность тоннажа и дефекты постановки работы Совторгфлота прямо отражаются на снабжении Сахалина, на темпах его работы, на промфинпланах его хозяйственных органов, на быте и здоровьи островитян. Нужно сразу же сказать, что множество примеров говорит о работе личного состава Совторгфлота как о работе самоотверженной и героической. В бурях, во льдах пароходы обслуживают Сахалин по всему его побережью, отсутствие порта заставляет делать остановки в самых неподходящих местах, в самое неподходящее время, сберегая тем самым затраты, которые пришлось бы понести на развоз сушей по острову грузов, завезенных в его хозяйственные центры. Но в то же время работа Совторгфлота вызывает подчас самую горькую досаду сахалинских хозяйственников. Не говорю уже о многочисленных случаях ошибок: засылки грузов не по адресу, опозданиях, случаях, когда части одного целого, какой-нибудь машины, оборудования, сгружаются по какому-то недоразумению в разных пунктах острова или прибывают разными пароходами в разное время, даже не в один сезон, и ржавеют, бесполезно ожидая следующей навигации. Здесь трудно установить кто виновник. Хозяйственники кивают на Совторгфлот, моряки ссылаются на бестолковщину, царящую в работе хозяйственников. Взаимные упреки мало помогают делу—

улов сельди гниет без соли и тары, рабочие сидят без табака, промыслы — без рабочих, и т. д., в то время как владивостокские склады АСО ломятся от ожидаемых на острове товаров и завербованные рабочие разлагаются в тесноте и безделье гостиниц и бараков Владивостока. Но поневоле разводишь руками при виде прямых разрушений, к которым ведет небрежность работы флота, граничащая с преступлением. Такова, например, история с оборудованием деревообделочной мастерской АСО: из четырнадцати новеньких импортных станков нет почти ни одного, у которого не была бы разбита станина или поломана какая-нибудь часть. Чугунную станину можно сварить даже средствами ремонтных мастерских острова, но что делать с согнутым шпинделем сверлильного станка, который если можно выправить, то невозможно выверить при отсутствии точных приборов? В этом печальном случае, как, впрочем, и во многих других, виновен, конечно, Совторгфлот, не умевший правильно погрузить дорогого оборудования, работа его стивидоров, не обращавших внимания на то, с какой стороны находится на ящиках полозья, означающие низ.

Так обстоит дело с основным извозчиком Сахалина, развозящим генеральные грузы, Совторгфлотом. Но обслужить постоянные текущие нужды сахалинского побережья он, конечно, не может, да это и не входит в его задачи. Постоянные переброски рабочих с одного промысла на другой и мелких грузов совершаются на катерах, на буксируемых кунгасах, на кавасаки [1]. Маленькие эти суденышки пускаются иногда в длинные рейсы на несколько сот километров. Обычный же для Сахалина радиус их действия — километров до ста. Весною прошлого года катеров было мало, и были они слабосильны. К концу навигации плавучие средства АСО разрослись в маленькую флотилию до двадцати катеров, имея в своем составе девяностошестисильные катеры японской стройки, снабженные маленькими прожекторами, электрическим освещением, просторным кубриком. На одном из них мне пришлось проделать путь из Александровска до Най-Ная. Чувствуешь себя, как на маленьком пароходе. Но ничего не может быть подлее плавания на кавасаки — сужу по опыту поездки из Пильво в Александровск. Семьдесят километров, отделяющие эти два пункта, мы одолевали в течение десяти часов. Пассажирами кавасаки были пятьдесят дроворубов, тесно сидящих по всей палубе, да несколько человек рабочих, в том числе и женщины. Люди ели, отправляли естественные потребности, за неимением уборной, прямо в воду, на глазах у всех, опять ели и проклинали длительность пути, смотря невеселыми глазами на поразительной красоты обрывистые берега, ввиду которых шли — красоты природы были тем поразительнее, чем невозможнее выброска в случае нужды на берег. Мотор шумел бессильно, как кухонный примус, так же, как и он, засорялся и давился керосином. Потом берег закрылся туманом, по краю которого плавали турпанчики. Тогда все молча вспомнили, что на кавасаки нет ни компаса, ни сирены, ни фонаря, ни одного спасательного круга — так вспоминают каждый раз, но каждый раз молча, ибо эта роскошь не положена кавасаки по штату. К мысу Рогатому подошли, когда уже стало темнеть и поднимался встречный ветер, но о мысе можно было только догадываться потому что его не было видно, и никому не возбранялось думать, что ветер и волнение усилились от того, что это начало шторма который в этих местах «всегда готов»; что мы уже сбились с пути и идем в открытое море. Потом стало совсем темно, холодно и кругом виднелись только белые гривы валов. Кавасаки стало побрасывать. Скоро он уже не мог сладить с волной — то с треском хлюпал по ней обнаженным днищем, то купал нас, правобортных по колено в воде. Как вспомнишь — какая тоска была. И какая радость — увидеть, наконец, забрезжившие огни Октябрьского рудника, а потом Дуйского — час пути до Александровского ковша. Сосед мой, снабженец, только в ковше встал со своей меховой куртки, на которой сидел, и надел ее; я не спросил его, зачем он зябнул в пути — он сам признался:

— Последний раз плаваю на кавасаки, будь он проклят, я думал — придется к берегу вплавь...

Напрасно только он зарекался. Этот моторизированный дальневосточный ковчег был и, очевидно, надолго еще будет преимущественным плавучим средством, обслуживающим ежедневные надобности сахалинских рыбалок. И само собой разумеется, что мелкие каботажные рейсы куда опаснее плавания на пароходе по сахалинским водам. Работа на кавасаки зачастую — повседневное геройство, будний рабочий урок. Необеспеченность этих мелких

[1] Моторный кунгас.

рейсов усугубляется тем, что сахалинские побережья почти не имеют маяков и метеорологическая служба поставлена очень слабо.

Почта и живой человеческий груз, по степени своей срочности, обслуживается еще и Добролетом, рейсами: Александровск, Хабаровск — Оха и обратно. В Александровске самолеты садятся в устье реки Александровки. По расписанию они должны прибывать через день и столько же раз улетать на материк. Но природа этих морей такова, что к моменту моего пребывания на острове от трех машин, обслуживающих остров, осталась только одна— все остальные выбыли из строя, поврежденные при посадках. Поэтому заманчивое сокращение в среднем пятнадцатидневного пароходного и железнодорожного пути от Александровска до Хабаровска удается обычно не сразу,— купившие билет пассажиры подчас долго ждут, буквально ждут у моря погоды, прежде чем сесть в кабинку самолета. И дело не только в том, чтобы самолет прибыл. Часто по прибытии он принужден несколько суток выжидать, пока рассеется туман, покрывающий Татарский пролив. Туман этот, отступая от берега на три-пять километров, стоит сплошной стеной в пятьсот метров высоты. Летчик и очередные пассажиры с биноклями в руках стоят на берегу и тоскливо ожидают, пока туман рассеется налетевшим ветром. Но он, как на зло, на несколько дней останавливается над проливом, скрывая горизонт. Осторожный летчик, боясь превысить «потолок» аэроплана, запрашивает метеорологическую станцию. А та... — не может ничего сказать.

И Совторгфлот, и Добролет прямо зависят в своей работе от метеорологической службы, прямо заинтересованы в ней. Кораблевождение и авиация вообще требуют прогнозов погоды, а в этих краях — в особенности.

Поэтому, прежде чем выносить то или иное мнение о работе морского и воздушного транспорта, нужно учесть степень ориентированности в метеорологических условиях пути, которую дает им сеть станций Владивостокского Убеко. Увы, она весьма невысока. Об этом говорит, во-первых, самая цифра станций. На западном побережьи Сахалина имеется маяк на мысе Женкьер, со станцией при нем, и Александровская метеорологическая станция (обе — второго разряда). В центре острова ведутся наблюдения при Тымовском совхозе, на восточном побережьи — в Ногликах и Охе (все станции относятся к третьему разряду). Так как метеорологические сводки отсылаются телеграфно во Владивосток только двумя станциями западного побережья, то ясно, что остальные не играют никакой роли в профилактике погоды, служат только местным целям. Две станции для береговой линии всего советского Сахалина — это более, чем недостаточно. К тому же они отстоят весьма близко друг от друга — всего на несколько километров. Но и эти станции почти не могут оказать помощи в деле предсказания погоды, потому что сведения их почти всегда ограничены лишь собственными наблюдениями — об изменениях погоды в соседних морях, о надвигающихся циклонах они узнают обыкновенно пост-фактум, когда шторм уже налетел. Поэтому на вопрос пилота заведующий гидро-метеорологической станцией принужден отвечать тем, что сообщает, кроме дневных последних показаний приборов, местные признаки, «которыми метеорология никогда не пренебрегала» — полет ласточки, поведение мух, растений и проч. При всей их убедительности летчик не может на этом основании взять на себя ответственности за полет.

А случаются и такие казусы. Когда я был на мысе Женкьер, руководитель работ по постройке порта инженер Светаков сообщил мне, что получил предупреждение станций о немедленном приведении в готовность всех средств связи, ибо ожидается тайфун, который все сорвет и разрушит, и о недопустимости выхода в море катеров.

— А, вот видите, — говорил Светаков, — день тихий, спокойный, катера мои в море, и ничего не случилось. Это уже второй раз — не могу же я по каждому предсказанию останавливать работу.

Впоследствии заведующий метстанцией сказал мне, что «значит, тайфун прошел стороной».

Кстати, курьез из этой же области: устраивая склад взрывчатых веществ, Светаков обратился к старожилам с вопросом — бывают ли грозы. Ответ был.

— Никогда не слыхано. У нас этого нет.

В тот же день разразилась сильная гроза с громом и молнией.

Возвращаясь к метеорологической службе, нужно сказать, что работа станций чрезвычайно осложнена, подчас сводится на-нет слабостью работы местного телеграфа. Сахалин не имеет кабельной связи с материком — кабель давно испорчен и занесен песком. Телеграфная связь поддерживается радиостанцией. Обследование

этой радиостанции показало, что и требовать-то от нее особенно нечего. Помимо перегрузки — ибо на нее навалилась вдруг работа по обслуживанию вдвое большего населения и неслыханно оживившегося островного хозяйства — выяснилось множество самых невозможных условий работы. Рядом с помещением станции находится тракторная колонна АСО, где постоянно грохочут машины — каково же работать слухачу? Помещение рации общее с почтовой конторой, публика галдит. По ночам тухнет электричество, не найдут керосиновых ламп. Согласимся — мудрено в такой обстановке быть на высоте положения. Каждый час простоя — сорок потерянных для приема и передачи телеграмм. Результаты сказываются не только на частной переписке рабочих, оставивших семью на материке, — хронически страдает и метеорологическая служба. Из пяти метеорологических сводок Владивостокской приморской обсерватории за пятидневку получается две-три. Иногда приводят без начала, следовательно, не датированные, можно предположить опоздание, а, значит, предсказание теряет достоверность. Как правило, сводки запаздывают на один день, т. к., как правило, обесцениваются. В свою очередь В.-Восток получает из четырнадцати телеграмм александровской гидро-метеорологической станции одну-две.

К состоянию связи на острове и к главнейшим чертам сахалинского климата по наблюдениям метстанций я еще вернусь. Сейчас важно отметить, что телеграфом, повидимому, кончается этот знакомый по сказке ряд: дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку... Завоз на остров грузов, кораблевождение, авиация — метеорологическая служба — телеграф. Дефекты одного цепляются за дефекты другого. А все упирается — от этого вывода не уйти — в организационный момент, в Каниферштанг. Бедный Каниферштант, он мог бы предвидеть, что недостатки связи грозят иногда проигрышем сражения. Он должен был позаботиться о связи — сражение серьезное, генеральное. Оно не будет потеряно, но не дело же в момент операции вдруг осознать, что непредупредительность ставит под удар всю огромную работу.

Неаккуратность телеграфа — серьезнейшее испытание для островитян, теряющих на долгие сроки свои оставшие семьи. Но не менее ощутимо и другое лишение — оторванность от общей жизни Союза. Информация, поступающая в сахалинские газеты, чрезвычайно скудна, питается, главным образом, перепечатками из дальневосточных газет, а потому запаздывает на срок от восьми до пятнадцати дней. Телеграммы же ТАСС'а доходят из пятого в десятое. Характерен случай, когда речь представителя Дальневосточного края Перепечко на XVI с'езде партии была получена в первой своей части. Затем передача прекратилась, окончание пришлось взять после прихода почтового парохода из «Тихоокеанской звезды». После этого пришло и телеграфное окончание, уже бесплатно загрузившее радиостанцию.

Внутриостровная связь поддерживается почтово-телеграфными линиями: Александровск — Дербинское—Рыковское—Оноры и Александровск — Дуэ—Октябрьский рудник. На востоке Оха имеет собственную радиостанцию. Конно-почтовая связь (или на собаках зимой) действует в семи направлениях по грунтовым дорогам, прекраоное состояние которых отмечал когда-то Чехов. Теперь эти дороги пришли в упадок, ремонтируются и далеко не могут обслужить возросшие потребности острова — сеть их расширяется в зависимости от нужд и возможностей. Новые участки дорог по качеству своему первобытны, являясь простой просекой среди тайги. Чем ближе к Александровску, тем дороги лучше, позволяя развивать на автомобиле скорость до пятидесяти километров в час, без вреда для машины.

Все же нужно признать, что состояние внутренних дорог и линий совершенно не обеспечивает связи комбинатов АСО между собой и с правлением. Хозяйственное руководство от этого постоянно страдает. Нечего и говорить о связи прорабов с рабочими партиями на лесоразработках или на рыбных промыслах. А между тем при соответствующих усилиях можно было бы найти технические ресурсы, которые наладили бы и эту, чрезвычайно важную сторону дела.

ВЫЗОВ КАРАФУТО

В александровском рабочем клубе, в помещении его театра — полно. На сцене помещается президиум. Происходит совещание инженерно-технических сил острова. Обмениваются первым опытом, говорят о неожиданных препятствиях, ворвавшихся в планы, о местных условиях отдельных районов, требующих внесения поправок в принятые планы. Собрание

уже утомлено. Но вдруг поднимается волна напряженного внимания: очередной оратор оглашает цифры довольно далекой статистики, и странным образом она представляет для собрания чрезвычайный интерес.

...На 27 год население исчислялось цифрой 225 000 человек, а теперь, в 30-м году — до 280 000. Не забудьте, что японцы владеют Карафуто двадцать пять лет.

Оратор передохнул.. Так вот оно, в чем дело — речь идет о зарубежной половине Сахалина...

— Хозяйств на японской территории острова 44 000. Главный город Той-Ахо — 44.000 жителей; главный порт Отомара — 56 000 жителей; следующие по величине города — 36.000, 18 000, 15 000 и меньше. Ежегодное переселение 7000 человек. Бюджет Карафуто — 16 млн. иен дохода и 20 млн. расхода. Земли под сельскохозяйственными культурами 30 000 га. Занято в сельском хозяйстве 45 000 человек. Стоимость сельскохозяйственной продукции — 3,5 миллионов иен. Рыбные промыслы имеют 700 рыболовных участков; продукция — до 20 миллионов иен в том числе сельди на 12 миллионов. Лесная промышленность: годичный запас леса — 6 миллиардов кубофутов; лесозаготовка 27 года — 165 миллионов кубофутов, в том числе на внутренние потребности 50, и на вывоз с острова — 115 миллионов кубофутов. В 29 году заготовлено 180 миллионов кубофутов. Годовая добыча угля — 360 тысяч тонн. Культурное строительство: 3 больницы (17 старших и 240 практикующих врачей), 183 начальных школы, 2 средних, 4 высших женских курсов... Цифры эти долго потом, после закрытия совещания, повторялись работниками АСО, наряду с нашими, относительно скромными, контрольными цифрами текущего года. При небольшой разнице в площади территории они поражали относительной величиной. Они показывали, что можно сделать. Они подстегивали, пришпоривали. Кое-кто впадал в уныние. Но те, кто имел случай приглядеться к японским методам хозяйствования, кто в этом стыке двух культур — социалистической и капиталистической — умел заглянуть вперед, умел сравнить результаты той и другой в равных отрезках времени, те знали твердо: при равных внешних условиях мы перегоняем и не можем не перегнать. Потому что внутренние условия — одухотворенная сознательность труда, победоносные его темпы, социальная целеустремленность уже сейчас в некоторых отраслях хозяйства выравнивают наш фронт со значительно опередившими нас во времени дальневосточными соседями. И тем не менее цифры Карафуто, брошенные одним из асовцев в лицо собранию инженерно-технической секции, прозвучали, как вызов. Каждой цифре противопоставлялась цифра наших планов, вокруг них завязывались споры, и если осенний с'езд директоров комбинатов отмечал, что промфинплан не был обсужден на производстве, то этому виной все то же отсутствие налаженной связи с районами. Но эхо разговоров вокруг контрольных цифр прокатилось в той или иной форме по всем ячейкам рабочей общественности.

Сопоставление цифры с цифрой, конечно, не метод сравнения. Условимся — сравнение процесса с процессом приводит вернее к истине. О численности и росте населения советского Сахалина уже было сказано. Перейдем к остальным слагаемым островной действительности и перспектив по рубрикам, подобным докладу о Карафуто. Здесь очерк того, как подхвачен брошенный вызов.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПЛАНЫ

Очерковая литература о Сахалине — а тема острова имеет свою богатую очерковую традицию — не раз отмечала, пером, скажем, того же Чехова, невозможность развития сельского хозяйства при тамошнем климате. Но Чехов местами сам проговаривался в тенденции, которая руководила им. Благочестивая мысль создателей сахалинской каторги рассматривала остров, как чистилище, предназначенное к исправлению ссыльно-поселенцев, отбывших срок каторги, — отношение Чехова было целиком отрицательное именно потому, что эта мысль строила будущее сельского хозяйства острова на продлении наказания осужденных. За истекшие со времени чеховских впечатлений сорок лет от каторги не осталось следа. В то же время агрономическая наука и практика шагнули далеко вперед, появились новые сорта сельскохозяйственных культур, выдерживающие весьма северные широты. Словом, вопрос о земледелии на Сахалине приходится ставить на-ново.

Впрочем, он поставлен самой жизнью, всем разворотом хозяйственного строительства. До сих пор остров жил почти исключительно завозимыми продуктами. Сельское хозяйство не

давало товарного выхода, продукция шла на потребу самих землеробов. Поставленные задачи — дать товарный выход овощей, картофеля, мяса, молока. Хлеб предполагается попрежнему ввозить с материка, но в остальном сельское хозяйство должно поспеть за промышленностью, за бурным ростом населения, дать рабочему молоко не по 50 копеек, не по рублю зимой, а по 10—15 копеек за бутылку.

Очерковая литература о Сахалине подкреплена всевозможными ссылками на статистику, климатические условия острова, у Чехова — кропотливейшей регистрацией материального быта современных ему островных крестьянских хозяйств. Вот почему задача сегодняшних очерков Сахалина, его строительства, не может быть выполнена без соответствующих ссылок на данные более близкой нашей эпохе действительности. Сухость ближайших страниц, да найдет свое извинение в том, что за цифровыми выражениями результатов научно-исследовательских экспедиций, за протокольными формулировками планов лежит всегда живой глазомер ученого или практика, изучающего на месте сахалинские проблемы наших дней.

Авторами первого плана освоения земель на Сахалине были профессора. Имена их почему-то остались неизвестными мне, но знаю точно, что план этот так и зовется «профессорским». Намечал он к обработке по всей советской территории острова 110 000 га. Позднее, по данным профессора Красюка, земель, могущих быть обращенными под сельское хозяйство, найдено только 70 000 га. Общая же площадь сахалинских земель исчисляется в 4,2 миллиона га. На 99,2% она занята горами и тундрами, остаток в 0,2 миллиона га составляют прибрежные песчаные полосы, долины рек и ручьев.

План профессора Красюка был принят как рабочий план. Площадь, намеченная им к обработке, почти вся относится к центральной Тымь-Паронайской долине. Из 70 000 га только 18 000 причислены к плодородным, имеющим значительное содержание фосфорной кислоты — это первая заливаемая речная терраса. Две других террасы с площадью в 50 000 га с подзолистыми почвами расположены выше, гористее. Тымь-Паронайская долина имеет длину до 300 километров и ширину от 1 до 5 километров, тянется от устья Тыми с севера на юг, до японской границы, среди сплошных восточных и западных горных хребтов. Эта долина до сих пор была преимущественным районом сельского хозяйства, она-то и предназначена к совхозному и колхозному строительству.

Пахотных угодий в намеченных крупных совхозах будет около 30 000 га. Освоение долины потребует значительных работ по мелиорации и корчевке—60% всей площади долины, т. е. 40 000 га. В настоящее время под обработкой около тысячи крестьянских земледельческих хозяйств находится 3000 га посевной площади. Плотность населения долины — 0,8 человек на один квадратный километр (на острове 0,5 человек). Крупного рогатого скота в крестьянских хозяйствах — 4,6 тысяч голов, лошадей до 2.000, свиней также около 2.000. Основные культуры — овес, ячмень, яровая рожь и пшеница, картофель, турнепс, кормовая свекла, клевер с тимофеевкой, капуста, морковь, лук, огурцы и др.

Остальные сельскохозяйственные факторы: вегетационный период 120—125 дней; метеорологические последние обработанные данные, относящиеся к 1919 г., изданные в 29 году:

Средняя годовая температура

Александровск	Женкьер	Тымовский совхоз
+ 0.4	+ 0.8	— 22,4
— 17,8	— 16,7	+ 15,5
+ 16	+ 15,8	+ 15,8

Относительная влажность

Александровск			Женкьер			Тымовск. совхоз		
7 ч.	13 ч.	21 ч.	7 ч.	13 ч.	21 ч.	7 ч.	13 ч.	21 ч.
83%	74%	84%	85%	82%	83%	81%	70%	85%

Осадки (в сумме за год)

876,1	669,2	625,1

Облачность (1 балл—0,1 покрытия неба)

7,5	7,2	7,0	7,0	6,2	6,0	7,4	6,7	5,9

Туманность за год (метеорологический туман, закрывающий станцию)

18	31	16

Преобладающий ветер

Юго-Восток (но столько же штилей)	Сев.-Западн.	Южн. и штиль

Скорость ветра

4,5 м.	6,3	4,0	5,7	6,7	5,2	3,9	4,2	3,9

Поставленные задачи и естественные условия предопределили, в конце концов, следующий пятилетний план:

1. В Паронайском районе строится совхоз в 20 000 га, с уклоном: на 1-й и 2-й годы — скотоводческим, мясным, на 3-й — мясо-молочным, 4-й молочно-мясным и 5-й — масляно-молочным. В виду заболоченности огромных массивов Паронайской долины эволюция уклона сельского хозяйства проходит в зависимости от темпа мелиоративных и корчевальных работ.

2. Верхне-Тымовский район — зерновой совхоз на 12—15 тысяч га, со свиноводческим филиалом и филиалом воспитания молодняка крупного рогатого скота.

3. В Средне-Тымовском районе — совхоз в 20—25 тысяч га, с уклоном: для 1-го года— мясо-молочным, для 2-го — молочно-мясным, 3-го и последующих — масляно-молочным. Филиал свиноводческий. Эволюция та же, что и в Паронайском районе, только ускоренная в виду меньшей заболоченности.

4. Александровский район — молочно-огородный совхоз в 3000 га, со свиноводческим и птицеводным филиалами.

Кроме того были намечены к созданию за пределами Тымь-Паронайской долины, в районах Виахту и Охи, оленеводческие совхозы и звероводные хозяйства (пушной зверь) по 100 000 га.

Но сколько бы ни было намечено земель под разработку, промышленность растет настолько быстро, что сельскому хозяйству не поспеть за ней, если оно не будет держаться хотя бы даже высоких темпов центральных областей Союза. Это потому, что для удовлетворения нужд завозимых рабочих приходится осваивать много нетронутых новых земель, целины. А с этим связаны почвенные процессы, имеющие свои сроки. Те темпы развития и увеличения пахотных земель, которые вполне терпимы на материке, в виду соседства с производящими сельскохозяйственными районами, негодны, слишком медленны для острова. Материк спокойно ждет, чтобы взрытая, заново поднятая целина поспела на третий год. Острову ждать некогда—в первый же год надо получить эффект. Все это заставляет думать о таких методах обработки земли, которые ускорили бы естественные почвенные процессы. Мысль агрономов АСО останавливалась на применении, вместо вспашки, поднятия целины плугом, обработки ее фрезерами. Дерн, перевернутый плугом, гниет три года, а измельченный цапфами фрезера — год. Такова первая проблема и попытка ее решения.

Вторая трудность создания образцового сельского хозяйства на Сахалине — это клочковатость участков. Жители сельскохозяйственных районов, сахалинские землеробы, засевают землю маленькими клочками, в 2-3 га, пересеченными участками невыкорчеванных остатков тайги, болотами и т. д. При отведении земель под совхозы это создает большие затруднения. Тяжела в этих условиях роль трактора. Трактористы жалуются на сложность управления машинами при обработке и корчевании маленьких участков.

Далее. Создание совхозов, землеустроительные работы задевают интересы единоличных хозяйств. Классовый враг использовал советские органы вплоть до Окрзу, для скрытой борьбы против проводимого землеустройства. Явление это, знакомое нам и по материку, получало следующее конкретное выражение. Землеустроительная норма Окрзу — 1,2 га на едока — является ориентировочной и в конечном счете изменяется в зависимости от результатов обследования экономических и естественно-исторических условий в каждом отдельном обществе. Развитие на острове промышленности создает для сельского населения возможность чрезвычайно выгодных отхожих промыслов. Крестьянин зарабатывает на предприятиях АСО от 7 рублей в день, средний его заработок — 10 рублей в день. Пудо-верста оплачивается чуть ли не в один рубль, подвода в ненастье — до 50 рублей. Ясно, что крестьянство, в значительной своей части втянутое в хозяйство АСО как поденная и гужевая сила, получает существенную поддержку, подчас целиком строит свое существование на отхожем промысле. Это учитывает АСО как землеустроитель, этого не хотело учитывать Окрзу, стоя на позиции защиты единоличника, отстаивая во всех случаях максимальное применение нормы. Памятуя, что кулак почти всегда строит свое благополучие, свое хозяйство на отхожем промысле, можно думать, что Окрзу, буде оно восторжествовало бы, тем самым способствовало бы созданию на Сахалине нового мощного слоя кулаков из крестьян-единоличников. На практике оно торжествовало мало, будучи поглощенным и раздавленным хозяйством АСО. Досрочные же перевыборы советов, надо думать, положили

конец скрытому сопротивлению сельскохозяйственной пятилетке острова.

И еще одна трудность. На Сахалине наблюдается повышенная кислотность почв, что, помимо понижающего влияния на урожаи, отрицательно влияет и на скот — телята страдают недоразвитостью костяка, коровье молоко кислотно, и т. д. Нейтрализовать химический состав почвы, пополнить ее щелочами возможно путем удобрения известью, что и предполагало сделать АСО, выбросив на гектар до 50 пудов извести. Месторождение извести на Сахалине по этому случаю долго разыскивалось. Геологическая разведка обнаружила ее в Мгачинском районе, где и предполагалось начать ее разработку, в зависимости от промышленного значения.

Освоение земель в настоящее время идет по линии совхозов, а их пока всего два, и колхозов — около 17. Кроме того, организовывались фермы: на Октябрьском руднике 220 га, в Хоэ на Виахту — 220 га и в Альба-Нысе— 200 га. Все совхозы и фермы находятся в ведении АСО, которое располагало к прошлой осени колонной из 32-х тракторов разных марок — практика должна была показать наиболее применимую на острове систему машины.

Сахалинские совхозы состоят, главным образом, из переселенцев. Их можно разделить по типу, по устремлениям на несколько категорий.

Во-первых, чисто землеробные, как, например, тамбовцы, поселившиеся в 26 году. Они приезжают на остров со всем своим скарбом, со всей своей нищетой, чтобы поселиться и во чтобы то ни стало жить дружно с землей, надеясь исключительно на свои земледельческие навыки, смотря на себя только как землероба.

Во-вторых, полустарательские колхозы — амурцы. Эти зачастую знают Сахалин, как свои пять пальцев, не раз бывали здесь на сезонных работах. Приезжают они с исключительной целью — удовлетворить в сельском хозяйстве лишь нужды собственной семьи, а в сущности— отдаться целиком отхожим промыслам, куда они несут свою, большею частью неквалифицированную, рабочую силу сезонников на сплав, на рыбалки и т. д., чтобы к зиме забраться в свою берлогу.

И, наконец, колхозы с большим количеством квалифицированных мастеров самых разнообразных специальностей — немцы. Они, надо думать, поставят на высоту и свое сельское хозяйство, в особенности молочное, и будут постоянными желанными работниками на предприятиях промышленности.

Работу сахалинского совхоза мне пришлось наблюдать в поездке на земли Верхне-Тымовского совхоза, организованного на площади бывшей опытной фермы (существовала с 1911 года). Не буду останавливаться на тех чертах, которые можно встретить во всяком совхозе, отмечу лишь то, что характерно для Сахалина.

Прежде всего, поражает всеобщий налет бивуачности. Я приехал на автомобиле к вечеру, застав врасплох будний рабочий день. Надо было располагаться на ночь, чтобы уже со следующего утра начать осматриваться. Ночлег в новом незнакомом месте всегда окрашен в свою собственную, ни с чем несравнимую эмоцию. Тем более, здесь, в центральной части Сахалина, вечером, освещенным заумной апоплексической луной, рождалось чувство чего-то непережитого, наново приобретаемого чувственного опыта. Но — пошли пить чай с молоком в помещение конторы, рассевшиеся вокруг чайника служащие конторы стали вынимать свои мешочки с сахарным песком, эмалированные кружки, появились пайки ржаного хлеба — и все становилось знакомее и знакомее. Выйдя на двор, разыскивая с электрическим фонарем в руках шофера, я уже не мог отделаться от мысли, что все это когда-то со мной было. И хоть я и об'яснял себе это ощущение неправильной локализацией памяти, все же, как всегда при этом, слегка кружилась голова. Предельно осозналась чувственная ситуация тогда, когда я стал стелить себе постель на столе конторы возле разбитого окна — конечно, все это далеко не в первый раз. Это — фронт. И, пожалуй, даже не фронт гражданской войны — по обстановке, а фронт империалистической. В гражданской войне жители, как правило, не покидали населенных пунктов. А здесь все выглядит так, как будто вчера еще заняли пустой фольварк. Каждый из спящих так ограничен в своем вещном обиходе, что может сразу встать, взять на плечи свою котомку и двинуться дальше в поход. Как будто этот дом занят штабом небольшой передовой части. Как будто все заботы направлены к самому боевому, злободневному, насущному.

Утром это впечатление только укрепилось. Один за другим, врываясь один в другой, в окна грянули грохоты тракторов. Седлая ло-

шадь, оглядывая утреннюю долину, я провожал взглядом колонну машин, отправлявшихся на корчевку. Директор совхоза был мне спутником и снова фронтовая параллель: не мог и удержаться от того, чтобы не научить его некоторым элементарным правилам верховой езды, посадки. Словно новобранец почудился мне в этом полном, слегка сыреющем мужчине. Мы об'ехали луга, поля, по топким тропинкам пробрались к самому руслу Тыми — дорога была здесь олеографичеоки живописна налетом девственности на раскидистых кронах деревьев. Через Тымь переброшен канатный ход: чтобы попасть на тот берег, надо сесть в ящик, подвешенный на блоке, и, перебирая канат руками, двигаться энергией собственных мускулов. Чем дальше к месту корчевки, тем хуже дорога. Повсюду громоздятся кучи выкорчеванных деревьев, приходится об'езжать ямы — гнезда удаленных корней. Все громче трескотня тракторов и вот, наконец, линия боя.

Как можно ближе подвожу лошадь к очередному приговоренному дереву. Трактор и напружился метрах в сорока, не ждя пока петля троса схватывает ствол на высоте человеческого роста. Я ожидаю длительного сопротивления: дерево, думаю я, должно упираться, крепко держаться за землю, с которой срослось за свой век... Но трактор вдруг издает рычание, плотоядно и тяжко проползает несколько метров и — дерево падает, как если бы ему подшибли ноги, коротко и безвозвратно. И, слегка оттащив в сторону заарканенный ствол, трактор уже бросает его и ползет к следующему, как железный грузный сокол, что бьет, но не ест добычу.

Полчаса я смотрел, как расправлялась машина, как меняла она вид ближней поляны. А когда тронули мы лошадей назад — к пахотным землям совхоза, уже прибавился не один десяток квадратных метров.

— Да, отодвинули вы горизонт, отодвинули... — вспомнилось мне...

Это говорил один из бывших работников совхоза, агроном, о котором я уже успел наслышаться. Это говорил он, приехав в совхоз уже инспектором Окрзу — странным образом его приняли на службу для того, чтобы по слать инспектировать... свою же собственную работу. Недоумение и досада совхозных работников была тем более понятна, что здесь, в полевой работе, показал себя этот агроном с самой непривлекательной стороны

Я видел его, перекинулся с ним двумя словами и личное впечатление только усилило все, что пришлось о нем слышать. Мало-по-малу у меня сложилось представление о нем, как о носителе совершенно конкретного типа сахалинского интеллигента «старателя». Только потому, что явление это в какой-то части типовое и потому, что работал этот агроном на тех полях, по которым носили нас совхозные кони, что впечатление рабочего дня все время переплеталось с воспоминаниями о его «деятельности», я решаюсь здесь отступить от прямого описания осмотренных полей и работ.

Вот тут, по этим межам, полгода тому назад проходил своей развалистой походкой этот человек. Рыжеватая эспаньолка и подстриженные рыжеватые усы скромно и солидно дружат на его лице с сорокапятилетними морщинами. Картуз, надвинутый на лоб, длинная драповая куртка и высокие сапоги в галошах демонстрируют полевую и практическую его внешность. Он приехал сюда, на Сахалин, как и огромное большинство, по договору с АСО на два года. Это его план — два года. А там существуют еще какие-то планы — пятилетний, например. Кто его знает, зачем он существует? Два года — и то срок, ух, какой... Но зато — первый промышленный пояс, повышенный оклад, отпуск, социальные льготы...

Он идет, этот плотный человек, по полям, по совхозным службам. «Товарищ директор,— обращаются к нему рабочие, — очень уж дует в бараке. Конопатки бы, что ли...»

— Ничего, ребята, потерпите, — отвечает он своей любимой поговоркой: день за днем — пройдет два года.

— Расхудился у нас трактор, — жалуется монтер. — Надо бы поторопить, чтобы из Александровска прислали запасные части. Поднажали бы вы, товарищ директор.

— Да что тебе неймется?

— Как же — на работу завтра выезжать не на чем.

— А ты не торопись. Завтра не выедешь — послезавтра выедешь. А если и послезавтра не выедешь, напишешь в АСО: так и так, мол, задержка по вашей вине — почему не присылаете запасных частей? День за днем, брат, пройдет два года. А там и по домам.

Этот плотный человек не теряется и в присутствии наехавшей ревизии. Он идет по полям с ревизором и говорит тоном сдавленной обстоятельствами энергии:

— Чорт его знает, что делать с этими клочками тайги и болот. Вы сами видите. То ли дело, дали бы степь — она б у меня заиграла под плугом. Зажечь, что ли? Я, знаете, на Сахалине, огнепоклонник. Здесь без огня ничего не сделаешь.

И, проводив ревизию, вновь прохаживается среди рабочих, ободряя:

— Ну, как? Работаете? Работайте, работайте... День за днем — пройдет два года...

Когда нехватает у собравшихся людей музыки, а хочется поплясать, обычно заменяют гармошку собственными голосами. Поют на мотив «Барыни» одну — единственную фразу: «Ни-колай, давай покурим. Ни-колай давай покурим»... и т. д. Об'езжая тымовские поля, я, казалось мне, видел плотного солидного агронома, в одиночестве встречающего вечернюю зорю. Это он узнал по календарю, что прошло шесть месяцев договорного срока. Это он вышел на радостях освежить лицо встречным ветерком. Это он повторяет про себя свое присловие: день за днем пройдет два года... Сами собой ложатся слова на знакомый плясовой мотив, и не нужно никакой музыки — лучшей музыкой звучит любимый девиз «огнепоклонника», наилучшим образом соответствует ему разухабистая «Барыня». Попробуйте напеть эти липкие слова, и они пристанут к вам, как пристали ко мне, целый день звуча в ушах, пока я осматривал тымовский совхоз.

День
За днем
Пройдет
Два года...

Его во-время убрали с совхоза. Но на Сахалине работников мало, и вот он уже в Окрзу ожидает очередной чистки. Но пока сроки чистки не пришли, в порядке службы приехал он в совхоз — нужно же «день за днем» обозначать видимость какого-то дела.

— Вот видите, — говорят ему, — вы считали, что невозможно освоить этих земель, а у нас прибавилось к прежним еще полсотни га.

— Да, — отвечает он спокойно, — пораздвинули вы горизонт...

Довольно об агрономе. Он — представитель кочевого племени, того, что все время стремится ускользнуть, если не от документальных характеристик своей социальной сущности, то от людей, лично знакомых с его деловой физиономией и, во всяком случае, от прошлого. Но оно, как тень, сопутствует ему. Не этими людьми строится сегодняшний Сахалин, строится страна. И все же они, как клопы, как тараканы, заводятся до сих пор в каждом новом жилье индустриального труда, как накипь прошлого, втирающаяся в горячку работы...

Посевная площадь совхоза пока скромна — все усилия направлены на ее расширение, на раскорчевку. Засеяно же: овса — 60 га, ячменя — 30, ядрицы — 25 га, пшеницы — 11 га, итого зерновых культур — 131 га. Под викой-овсом — 73 га, турнепсом-свеклой — 175 га, картофелем — 22. Опытное поле занимает 6 га. Всего обработано, таким образом, 250 га. На опытном поле — озимая рожь разных сроков посева, конопля, греча (к моменту моего приезда цветения не наблюдалось), хондрилла (луковицы сгнили), лен (прижился хорошо).

В совхозе работает 386 рабочих (560 едоков). Основное питание — рыба, хлеб (по 1200 грамм), молоко.

Тракторная колонна совхоза — 7 «катерпиллеров» и 1 «интернационал». Лошадей — 115, коров с телятами — 210, дойных — 40. Телег — 30, сбруи — 50 комплектов.

Непропорциональность развития отдельных статей — количества рабочих, инвентаря живого и мертвого, посевов и т. д. — следует отнести за счет того, что цифры взяты за определенный момент — август 1930 года и вырваны из живого процесса развития совхоза. Далее следует сказать, что хозяйственные границы совхоза размыты. Он соседствует и все время сотрудничает с колхозом Каменка, переселившемся в 1927 году. Колхоз этот состоит из 17 семей (80 едоков). Колхозники являются постоянными сдельными работниками совхоза, поденным заработком 3-4 рубля. Зимой — в лесу, летом — на полях. Совхоз сдает колхозу на прокорм своих коров, числом до 135, оплачивая лето по 10 р., зиму — по 5 р. с головы. Совхоз снабжает колхозников сеном. При колхозе — свои огороды под огурцами, капустой (морковь вышла неудачной).

Вместе с заведующим совхозом мы предприняли поездку в Каменку. Дорога вилась среди лиственных зарослей, лошади наши скакали черед звонкие ручьи; поселок открылся нам на пригорке тесным рядом небольших изб. Эти избы построены начерно — обилие леса позволяет здесь ставить просторные дома, и дело лишь в недосуге, в занятости колхозников более неотложными нуждами, связанными с переселением. В этих нуждах интересы совхо-

за и колхоза так переплетены, что беседа заведующего совхоза с каменцами походила скорее на семейный совет по поводу общих задач и незадач. Каменка получает участок лугов по договоренности от тымовского совхоза. Но половина лугов заболочена и требует спешной мелиорации. Совхоз строит скотный двор на сто голов скота — это и опыт для колхоза, для его будущих общественных начинаний, это и лишение для него того заработка, который получает он за прокорм совхозных коров.

90 га зерновых посевов совхоза разбросаны в 65 кусках, из которых 37 меньше одного га. При обработке их тракторы вертятся и топчутся на месте, рентабельность их эксплоатации падает. Раздумья об этом, заботы о раскорчевке, которая на глазах колхозников прибавила к землям совхоза 100 новых га, вместе с экспериментами опытного поля совхоза, проверяющими возможность произрастания неизвестных на острове культур — все это наглядные уроки для Каменки, разведка в решении общих задач. Предел сближения колхоза и совхоза к тому моменту, когда оба окрепнут, мыслится обеими сторонами, как полное слияние.

Этот кусок земледельческой жизни советского острова — первое выражение плана, покоряющего девственные земли Сахалина культурным, промышленным целям страны. Это — первый ответ на цифровой вызов Карафуто, крепкий ответ соревнования социалистической культуры с соседней империалистической экспансией.

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

Качественные сдвиги в черной металлургии

В. Емельянов

1. РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Последнее десятилетие характеризуется гигантским развитием механизации всех отраслей промышленности, крупными успехами авиации, сильным развитием автотранспорта и все растущей мощью химии.

Это развитие наложило отпечаток и на лицо современной металлургии.

Высокие требования, пред'являемые к металлу авио- и автопромышленностью, химическим машиностроением, электропромышленностью т. д., направили развитие металлургии в сторону исследования и производства целого ряда сталей, обладающих необходимыми для каждого потребителя свойствами.

Результатом этих исследований явилась группа сталей, известная у нас под названием специальной или легированной стали.

Специальная или легированная сталь, т. е. сталь с содержанием таких элементов как никель, хром, вольфрам, ванадий и другие, уже зародившись в недрах крупнейших арсеналов Европы и Америки прежде всего как сталь военного назначения, после своего появления на гражданский рынок изменила лицо современной промышленности.

Новые до сего времени неизвестные свойства целого ряда легированных сталей позволили машиностроительной технике осуществить казавшиеся до сего времени несбыточными конструкции и совершенно по-новому разрешить, казавшиеся неразрешимыми вопросы химической промышленности.

Если мы обратимся к наиболее крупным потребителям стали, таким как транспорт, автотракторная, авиационная, химическая, электротехническая и металлообрабатывающая промышленность, то мы увидим, что каждая из этих отраслей промышленности в вопросе потребления легированной стали, характерна своими, типичными для каждой отрасли сортами.

Одним из крупнейших потребителей легированой стали в Америке является в настоящее время автомобильная промышленность, в 1926 г. она поглотила 665 258 тонн, или 77,4%, всего количества выплавленной за этот год в САСШ легированной стали.

По своему составу это хромо-никелевые и хромо-ванадиевые стали. Придавая исключительное значение ванадию в автомобильной промышленности, Форд заявляет: «что без ванадиевой стали был бы невозможен его автомобиль».

Потребляя колоссальное количество легированной стали, как по количеству, так и по разнообразию ассортимента, авто-тракторная промышленность последнего времени характеризуется сдвигами в сторону упрощения сложных марок и переходом на более простые, более дешевые сорта, но продолжая в основном развиваться на базе легированной стали.

В тесной связи с развитием автотракторной промышленности находится производство шариковых и роликовых подшипников, производство, стабилизировавшееся к настоящему времени на хромистом металле.

Прогрессирующее развитие авиации в борьбе за увеличение скорости и продолжительности полета и увеличение грузопод'емности машин, попутно с непрерывным видоизменением и усовершенствованием конструкций летательных аппаратов, непрерывно работает в области металла в том числе и стали.

Тяжелые и сложные условия работы отдельных частей авиомотора требуют более сложных сталей как по составу, так и по тем опе-

рациям обработки, которым подвергаются отдельные детали.

Здесь наряду со сталями, имеющими в своем составе один из специальных элементов, применяются стали с двумя и тремя специальными составляющими.

В этой группе сталей, так же как и в автостроении, гегемоном являются хромо-никелевые стали, имеющие для некоторых деталей улучшенный состав, введением ванадия или молибдена.

Последние годы характеризуют эту группу повышенным ростом потребления молибдена за счет ванадия.

Развитие автотракторной промышленности, развитие авиопромышленности и целого ряда других отраслей машиностроения требует колоссальное количество инструмента, который мог бы обработать эти стали, пред'являет высокие требования к режущим инструментам.

На базе старых инструментов, на базе углеродистых инструментальных сталей современная промышленность развиваться больше не может. Промышленность пред'являет к инструменту требования длительности и быстроты резания.

Результатом упорных исследовательских работ по сталям этого типа явилось открытие быстрорежущих сталей.

Быстрорежущие стали, давшие возможность колоссально увеличить производительность металлообрабатывающих станков, совершили переворот как в технике обработки металлов, так и в станкостроении.

Появился целый ряд станков, которые смогли использовать все преимущества нового металла.

Быстрорежущие стали, обладая способностью сохранять свои механические свойства при нагреве до 600°, дают возможность применении больших скоростей резания и значительно увеличить производительность металлообрабатывающих механизмов.

Подсчитано, что применение быстрорежущих сталей только в одной автомобильной промышленности САСШ дает ежегодно 200 миллионов долларов экономии.

Со времени своего открытия быстрорежущие стали мало претерпели изменений, являясь высоко-вольфрамистыми сталями с содержанием хрома и ванадия, а иногда молибдена и кобальта.

Но быстрорежущая сталь, несмотря на свои прекрасные свойства, не может решить всех вопросов, поставленных перед металлообрабатывающей промышленностью на сегодняшний день. Такие стали, как высокомарганцовистая сталь с содержанием 12—14% марганца (сталь Гадфильда) и некоторые другие подобного типа, а также вопрос механической обработки закаленных изделий, не решаются наличием инструмента из быстрорежущей стали.

Поэтому с открытием быстрорежущих сталей вопрос об инструментальном металле не выпал из поля зрения исследовательской работы.

Многочисленные исследования, проводившиеся в различных точках земного шара, дали ряд сплавов, которые трудно назвать уже сталями, так как содержание железа составляет в них ничтожный процент, а процент примесей является преобладающим.

Эта группа сплавов, основанная на колоссальной твердости карбидов вольфрама, не только в состоянии справиться с задачей обработки сталей, но постепенно внедряется туда, где до сего времени господствовал алмаз.

Такие сплавы, как воломит, видиа и карболой, нашли себе применение не только в металлообработке, но и в горной промышленности для изготовления коронок бурового инструмента.

Химическая промышленность, используя для реакционных процессов все более высокие давления и температуры, может развиваться только в том случае, когда аппаратура будет противостоять этим давлениям и сохранять механические свойства при повышенных температурах.

Керамика не в состоянии больше удовлетворять требования прогрессирующей химии.

Керамические изделия, долгое время служившие химическим целям, стали тормозом дальнейшему развитию химической промышленности и им на смену должен был явиться металл.

Химическая промышленность сегодня развивается, пользуясь аппаратурой из кислотоупорных и жароупорных сталей, сталей, с высоким содержанием никеля и хрома.

Но не одна только химическая промышленность требует такого металла.

Вся строительная промышленность пред'являет требования на металл, стойкий против окисления, способный противостоять коррозирующему действию среды.

Вопрос о нержавеющих сталях стоит во всех отраслях промышленности, в том числе и строительной.

Мостостроение, поставляя ежегодно громадное количество стальных сооружений, подвергающихся воздействию кислорода и влаги воздуха, заинтересовано не только в прочности материала, но и в том, чтобы эту прочность возможно дольше сохранить.

Ржавление понижает сопротивление пораженных частей, вследствие чего конструкция не может долго выносить нагрузки и разрушается.

Принимая во внимание колоссальное количество металлических сооружений, находящихся в аналогичных условиях, можно представить себе те потери, которые являются причиной ржавления.

По подсчетам немецкой государственной Комиссии по предохранению металла, весь мир теряет ежегодно примерно 22 миллиона тонн стали из-за ржавления стальных сооружений.

Предохранительная окраска таких сооружений, в целях сохранения металла, периодически требует обновления, что влечет за собой большие затраты.

Для защиты своих металлических конструкций немецкие железные дороги тратят ежегодно около 48,5 миллионов марок в год. Одни только берлинские мосты требуют для борьбы с ржавлением от одной до трех марок в год с квадратного метра.

Следовательно, вопрос получения строительных сталей, нержавеющих, не должен сходить с порядка дня.

До самого последнего времени большинство строительных сталей и в частности такие стали, как мостостроительные, развивались на базе металла, содержащего в качестве специальной примеси некоторое количество кремния.

В настоящее время мы видим здесь крупный поворот в сторону другого типа сталей, в сторону сталей медистых.

Медистые строительные стали, появившиеся несколько лет тому назад в Германии, как стали отвечающие требованиям строительной техники не только по высоким механическим свойствам, но и как стали, хорошо противостоящие ржавлению, вызвали живейший интерес в Америке.

В САСШ в 1928 г. из 3.146001 тонны легированных сталей на долю медистых приходилось 879213 тонн, или 28%.

На стали, стойкие против корозии, пред'являет значительные требования пищевая промышленность, а в самое последнее время авиация для самолетов и дирижаблестроения.

Каждая отрасль техники по мере своего развития пред'являет все новые и новые требования к металлу.

Электротехническая промышленность нуждается в металле самых различных физических свойств.

Для изготовления измерительной аппаратуры требуется, с одной стороны, магнитный материал и с другой — немагнитные стали; для нагревательных приборов необходим металл с высоким электрическим сопротивлением, стойкий против окисления при высоких температурах. Для изготовления трансформаторов, электромоторов и генераторов нужен материал с высокой магнитной проницаемостью, нужно так называемое динамное и трансформаторное железо и т. д.

Значение легированных сталей растет из года в год. Даже такое производство, как производство рельсового металла, в последние годы в связи с увеличением нагрузки и скорости движения поездов, делает попытки применения легированной стали взамен углеродистой.

В Соединенных Штатах в течение ряда лет проводятся работы по легированию рельсовой стали рядом специальных примесей. Первые годы проводились большие работы с титанистой рельсовой сталью, которой было выпущено в 1913 г. 47655 тонн, а последнее время в широком масштабе ведутся работы с маломарганцовистым рельсовым металлом, содержащим от 1% до 2% марганца. В 1930 г. такой стали было выпущено 3983 тонны.

Если мы обратимся к динамике роста легированной стали и сравним этот рост с ростом всей стали, то увидим, что рост легированной стали обгоняет рост общего производства стали.

К настоящему времени по Соединенным Штатам легированная сталь составляет около 7% общего количества стали.

Технический прогресс отдельных отраслей промышленности выявляет крупную роль легированных сталей в современном хозяйстве и здесь без преувеличения можно будет сказать, что если в области энергетики мы идем под знаменем электричества, то в области металлургии мы переживаем эпоху легированных сталей.

Рост производства легированной стали вызывает растущее потребление таких элементов, как марганец, кремний, хром, никель, вольфрам, молибден, ванадий и проч.

За исключением никеля все остальные из перечисленных элементов в технике производства стали применяются не в чистом виде, а в сплавах с железом, образуя особую группу металлов, известных под общим названием ферросплавов.

Роль ферросплавов в сталелитейной промышленности достигла за последнюю четверть века колоссального значения.

Ферросплавы, позволяя сочетать разнообразные свойства металлов, вводимых в сталь в различном соотношении, дают возможность получать металл, отвечающий требованиям прогрессирующей техники.

В прямой зависимости от производства высококачественных сталей находится и рост производства ферросплавов.

В сталелитейной практике применяются главным образом следующие ферросплавы: ферромарганец, ферросилиций, феррохром, ферровольфрам, ферромолибден и феррованадий.

Первые два сплава применяются в металлургии стали не только для легирования металла и придания ему ряда новых свойств, отличных от свойств простых углеродистых сталей, но главным образом для раскисления металла, т. е. освобождения его от растворенных окислов.

Эти два сплава нашли себе широкое применение в производстве не только высококачественного металла, но и в технике изготовления рыночных сортов стали.

В настоящее время норма расхода ферромарганца установилась в пределах от 0,8 до 1% (считая 80% марганца в сплаве), а ферросилиция по данным американской статистики 0,225% (в перечете на 50% сплав) от общего количества выплавляемой стали.

Роль остальных сплавов приобретает еще большее значение, принимая во внимание усиленный спрос на легированную хромом, вольфрамом, молибденом и пр. элементами сталь.

В американской промышленности на первом месте из этих элементов стоит хром, а затем идет никель, молибден и ванадий.

Если мы проследим мировой рост добычи хромистых и молибденовых руд, то увидим, что цифры гигантски растут из года в год.

В 1928 году в САСШ было изготовлено стали с содержанием

Хрома .	776 156 тонн
Никеля .	517 085 „
Молибдена	268 019 „
Ванадия	176 957 „

Добыча хромистой руды поднялась с 291 156 тонн в 1924 г. до 449 000 тонн в 1928 г., а по молибденовым рудам мы имеем такие цифры:

1921 год	19 тонн
1922 „	28 „
1923 „	110 „
1925 „	1 380 „
1926 „	1 682 „
1927 „	2 345 „
1928 „	3 716 „
1929 „	4 385 „

То же самое можно констатировать и по другим рудам.

Рост производства ферросплавов в САСШ все время идет параллельно росту производства стали и достиг в 1929 г. цифры в 856 768 тонн всех ферросплавов, из которых значительную долю составляют производство ферромарганца и ферросилиция.

Но легированные стали, идущие на изготовление весьма ответственных деталей, требуют для своего производства не только ферросплавов, но и чистых исходных материалов и в первую очередь чистых чугунов.

Таким чугуном может быть или древесноугольный чугун, выплавляемый из чистых руд либо в обычного типа древесноугольных домнах, либо в электродомнах.

2. СОСТОЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ

В первые годы своего появления вся легированная сталь готовилась в тиглях, но со временем изобретения электрической печи новый аппарат стал быстро отвоевывать себе место в производстве этого типа сталей, и к 1916 г. в американской сталелитейной промышленности производство электростали впервые превысило производство тигельной стали, а к настоящему времени практически электропечь заняла почти нацело место тигельного процесса.

В связи с удачным проведением опытов плавки хромо-никелевых сталей в мартеновских

печах, мартен вошел в производство легированной стали основным производственным аппаратом, и в настоящее время наибольшее количество легированной стали в Америке готовится в мартеновских печах, но наиболее ответственные сорта, с высоким содержанием легирующей примеси, выходят из электропечей или из сохранившихся кое-где тигельных.

Тигельный процесс, рожденный в годы наибольшего развития пудлингового производства и древесно-угольной металлургии, основывался на чистых исходных материалах: мягком и чистом по примесям железе и древесно-угольном чугуне.

По мере увеличения роли чугуна, выплавляемого на минеральном топливе, и все большей потребности в сталях высокого качества, появляется необходимость в аппарате, который смог бы готовить хороший металл, из недостаточно чистых исходных материалов.

Таким аппаратом явилась электропечь, изобретенная Вильямом Сименсом.

Идею плавки металлов при помощи электрического тока в промышленном масштабе осуществил француз Эру, построив первую электрическую печь с вольтовой дугой, являющуюся прототипом современных электропечей.

Электропечь, давая возможность получать металл, качеством не хуже тигельной стали, имеет ряд существенных преимуществ как перед тигельным процессом, так и перед мартеновским.

В чем же эти преимущества.

Тигельные печи требуют чистых исходных материалов и не могут использовывать обычный стальной скарп, задалживают колоссальное количество рабочей силы, имеют низкий коэфициент полезного действия, а, следовательно, этот процесс является чрезвычайно дорогим.

Электропечь, обладая мощным источником тепла в виде вольтовой дуги, может работать на загрязненном скарпе.

Три наиболее неприятные примеси качественной стали — фосфор, сера и окислы железа легко удаляются в электропечи.

В то время как в тигельных печах происходит процесс сплавления чистых исходных материалов, электропечь в состоянии создавать условия для течения химических реакций в желательном для удаления этих примесей направлений.

Но если удаление фосфора одинаково хорошо можно провести как в мартене, так и в электропечи, то реакции обессеривания и раскисления металла, т. е. освобождения его от окислов, можно достаточно полно провести только в электропечи.

Электропечь создает все необходимые для этого условия — высокую температуру и, следовательно, возможность работы на сильно известковых шлаках и восстановительную атмосферу, предохраняющую металл от окисления.

Эти крупные преимущества электропечи в деле получения металла высокого качества вызвали бурное развитие электротермических методов производства как стали, так, особенно, фасонного стального литья.

Если сравнить темпы роста стальной продукции по основным производственным аппаратам: мартену, бессемеру, электропечи и тигельной печи, то для Америки мы будем иметь картину бурных темпов развития электростали, умеренных по мартену, стабильности бессемеровского производства и замиранию тигельного процесса.

Удельный вес электростали в общем производстве стали из года в год повышается и характеризуется для САСШ такими цифрами:

Количество электростали в процентах от общего производства стали в САСШ

1921 год	0,8%
1922 „	1,0%
1923 „	1,2%
1924 „	1,2%
1926 „	1,4%
1927 „	1,5%
1928 „	1,6%
1929 „	1,7%

а для Франции:

Количество электростали в процентах от общего производства стали во Франции

1921 год .	0,79%
1922 „	0,79%
1923 „	0,97%
1924 „	1,01%
1925 „	1,01%
1926 „	1,01%
1927 „	1,10%
1928 „	1,23%
1929 „	1,56%

Для легированной стали этот рост будет еще более значительный.

Количество электростали в процентах от общего производства легированной стали в САСШ

1921 год	7,81%
1922 „	7,49%
1923 „	9,25%
1924 „	9,30%
1925 „	12,00%
1926 „	12,45%
1927 „	13,57%
1928 „	13,47%

Но если значение электропечи велико в производстве легированной стали, то ее роль в фасонном стальном литье неизмеримо выше.

По САСШ электропечь участвует в фасонном стальном литье на 28%, а в литье из легированной стали — на 50%.

По Италии участие электропечи в фасонном стальном литье выражается цифрой в 75%.

Из литейных САСШ электропечь вытесняет прочие плавильные аппараты, количество фасонного стального литья из мартеновской печи и бессемера падает, а количество электростали растет.

Это развитие электротермического метода производства стали характеризуется не только ростом числа новых установок и количеством выплавленного металла, но оно характерно также и теми сдвигами, которые намечаются в технике производства электростали.

Практически вся электросталь в настоящее время получается в дуговых электропечах, в принципе мало отличающихся друг от друга и основанных на использовании тепла вольтовой дуги.

Преимущества электропечи перед другими плавильными аппаратами в отношении удаления серы и окислов железа развили в некоторых странах, не имеющих дешевой электрической энергии, комбинированный метод работы мартен-электропечь и бессемер-электропечь.

В первом случае роль мартеновской печи сводится к расплавлению металла и удалению из него фосфора — к задаче, с которой в одинаковой степени хорошо справится как мартен, так и электропечь, на долю же электроплавки ложатся обязанности освободить металл от серы и окислов. При таком методе работы расход электроэнергии составляет 250—300 киловатт/часов на тонну стали вместо 800—1 000 киловатт/часов в случае работы на одной электропечи.

Вслед за этими по существу скорее рационализаторскими нововведениями на фоне крупных достижений в технике токов высокой частоты, появились новые принципы превращения электроэнергии в тепло, причем это превращение совершается в самом расплавляемом материале.

1916 г. знаменует собой начало новой более совершенной техники электротермического нагрева — появляется печь высокой частоты.

Если первые годы с трудом справлялись с постройкой плавильных аппаратов, емкостью в несколько килограмм, то уже с 1929 г. новые принципы нагрева начинают из-за стен научно-исследовательских учреждений проникать в промышленные предприятия и быстро становиться в ряды рабочих аппаратов по производству металла.

Если еще два года тому назад высокочастотные печи на ½—1 тонну были редкостью, то в настоящее время мы имеем промышленные печи емкостью на 3—5 тонн, а лучшие знатоки этих аппаратов считают, что не представляет особых затруднений конструктивное оформление печей на 10—15 тонн.

Какие же технические преимущества имеет новый плавильный аппарат перед дуговыми печами.

Основное преимущество новой электропечи заключается в том, что она совместила в себе прекрасные свойства тигельных печей — расплавление металлической завалки без науглероживания и окисления проплавляемого материала, что дает возможность переплавлять в такой печи отходы дорогих марок сталей с содержанием ванадия, хрома и др. без потери этих составляющих.

Но в отличие от тигля высокочастотная печь имеет и все преимущества дуговой электрической печи — высокую температуру и восстановительную атмосферу, которая легко может быть создана в печи.

Помимо этих преимуществ высококачественная печь имеет крупное преимущество в том, что здесь электрический ток служит не только для нагревания металла, но и принимает участие в тех реакциях удаления примесей, которые протекают во время ведения плавки.

Как в мартене, так и в дуговой электропечи, процес удаления фосфора, серы, процесс выгорания марганца, кремния и углерода, а также и раскисления металлической ванны, проходит через шлак, в зоне соприкосновения шлакового покрова с расплавленным металлом.

Для того чтобы удалить ту или иную примесь, нужно ждать пока пройдет диффузия от-

дельных элементов из глубинных слоев металла к шлаковому покрову.

Этот процесс требует значительного времени. Время это сокращается перемешиванием металла технически несовершенными методами.

Высокочастотная печь благодаря наличию сильного магнитного поля создает условия циркуляции металла, что приводит все новые и новые слои в соприкосновение со шлаком и передачи ему тех элементов, от которых желательно освободиться.

Металл как бы счищает о щетку шлакового покрова все то, что мешает в данном случае его качеству.

Это является крупным техническим преимуществом нового плавильного аппарата перед всеми существующими.

Первое время многие сомневались в возможности использовать новую печь для ведения металлургических операций и ограничивали ее применение работой на чистом исходном материале, рассматривая как заместительницу угасающего тигельного процесса, но первые же работы показали сильные стороны новой печи, именно в возможности значительно полнее и быстрее проводить эти операции.

Опыт работы высокочастотных установок показывает, что однотонная высокочастотная печь может дать столько же металла в сутки, сколько дает пятитонная дуговая печь.

Тепловые балансы, составленные как для высокочастотных печей, так и дуговых показывают, что однотонная печь высокой частоты полезно использует 62% подведенного тепла, в то время как 7-тонная дуговая печь 66%. Разница складывается как будто бы в пользу дуговых печей, но совершенно другая картина получится, если взять печи одинаковой емкости.

Последние сообщения о работе печей высокой частоты говорят все о новых и новых областях ее применения.

Чрезвычайно важную роль, вероятно, будет играть эта печь в технике раффинировки ферросплавов (получения малоуглеродистого феррохрома и др. ферросплавов), а также и получения чистых металлов.

Есть работы по получению в печах высокой частоты металлического марганца. Эти печи, давая возможность иметь высокую температуру, позволили получить металлический марганец с ничтожным содержанием примесей путем дистиляции его. Если это возможно с марганцем, то возможно, конечно, и с целым рядом других металлов.

Но может быть в настоящее время еще рано говорить об этих печах, как о печах, которым суждено играть роль в производстве стали.

Резкий рост высокочастотных установок особенно в последние два года, и приближение их мощности к средней мощности дуговых печей говорят за то, что новая печь имеет шансы в самое короткое время завоевать себе прочное место в производстве стали.

В электрометаллургии, следовательно, мы можем отметить сильное развитие как старых методов электроплавки, плавки в дуговых печах, так и чрезвычайно важные качественные сдвиги в использовании электроэнергии, ведении процесса и конструктивного оформления печей.

Если мы обратимся к рассмотрению других аппаратов по производству чугуна и стали, то увидим, что в последние годы доменный процесс развивался, главным образом, в плоскости увеличения плавильных аппаратов.

К настоящему времени мы имеем доменные печи суточной производительностью 1.100—1.200 тонн, но обзорные статьи о технических достижениях американской металлургической промышленности говорят, что в ближайшие год-два мы будем свидетелями работы доменных печей суточной производительностью в 1.500 тонн.

Вместе с этим ростом суточной производительности печей можно наблюдать целый ряд рационализаторских мероприятий, связанных с улучшением качества работы печей, лучшим использованием их об'ема и получением лучших технических показателей всего аппарата.

Мартеновское производство так же, как и доменное развивается в последние годы под знаменем увеличения мощности печей и механизации производственного процесса.

Эта механизация коснулась не только операций загрузки проплавляемого материала, но также ремонта футеровки печи, открывания выпускного отверстия и т. д.

Бессемеровское производство оставалось долгое время без изменений и лишь последний год дает некоторую вспышку в технике этого старого метода производства стали.

Американец Астон разработал способ получения из бессемеровской стали мягкого железа, близкого по своим свойствам к старому пудлинговому железу.

Пудлинговое железо обладает целым рядом прекрасных свойств. Прежде всего это металл

чрезвычайно пластичный, металл, хорошо сваривающийся. В САСШ, где пудлинговый процесс еще сохранился, все ответственные сварные цепи делают из пудлингового железа. Кроме того, это железо значительно более стойко против окисления, нежели железо, полученное другими способами.

Пропуская бессемеровский металл через слой жидкого железистого шлака, Астон получил железо, близкое по своим свойствам к пудлинговому, но дешевле последнего.

В настоящее время в Филадельфии фирма Байерса построила завод, который методом Астона получает от 45 000 до 50 000 тонн в месяц такого железа.

Но и мартеновское, и бессемеровское, и электротермическое производство стали развиваются на базе старых методов извлечения железа из руд, на базе доменного процесса.

Этот метод до самого последнего времени оставался единственным методом извлечения железа, и практически весь черный металл человечество получает из доменных печей в виде чугуна.

Последние годы все чаще и чаще в технических журналах начинают мелькать заметки о новых методах извлечения железа, минуя стадию чугуна.

Вопрос получения железа непосредственно из руды впервые встал в Швеции.

Швеция была когда-то страной-монополистом в деле получения черного металла.

Шведская металлургия развивалась на чистых железных рудах в древесном угле. С истощением лесных массивов встал вопрос о перестройке промышленности на новой энергетической основе.

Одним из возможных вариантов такой перестройки явилась попытка замены энергетического угля, угля-топлива, электрической энергией.

Шведские металлурги предложили замиравшую из-за отсутствия топлива металлургию оживить, вставив в старую древесно-угольную печь — электрическую душу.

Электрическая доменная печь позволила сократить расход древесного угля на ⅔ по сравнению с обычной домной, что повело к большему развитию этого производства в Швеции.

В настоящее время производство электродоменного чугуна в Швеции равно производству чугуна на минеральном топливе и составляет около 20% от общего производства чугуна.

Дальнейшие попытки найти выход из затруднения с углем привели к целому ряду работ по восстановлению железа непосредственно из руды.

Одна из шведских компаний, обладая значительным месторождением низкосортного каменного угля, с содержанием около 35% золы и от 0,5 до 1% серы, была заинтересована в разработке такого метода получения железа, который мог бы использовать этот уголь.

Способы получения железа непосредственно из руды, в основном базирующиеся на восстановлении окислов железа при низкой температуре порядка 800—900°, открывают перспективы использования таких углей для металлургических целей.

В одной из заметок Deutsche Bergwerks Zeitung сообщает об организации в Германии общества по получению губчатого железа. Крупнейшими участниками этого общества являются Крупповский завод и Vereinigte Stahlwerke A. G., т. е. наиболее солидные железоделательные компании Германии.

Общество построило завод в Бохуме для эксплоатации этого способа на производственную мощность 20.000 тонн губчатого железа.

В Швеции создано общество для получения губчатого железа методом шведского изобретателя Флодина. Это общество установило основной капитал в 8 миллионов шведских крон, как минимум, и 24 миллиона крон, как максимум.

Целый ряд установок по получению железа из руды имеется в Америке.

Насколько большой интерес проявляется к этому новому методу извлечения железа из руд, указывает тот факт, что к настоящему времени число патентов, выданных на способы непосредственного получения железа из руд, далеко перевалило за пятьсот.

О том, что этот новый процесс представляет значительный интерес, заявляет целый ряд крупных авторитетов по металлургии.

Профессор Геренс в своем обзоре технических достижений в области получения специальных сталей заявляет, что губчатое железо будет играть большую роль в производстве электростали, так как представляет прекрасный материал для получения высококачественных сталей.

Профессор Стенефильд также считает, что новый способ получения железа из руд представляет значительный интерес при комбини-

3. РОЛЬ УРАЛО-КУЗБАССКОГО КОМБИНАТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Развитие черной металлургии во второй пятилетке должно итти не только по пути увеличения количества металла, но должно отразить в себе все элементы грядущей технической перестройки промышленности.

Переход всех отраслей промышленности на высшую техническую культуру, пред'являя повышенные требования на легированную сталь, заставляет считаться с необходимостью значительного увеличения роли и удельного веса этих сталей.

К 1937 г. количество легированной стали по Союзу должно будет составлять не менее 10% от общего производства стали.

Все растущее значение электротермического метода производства сталей этого типа должно привлечь к значительному развитию производства электростали.

Отсутствие дешевой электроэнергии еще и во второй пятилетке не может превратить электропечь в основной аппарат по производству стали, но уже в 1937 г. количество электростали должно составлять около 3% общего производства.

Если мы обратимся к Урало-Кузбассу и посмотрим, как этот рост производства высококачественного металла должен быть отражен в комбинате, долженствующем играть крупнейшую роль в народном хозяйстве Советской страны, то перед нами встанут гигантские цифры.

Урало-Кузбасский комбинат участвует из 5 % в производстве черного металла, но его участие в производстве легированной стали должно быть значительно выше и составит не менее 75—80% общего количества этих сталей.

Какие предпосылки для этого у Урало-Кузбасского комбината?

В первую очередь он будет представлять из себя мощный энергетический центр, пучок электростанций, могущий питать электроэнергией аппараты, производящие высококачественную сталь и ферросплавы, а, с другой стороны, включая в себя чистейшие железные руды Урала, а также руды, необходимые для производства ферросплавов, он целиком обеспечивает развитие высококачественной металлургии сырьевой базой.

Почти все месторождения хромистых руд Союза, за исключением незначительных месторождений Кавказа, разбросаны по Уралу, образуя непрерывную цепь линз и гнезд хромита и распределяясь вдоль всего Уральского хребта.

Эти месторождения от незначительных до рудных залежей, насчитывающих сотни тысяч тонн, еще мало изучены, запасы по отдельным месторождениям не определены, а технология обогащения не разработана.

На территории Урало-Кузбасского комбината разбросаны месторождения вольфрамовых и молибденовых руд, месторождения, еще может быть далеко недостаточные для покрытия потребностей бурно растущей промышленности, но месторождения, сигнализирующие о необходимости больших геологических работ.

Урало-Кузбасский комбинат аккумулирует в своих месторождениях титаномагнетитов Урала колоссальное количество ванадия, так необходимого для развития нашей автомобильной и авиационной промышленности, необходимого для нашей обороны.

Черные громады титаномагнетитов Урала должны отдать нам заключенный в них ванадий; другого источника ванадия, кроме титаномагнетитов и керченских железных руд, мы не имеем, но и руды Керчи, в сравнении с титаномагнетитами Урала, содержат значительно меньшее количество ванадия.

Кусинские титаномагнетиты содержат около 0,75% пятиокиси ванадия, а титаномагнетиты Юбрашкина камня — до 1,5%, в то время как керченские железные руды — 0,10—0,13%.

Только одна Кусинская группа может дать, по самым грубым подсчетам, около 10 000 тонн ванадия, что с лихвой покрывает всю потребность Советского Союза в феррованадии на ряд лет.

Но титаномагнетиты при комплексном разрешении проблемы их использования дают не только ванадий, но титан и чистое по содержанию вредных примесей железо.

Титаномагнетиты Урала представляют из себя крупный комбинат чрезвычайно ценных элементов и заслуживают самого серьезного внимания.

В отличие от других железорудных месторождений, пустая порода при плавке титаномагнетитов на чугун не только является пустой и ненужной, но представляет значительный

интерес для ряда промышленных отраслей и в первую очередь для лакокрасочной промышленности, использующей окислы титана на изготовление титановых белил, и металлургической — для производства ферротитана.

К настоящему времени мы имеем ряд способов комплексного разрешения этой проблемы.

Опыты Института прикладной минералогии по плавке титаномагнетитов в доменной печи на коксе, содержащем поваренную соль, для понижения температуры плавления тугоплавких титанистых шлаков, являются одним из вариантов этого разрешения.

Располагая месторождениями хромистых, вольфрамовых, молибденовых и ванадиевых руд, Урало-Кузбасский комбинат имеет основную базу для форсированного производства ферросплавов и легированных сталей.

Если к настоящему времени все производство легированной стали основано на импорте ферросплавов, то во втором пятилетии мы должны в значительной степени освободиться от этого импорта. Весь ферровольфрам, ферромолибден, феррованадий, ферротитан и большую часть феррохрома должен дать Урало-Кузбасс.

Но Урало-Кузбасский комбинат должен также взять на себя снабжение хромистыми концентратами и других ферросплавных заводов Союза и, в первую очередь, Днепросплава.

Урало-Кузбасский комбинат, помимо гигантского развития существующих производств, призван открыть целый ряд новых. До сего времени мы не только не имеем собственного производства ферросплавов, но мы еще не приступили к изучению целого ряда легированных сталей, которыми занимаются за границей. В наступающем пятилетии мы должны не только научить, но и наладить производство целого ряда новых, неизвестных на сегодня для нас сталей.

В настоящее время в лабораториях Германии, в исследовательских институтах Америки проводится целый ряд работ по исследованию бериллиевых сплавов.

Берилий находит себе применение не только в легких сплавах для авио- и дирижаблестроения, не только в медистых сплавах, где получены механические свойства меди, не уступающие стали, но берилий упорно пробивает себе дорогу и к сталям в качестве специальной добавки.

История нас многому учит. Мы знаем, что перед началом империалистической войны родилась молибденовая сталь.

Перед началом войны велись большие исследовательские работы по использованию молибдена, тогда еще мало известного в промышленности металла, в производстве стальных сплавов. Америка вела большие работы по применению молибдена в конструкционных сталях, англичане работали в плоскости замены вольфрама молибденом в инструментальных сталях.

Большие исследовательские работы велись в Германии, работы засекреченные, но говорившие о больших успехах этих работ. Перед войной Германия начала скупать молибденовые руды со всех точек земного шара, платя бешеные деньги за тонну руды. Во время войны, после того, как немецкие пушки попали в руки союзников, стало ясно, для чего был нужен Германии молибден — дальнобойные орудия были изготовлены из молибденовой стали.

Сейчас такой же сдвиг происходит в сторону берилия. Во всех точках земного шара ведется напряженная исследовательская работа по берилиевым сплавам. Ведет работы Сименс и Ферайништаль в Германии, ведутся работы во Франции, САСШ и других странах.

Ближайшее будущее наглядно покажет результаты этих работ.

Урало-Кузбасский комбинат имеет все возможности организовать это новое для нас производство, так как крупнейшими обладателями месторождений берилия являются Урало-Кузбасс и Канада.

Помимо производства берилия и берилиевых сплавов, Урало-Кузбасский комбинат должен решить задачу освоения металлургической промышленностью второго элемента, с которым также ведутся большие работы за границей, но у нас, к сожалению, почти не применяющегося — это титана.

Свойства комплексных титанистых сталей у нас не известны, наши исследовательские институты ими мало интересуются, а заводы их не знают.

Целый ряд заводских лабораторий и исследовательских институтов проводит большие исследования по применению титана в нержавеющих сталях, а отдельные заводы уже вывели эти работы из стадии экспериментальной и выпускают на рынок прекрасную нержавеющую сталь с содержанием титана. Месторождение титаномагнетитов Урала не только могут обеспечить потребности будущих металлургиче

ских заводов по производству ферротитана, но и диктуют необходимость расширения сферы применения титана в стальных сплавах, требуют постановки больших исследовательских работ по титанистым сталям.

До империалистической войны только в одной Германии было 15 компаний, имеющих у себя производство ферротитана.

Значительную роль в сталелитейном производстве комбината должна играть медистая строительная сталь и, прежде всего, как мостостроительная и судостроительная сталь. Всем известно, что некоторые уральские чугуны содержат медь, так же, как известно, что некоторые металлурги этой меди боятся. Но исследования немецких и американских заводов показывают, что если медь вредна в инструментальных и некоторых конструкционных сталях, то эта медь весьма желательна и полезна в целом ряде строительных сталей, где она является прекрасным профилактическим средством против ржавления металла.

Уральские руды, содержащие медь, дадут возможность получать медистый металл без больших хлопот и добавок металлической меди.

Относительно высокая стоимость электроэнергии в пределах второй пятилетки затрудняет форсирование развития электродоменного производства чугуна, поэтому вряд ли можно будет говорить о строительстве больше, чем одной электродоменной печи. Неблагоприятный баланс по древесному углю на Урале все же аргументирует за установку первой элекродомны уже в текущем пятилетии, ибо этот процесс, расходуя одну треть древесного угля по сравнению с обычной домной, дает возможность на одном и том же количестве угля получить в три раза больше металла, при затрате 2200—2500 киловатт/часов на тонну чугуна.

Эта первая установка должна дать весь материал для решения вопросов крупного строительства электродомен.

Но те же вопросы затруднения с древесным углем на Урале делают заманчивыми перспективы развития методов прямого получения железа, получения железа непосредственно из руд.

Этот метод, не требуя высокосортного металлургического топлива, дает возможность использовать бедные угли, углистые сланцы и прочий горючий материал, а течение при низких температурах создает условия получения малофосфористого металла.

Наличие такого способа, позволяющего получать высококачественный металл, не имея древесно-угольных чугунов, коренным образом меняет всю картину металлургических процессов.

Прежде всего, это не связывает нашу металлургию с наличием коксующих углей, этот метод позволяет использовать наши пылеватые руды без всякой предварительной подготовки — не требует агломерационных установок.

Особенно интересным этот метод является в применении к титаномагнетитам, так как здесь после выделения восстановленного железа пустая порода содержит титан и может быть также использована.

Не можем ли мы сейчас сделать такой вывод, что доменный процесс себя отжил и домна, как металлургический аппарат, должна умереть, а нашу металлургию мы будем развивать новыми путями?

Нет, этого сказать мы не можем. Но учитывая колоссальное значение новых методов получения железа непосредственно из руды, мы должны повести большие исследовательские работы по выявлению технически наиболее совершенного метода работы и наметить строительство первого завода для работы этим методом.

Этого требуют все более частые вспышки грядущей революции в технике получения черного металла, этого требует жизненная необходимость разработки способов получения на Урале чистого металла без древесного угля.

4. ОБ'ЕКТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Новые идеи в металлургической технике как в области извлечения железа из руд, так и производства сталей для отдельных отраслей промышленности требуют систематической научно-исследовательской работы по целому комплексу вопросов, и эта роль научно-исследовательской работы будет прогрессивно расти по мере уменьшения расстояния между техникой производства нашей промышленности и техникой передовых капиталистических стран.

Уже в настоящее время целый ряд сложных вопросов проектирования упирается в невозможность их разрешения из-за отсутствия самых элементарных сведений по технологии производства.

Построение перспективных планов развития и намечения новых производств также нахо

дится в прямой зависимости от наличия экспериментальных данных по этим производствам.

Грандиозный план развития черной металлургии в Урало-Кузбасском комбинате, организация новых производств, использование новейших технических достижений во всю широту ставит вопросы научно-исследовательских работ.

Какие же задачи выдвигает проблема УКК перед научно-исследовательскими организациями в области черного металла.

Развитие производства легированной стали, которое должно составить по комбинату к 1937 г. более 4 000 000 тонн, возможно при наличии соответствующего количества специальных элементов, входящих в эту лигированную сталь в качестве ее составных частей.

Это развитие возможно при наличии хрома, никеля, вольфрама, молибдена, ванадия, кобальта и ряда других металлов.

Если мы обратимся к характеристике наших рудных запасов по названным элементам, то увидим, что эти запасы ни в какой степени не связаны с потребностями нашей промышленности.

Урал занимал когда-то на мировом рынке четвертое место по экспорту хромистых руд.

Эти руды разрабатывались в течение десятилетий, но даже к настоящему времени мы не имеем ясной картины по рудным залежам хромистого железняка.

Растущее потребление вольфрама сталелитейной и электротехнической промышленностью, все растущая роль хрома, никеля, молибдена и ванадия в конструкционных сталях, а кобальта в сверхтвердых сплавах — требует упорной и интенсивной работы в части геологических изысканий по названным элементам.

С другой стороны, целый ряд уже известных месторождений является недоступным для металлургической переработки из-за отсутствия разработанной технологии обогащения, т. е. повышения, концентрации полезного элемента в рудах этих месторождений.

Целый ряд месторождений хромистого железняка, заключенных в массивах Уральского хребта, является нам недоступным, ибо наша промышленность еще не вооружена научно-обоснованным и технически разработанным методом их обогащения.

Но перед научно-исследовательскими организациями по обогащению стоит задача не только повышения концентрации полезного ископаемого, но и освобождения его от тех вредных примесей, которые при металлургической переработке концентратов не могут быть удалены.

Такое месторождение вольфрама, как Гумбейское месторождение шеелитов, содержит значительное количество меди, от которой металлург освободиться не в состоянии.

Разрешение задачи выделения этой меди из вольфрамовых концентратов не только дает возможность получить металл высокого качества, но и дает также второй ценный продукт — медь.

Целый ряд комплексных руд молибден-медистых, никель-хромистых и т. д. вызывает необходимость комплексных исследований по вопросам их рационального использования, т. е. вызывает необходимость тесного контакта обогатительных исследовательских организаций с металлургическими институтами.

Рост производства высококачественных сталей должен сопровождаться не только количественным ростом потребителя ферросплавов, но должен отразить в себе все элементы технической рационализации производства и потребления как этих сплавов, так и тех сталей, в которые они входят.

Если мы обратимся к такой группе сталей, как стали быстрорежущие, то увидим, что в то время как потребление американской промышленности в 1928 г. составляло 9000 тонн таких сталей, наша промышленность ориентируется на потребление в 1933 г. — 20 000 тонн.

Что это такое — прогресс, крупная победа наших заводов, или это говорит о варварском неумелом, неэкономном расходовании дорогого металла.

Самое беглое знакомство с практикой использования этих сталей говорит о последнем.

В то время как американская и европейская промышленность перешла на наварные резцы и прочий наварный инструмент — наши заводы в подавляющем большинстве о наварке имеют слабое представление и ею не пользуются.

Остатки этих инструментов часто смешиваются с отходами других сталей, и металл не возвращается для получения быстрорежущей стали, а рассеивается, попадая в обычные сорта.

Таким образом элементы, входящие в группу редких, так как природа сконцентрировала их в весьма ограниченном количестве на незначительных участках земной коры, рассеиваются и бесследно исчезают для промышленного использования.

Сам метод введения специального элемента в сталь требует большой исследовательской проработки.

В настоящее время специальные примеси добавляются в жидкий металл, главным образом, в виде чистого металла или сплава.

Но американская сталелитейная практика и целый ряд европейских заводов начинают применять новые методы присадки этих элементов.

Так например, американская сталелитейная промышленность присадку молибдена в жидкий металл производит не в виде ферромолибдена, а в форме кальциевой соли молибденовой кислоты — молибдата кальция. Насколько серьезно это нововведение американской металлургии, говорит тот факт, что в 1929 г. вся добыча молибденовой руды в САСШ в количестве 1044 тонн (в пересчете на чистый молибден) была переделана на молибдат кальция.

Какие технические преимущества имеет этот новый метод введения специального элемента?

Прежде всего, при процессе химической переработки рудных концентратов для получения солей молибденовой кислоты значительно большая часть ценного элемента может быть использована, по сравнению с его металлургической переработкой, где он теряется в газах, вследствие испарения, и в шлаках, в виде невосстановленных окислов.

С другой стороны, если при химической переработке концентратов можно получить соединения молибдена, практически совершенно свободные от вредных примесей, то этого нельзя сказать про металлургический метод производства, где наряду с наличием в сплаве целого ряда нежелательных примесей, таких, как сера, фосфор, медь, олово, мышьяк и др., создаются все условия для образования карбидов молибдена, сильно понижающих ценность продукта.

Кроме этого при производстве ферромолибдена затрачивается значительное количество тепла, часть которого теряется в виде тепла, уносимого шлаком и выплавленным металлом, при введении же молибдена в форме его солей этого не происходит.

Но, может быть, это частный случай и не может быть распространен на другие сплавы?

Беглый просмотр технической литературы и наблюдение за научно-исследовательскими работами европейских исследовательских учреждений по металлу убеждает нас в том, что это относится к ряду элементов.

Патентное Бюро САСШ выдало за последние годы несколько патентов на способы присадки ванадия к стали в виде ванадиевых солей, а на некоторых европейских заводах ставились опыты введения в сталь титана в виде такого трудно восстановимого соединения, как окись титана и т. д.

Проектирование и строительство новых ферросплавных заводов не может пройти мимо вопросов изучения методики легирования сталей, т. е. присадки к этим сталям специальных примесей, так как удачное осуществление присадки этих примесей в форме химических солей ставит под сомнение целесообразность строительства целого ряда цехов и даже отдельных заводов.

Колоссальный грузовой поток У. К. К., выдвигая проблему электрической тяги поездов, выдвигая вопросы скорости их передвижения, требует постановки исследований по рельсовой стали, стали способной выносить эти нагрузки в специфических условиях сибирского климата.

Рельсовый металл, без проработки его в научно-исследовательских учреждениях, может стать узким местом, может затормозить электрификацию транспорта.

Строительство социалистических городов обобществленными бытовыми учреждениями (хлебные заводы, фабрики-кухни, столовые и пр.) не может удовлетворить металл, легко подвергающийся окислению, металл ржавеющий.

Вопросы дешевых, нержавеющих являются насущными вопросами.

В наступающем новом пятилетии мы должны не только догнать далеко ушедшие капиталистические страны, но мы должны их обгнать и количеством, и качеством и дешевизной стальных нержавеющих изделий.

Вопрос рационального использования титано-магнетитов этого нетронутого резерва чистых железных руд, требует к себе особо серьезного внимания, ибо эти месторождения призваны играть в наступающем пятилетии весьма значительную роль.

Исследование и разработка технологии получения медистых сталей, как из медь-содержащих железных руд Урала, так и из отходов химических производств и отходов цветной металлургии стоит одной из актуальнейших задач сегодняшнего дня.

Разработка угольных месторождений Казакстана, углистых сланцев Башкирии, сапропелитов Сибири, должна сопровождаться не только исследованием их энергетических особенностей, но и те отходы в виде золы, о которых мы даже порой и не думаем, также должны быть об'ектом исследовательской работы.

До 1912 года, т. е. до открытия коренных месторождений ванадия в Перу, американская автомобильная промышленность развивалась, извлекая ванадий из золы углистых сланцев некоторых месторождений.

Золы отдельных из исследованных месторождений угля на Урале и в Туркестане содержат от 4 до 45% пятнокиси ванадия.

Некоторые сланцы Германии, содержа медь и молибден, давали на время войны значительные количества этих металлов.

Комплексные руды при совместной работе обогатителей и металлургов над проблемой их использования могут привести к получению ряда двойных и тройных сплавов, как для присадки к сталям, так и для непосредственного получения этих сталей из обогащенных руд.

Природа собрала некоторые из рудных залежей этих металлов в таком сочетании, в каком уже в чистом металлическом виде соединяет их металлург.

Невозможность непосредственного использования таких комплексных руд, приводит к тому, что исследователь-обогатитель прилагает все усилия к разрешению задачи отделения одного элемента от другого с тем, чтобы металлург соединил их вновь.

Все это выдвигая крупнейшую роль научно-исследовательской работы для решения всех вопросов развития промышленности должно повести к гигантскому росту научно-исследовательских учреждений в Советском Союзе и прежде всего во вновь зарождающемся крупнейшем промышленном центре Урало-Кузбасском комбинате.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

Как они работали

Бертран де Жувенель

В 1880 году Зола было 40 лет. Натурализм был в полном расцвете. К этому времени относится следующий романизированный рассказ, взятый из книги «Жизнь Зола», которую Бертран де Жувенель скоро выпускает в книгоиздательстве Валуа.

Круассе, 18 нояб. 80.

Дорогой мой Зола, сговоритесь с Гонкуром, Альфонсом Додэ и Шарпантье вот о чем: приезжайте позавтракать или пообедать (ad libitum) к вашему другу в субботу, воскресенье или понедельник на Пасхе[1]....

— Смерть не будет служить извинением.

Ваш старый Гюстав Флобер.

И вот в воскресенье утром они все четверо на руанском поезде. Обошлось не без затруднений. Додэ утверждал, что у него чересчур много дела. Шарпантье жаловался:

— Он опять будет приставать, чтобы и раньше всего другого выпустил книжку этого птенца Мопассана!

Гонкур спрашивал:
ком шумно?

Зола пришлось почти отрывать от стола, где были разбросаны корректурные листы с жирными, еще не высохшими помарками и с вновь вписанными во всех направлениях словами и фразами.

«В прежнее время, — думает Зола, — когда являлся случай повидаться с Флобером, никогда не рисковали тем, что могут опоздать на поезд.

А главное, когда ехали вместе, не молчали так, как сейчас молчат все четверо, каждый, поглощенный своими делами, раздраженный тем, что забыл еще сделать, покидая Париж».

— Наконец, ведь это всего на одну ночь,— сказал Додэ.

— Разумеется, он нам будет читать из Бувар и Пекюше сегодня вечером,—подтвердил Гонкур.

— Я хотел бы знать, как двигаются эти два молодчика? Что слышно про них, Шарпантье? — спросил Зола.

— Мне кажется, что это становится огромным, — произнес Шарпантье с видимым огорчением. — Вы знаете, он собирается к этому приложить еще и настоящий словарь: антологию человеческой глупости. Он собирает глупости у всех авторов, древних и современных: букетик, не правда ли?

— Я не понимаю его идеи, — сказал Гонкур. — Старательно искать в течение пяти или шести лет все, что есть глупого в других книгах, чтобы из этого сделать свою!

— Лучше бы он написал еще одну Бовари,—сказал Додэ.—Вот это был сюжет! Вот я...

— Вы прекрасно знаете, что его нужно оставить в покое с Бовари. Он ее ненавидит! — заявил Зола. — Когда с ним говорят о Мадам Бовари, Флобер с яростью фыркает: «Оставьте меня в покое с этой девкой! Ведь это же шутка! Ну да! шутка! не стоит она и четырех су! эта Бовари! Поговорим об Искушении! Вот это продумано, это написано!».

Скопление богов, философии, исторических сведений, поток описаний, мыслей, прилагательных, образов, пятнадцать лет работы. Флобер все это вложил в свое Искушение Святого Антония и все-таки не смог за-

---

[1] Письмо написано в ноябре и вся сцена действительно происходит осенью, поэтому слово пасха непонятно; вероятно это какой-нибудь шутливый условный термин. Прим. перев.

ставить позабыть похождени
кой мещаночки.

— Возможно, что пишут только одну книгу,—повторяет Зола.—Одну книгу! Одну книгу!—Он скандирует эти слова под тряску поезда и проникнут страхом, в котором сам себе не сознается. Для него может быть эта единственная книга — Западня. Сколько бы он ни трудился, он никогда не достигнет того же успеха!

И как бы желая об
восклицает:

— А все же это хорошо, эти два молодчика, которые пробуют все, во всем терпят неудачу, в каждом своем движении проявляют человеческую глупость и кончают тем, что переписывают все, что было написано до них! Это переполнение человеческого ума всеми общими местами, которыми его напичкали, тяжелит и парализует и наполняет его так, что не остается и самой крошечной скважины для творческого духа. Какая эпопея!

Никто не откликнулся:

— Да, но два смешных человечка, суетящихся впустую, этого еще недостаточно для книги, — утверждает Додэ.

Когда-то они шли на улицу Мурильо как в паломничество. Зола содрогается. Сегодня у него впечатление, будто они, потерявшие веру священнослужители, и идут надругаться над своим старым бессильным богом.

В кабинете Флобера на полу, в шкуре медведя с порыжевшею шерстью — большая дыра на том самом месте, где Флобер в поисках точного слова, сильно пнул в нее ногой. Она выворочена, смята, будто в комнате происходила драка.

— Милые мои, а я хотел пойти вас встретить — сказал Флобер, смеясь и протягивая руки, — но оба молодчика схватили меня за рукава и не позволили уйти.

На диване в беспорядке раскрытые книги. Высохшая нога подвертывается под ноги Шарпантье.

— Они ведь все собирают, эти ребята! — восклицает Флобер, будто Бувар и Пекюше были резвыми мальчуганами, живущими в доме.

Поцелуй Флобера в щеку Зола, звучный, немного влажный, как бывает у мужчин к этому непривычных. А какая радость — этот поцелуй! Зола вновь обретает здесь человека, который борется, как он, и понимает, что это значит.

— Нана — это от эпоса!

Когда старик говорит так, это что-нибудь да значит.

— Несколько наглловато... но...

Флобер протягивает руки, нады
тпускает их:

Вот! В конце концов или
дерьмо!

Страстность Флобера живительно действует на Зола.

Флобер перерывает ногой кучу книг, сложенных пирамидой под его столом. Ударом каблука он отталкивает Катехизис постоянства аббата Гомэ и на вопрошающий взгляд Зола, как бы оправдывается:

— Все мои молодчики! Много всякой дичи читают! Ах этот Гомэ, он громадина!

Медицинские трактаты, работы по геологии, все это рушится, ломаются корешки, выпадают страницы.

— А вот она, наконец! — восклицает Флобер. — Вот!

Он потрясает Нана.

— Портрет Коклена младшего! Чудесно! Когда он выгоняет Нана, потому что подобрал какую-то потаскушку! Это так естественно. На странице 397, это «Иди же»! А перед этим «Ляжем»! Затем видение г-на д'Англара! Но что прекрасно, — это первый приз на скачках, торжество Нана!

Гонкур смотрит, как в окне от одного края до другого скользят мачты невидимых, проходящих по Сене судов, он поворачивается с улыбкой, чтобы сказать:

— О эти брюки!

Додэ разражается смехом:

— Да, эти светлые брюки, в которые вы облеклись, старина, чтобы пойти посмотреть Первый приз в прошедшем году!

— Ну и что же брюки? — спрашивает Флобер, заметив серьезное и раздраженное лицо Зола над тучным его животом. — Они были менее модны, чем мои?

И он показывает свой толстый зад в невероятных зуавских штанах, сшитых его старой прислугой.

Он громко хохочет, обхватывает всех своих друзей и толкает их перед собою.

— Дети мои, есть тюрбо под сметаной, весьма недурной!

От смеха Флобера звенят стаканы.

Здоровые шутки разносятся над столом.

— Как я весел сегодня, — удивляется Зола, не отдавая себе отчета, что они все четверо

лишь отвечают Флоберу. Их веселость веселость Флобера.

— Итак, друг Додэ, ваша пьеса делает сборы! Лавры Западни, мелодрама Бюснаха, не дают вам спать! Так-то! И этот самый Бюснах собирается разделать Нана на мелкие куски! Браво! Здорово вы промышляете, молодцы! Сварить одну и ту же курицу три раза в один день — это что-нибудь да значит!

Он весело хлопает их по плечу, накачивает их вином, обкармливает кровяным утенком. Он переливает в них свою жизнь.

Перед ним четыре богатых печальных человека, нужно же ему подать им милостыню; у них есть все, а у него ничего.

— Что вы выпускаете в этом году, вы — Зола, и вы — Додэ, и вы — Гонкур?

Перед каждым единственная тема, которая его захватывает: его книга, его успех, его тираж.

После Нана Зола хочет написать психологический роман, разработанный до мелочей.

— Неотступное преследование мысли о смерти, вот что я хочу дать. Личность, которая не может выйти из комнаты, закрыть книгу, не думая, что это в последний раз. Болезненная потребность возвращаться к вещам, трогать их по три или по семи раз, чтобы их приковать к себе, прицепиться к ним, чтобы смерть не могла внезапно его похитить.

Зола толкает рукой рюмку от бордо, стоящую перед ним. Бессознательным жестом маньяка, он слегка стукает стакан и рюмку от бургундского.

— Я хотел бы написать что-нибудь ужасное: связь, — объявляет Додэ, — то, что я испортил в Маленьком человеке. Молодой человек. Женщина уже старая. У меня прекрасный символ для начала. Он уносит на руках женщину, чтобы донести ее до своей квартиры в пятом этаже. Начало этого восхождения — наслаждение. С этажа на этаж это становится мученьем. Вы видите его всего в поту, под тяжестью этого тела[1].

Намерения маленького Додэ воспламеняют его щеки. Он шепчет какое-то имя.

— Я еще не знаю, еще не знаю, — уверяет Гонкур. — Мне еще нужно осмотреться вокруг себя. Кажется — актриса. Когда мы были в Сент-Адрессе в 51 году, Дюбюиссон как-то вечером из своего окна подзадоривала моего брата взлезть на балкон. Я еще вижу, как он ухватился за трельяж, перелез через балюстраду, схватил женщину, которая смеялась; а рядом со мной в саду Асселин, рука его дрожала на моей и он был страшно бледен. Затем он потащил меня на пляж, и пока Жюль был в комнате, он облегчил себе душу, говоря мне о своей любви с таким неистовством...

— А это хорошо! Это прекрасная сцена, — сказал Зола, внимательно его слушавший.

Гонкур с сокрушением говорит:

— Так страшно тяжело работать! Мне нужно теперь двенадцать часов, чтобы иметь из них три хороших. Утром я опять пережевываю свой план с помощью папирос. После завтрака опять папиросы и бумага покрыта глупейшими каракулями. Около четырех часов я решаюсь оставить и встаю. Это приводит в движение неподвижные столбы дыма. Мои действующие лица там за этой занавесью. Я завидую скульптору, он ударами молотка может заставить их жить. Я ударяю моим пером. Слог становится плавным. И начинает итти совсем хорошо тогда, когда я уже изнемогаю. После обеда я беру опять мои бумаги. Я их штопаю, я их прокуриваю...

— Да, так у всех, — ворчит Флобер. — Както вечером я сделал славную страницу. Это не безделица, ведь, вы знаете, я в четыре недели мог сделать всего лишь десять страниц. Становится все более и более трудно. Наконец я уложил моих молодчиков на голландскую бумагу, я был доволен. Ложусь в кровать. Начинаю засыпать. И вдруг внезапно я начинаю думать, что оставил одно повторение. Говорю себе, что пересмотрю это завтра. Но я не сплю. Наконец я уже не могу удержаться. Встаю, босиком бегу, ударяясь по пути, к своему столу, убираю прочь этот негодный повторяющийся глагол. Весьма довольный, перечитываю мой отрывок. И, пропустив его через свою глотку, вижу, что две части фразы не очень-то хорошо уравновешены. Пробую переделать. Ничего не выходит. Дрожа всем телом, я иду и прячусь под одеяла. Никакой возможности заснуть. Я опять зажигаю свечу, опять встаю, иду за листом, и в кровати, со свечой в одной руке и карандашом в другой, я вычеркиваю, прибавляю, изменяю до тех пор, пока не остается — ничего! ничего! ничего!..

Его голос погасает.

Зола представляет себе Флобера, заснувшего на рассвете, свеча закапала ему пальцы простыни: испещренный помарками лист, проды-

[1] Впоследствии он показал это в романе «Софа». Прим. ред.

рявленный яростным ударом карандаша лежит на груди поверженного гиганта, как разодранное знамя на теле героя.

— Как раз, — жалуется Флобер, — я радовался, что прочту эту страницу Мопассану., который приезжал на другой день. И когда я проснулся...

Голос его становится более твердым.

— Когда я проснулся, я нашел лишь отвратительное смешение фраз и исковерканных связующих словечек. И пришлось все начинать сначала! Вот и все! Но я становлюсь старым, дети мои, и, славный мой Шарпантье, вы еще не в этом году напечатаете Бувар и Пекюше!

Давно уже кончился обед. Флобер наконец это замечает. Он с трудом встает и вздыхает:

— Если бы, по крайней мере, быть уверенным, что это чего-нибудь да стоит!

В рабочем кабинете они, все пятеро, чат.

— Ах, старик Гюго, вот, ведь, счастье ему, он всегда в восторге от того, что делает. Даже, когда это — Осел![1].

Зола развеселился.

— Ах, этот Осел! Осел, который исчерпал все науки! Он знает Салиана, Ектемона, Алирюна, Батираса, Шифлетнуса, Панкарпина, Питсера, Боктоне, Нотарбюса[2], он раздувается, чтобы занять пространство и становится зверем Апокалипсиса! Что сделал он с моими славными осликами из Медана, такими веселыми с их колокольчиками! Их толстым носом, который опускается к земле каждый раз, как они передвигают свои несгибающиеся маленькие ножки! Он пустил их через столетия и материки в слоновом галопе.

— Это Исайя на подкладке Калино,[3] — шутит Додэ.

— Это Мальбрук в поход собрался, сыгранный на трубах Страшного Суда, — еще усилил Зола.

И, переменив тон, он заключил:

— Ну что же, он доволен. Он в восторге.

— Как-то на-днях, — осведомил Гонкур, — он говорил: — Пора уже мне убывать со света.

Флобер, ставший серьезным, спросил:

— Он сказал это! Это вну зано!

Зола продолжает:

— У Курбэ был такой же характер. Я помню, я видел его как-то на выставке, он откровенно стоял перед своим отвергнутым полотном со смешком удовлетворения и находил только одну формулу: эх, как смешно, как это смешно!

— Вот это счастливцы, — сказал Флобер, — и может быть они-то единственно гениальны. Что-то им подсказывает, что им не нужно мучиться.

— Полноте,—взрывается Зола.—Гениальны!

Он остановился на этом слове, головою вперед. Три остальных писателя с трепетом вытягивают шеи: гений!

Он отвечает очень тихо:

— Гений, что такое гений? Гений — это роман, которого не написал, гений — это груда белых листов, на которых можно наконец...

Он потрясает рукой как оружием, прижимает ее к столу.

— ...отпечатать свою лапу, без пены и туманностей, позорящих прежнюю книгу, из-за чего не хочешь на нее и смотреть!

Пальцами он ерошит волосы, мнет череп.

— Затем начинаешь. Первые главы еще идут. Впереди много простора для гениальности. А затем...

Он кривит губы:

— Затем видишь ясно, что это будет еще не тут! Книга плоха, хуже, чем предыдущая! Придумываешь себе мучение от страниц, фраз, слов, даже запятые принимают уродливые формы, от которых страдаешь! Каждый день, перед тем как делать свою страницу, перечитываешь оставшиеся, становишься поденщиком, который хочет только отделаться от своей работы...

Три писателя смотрят на него пристально, веки их вздрагивают, они слушают.

— И когда она окончена! Ах, когда она окончена, какое облегчение! Не наслаждение Господина, восторгающегося созерцанием своего плода, но брань носильщика, сбрасывающего ношу, которая сломала ему хребет... Затем это начинается снова, начинается всегда снова; затем я от этого околею, в ярости, что не смог оставить произведения более совершенного, более высокого... Книги на книгах, нагромождение целой горы...

---

[1] «L'Ane» — одно из незадолго до того появившихся произведений Виктора Гюго. Прим. перев.

[2] Все эти имена в Осле выдуманные Гюго, повидимому для рифмы. Прим. перев.

[3] Calino — персонаж из водевиля, роль наивного дурака; имя вошло в пословицу. Прим. перев.

На половину приподымаясь из кресле, как вожделеющее животное, он хрипло и прерывисто дышит, внезапно вопит:

— Ах, если бы я мог все переделать!

— Мосье Гюи — не таков!

Старуха Жюли в своих бесчисленных, плохо пахнущих юбках притащилась с утра в комнату Зола.

Она встала перед его кроватью и смотрит, мигая, на то место, где возвышается простыня на животе. Она водит мизинцем между своими мокрыми вялыми губами, которые так и остаются вывернутыми:

— Он на ногах в пять часов, мосье Гюи, и плавает в Сене, — произносит она со всем сохранившимся у нее энтузиазмом. Ах, правда, когда он приезжает сюда, то с ним и веселье в дом!

Она вынимает изо рта слюнявый мизинец.

— Тот-то рядом в комнате, закричал мне, чтобы я не шумела метлой. Я ему сказала, что в семь часов уже время подметать.

Зола улыбается, вспоминая, в какую ярость впадает Гонкур от шума.

— А тот другой, — продолжает Жюли, — ему нужна теплая вода.

Она с презрением повторяет:

— Теплая! Теплой воды на пятерых! Однако мосье Гюи благородный. И он, ведь, простой. Он мне показал портрет командира Мопассана. Дедушка его, который был, мосье...

Жюли опирается на метлу, как на трость, и продолжает доверительно:

— Ах, матушки, мосье Гюи... Хозяин его обожают!

Правда есть четыре кровати для приглашенных в Круассэ, но нет четырех умывальников. Шарпантье, Додэ, Зола, Гонкур чередуются в одной комнате, приспособленной под умывальную.

Они сталкиваются в кальсонах, ноги их волосаты, бороды вз'ерошены.

Точно толкутся сорокалетние лицеисты. Из них самый толстый — увалень Зола.

Под носками холодеют плиты пола. Жирные груди содрогаются от холода со двора. Холодные плиты; холодная вода, спешное умыванье, это внезапно отбрасывает Зола назад в Экс домой. Он напевает над тазом и, подняв намыленную голову, ожидает увидеть рядом с собой Сезанна или Байля.

Он спускается тяжелым веселым шагом.

Вот он под руку с Флобером среди грядок моркови.

— Говорил ли с вами Мопассан о нашей мысли насчет журнала.

— Огромадно, дорогой мой! Огромадно! Я бы назвал его Друг Правосудия.

Зола очень плодовит в это утро. Холодная вода подхлеснула ему воображение.

— Наконец-то можно будет все высказывать, — восклицает он. — Во Франции нет свободной критики. Ни для театра, ни для романа, ни для политики! Подумать только, что я, Зола, когда хочу высказать свое мнение, могу это сделать только в русском журнале. Ах, цари более либеральны, чем наша республика!

— Да,—сказал Флобер,—республика осуществляет в литературе террор самым печальным образом. Знаете, что они сделали с Мопассаном за несколько стихов? Трибунал в Этампе хотел его во что бы то ни стало прищучить. Я получил безумные письма от моего маленького Мопассана и нужно было двинуть Барро, чтобы потушить дело... Сюда, сюда! Додэ! А вы что думаете, старина, о журнале Зола? Это хороший способ сплотиться, неправда ли?

— Можно будет говорить правду, — утверждает Зола.

— Правда, правда! Нет никакой правды, есть только точки зрения, — об'являет Флобер.

— Наконец-то мы скажем то, что думаем.— утверждает Додэ.

— Это еще не наверное. Вы знаете, Зола, ведь вашего Гюисманса я нахожу отвратительным, и что же? Я написал ему, что развязка его Сестер Ватар, почти совершенна. И это я, старый, святой Поликарп, я!

Зола насупился.

— Дело в том, что... Гюисманс должен как раз заняться журналом. Он нашел типографию на улице Аргу, он должен...

— Ничего не значит, много еще остается на кого нападать! Целый отряд поставщиков самой плохой литературы: Бюлоц, Кассаньяк, Бирантен... Тираны XIX века! И еще кассы Ротшильда! Это должно бы вас соблазнить, Зола! А затем прохватим и этих неудачников от литературы и журнализма, которые нами правят. С нас достаточно говорить правду о врагах. Можно помолчать о друзьях.

И Флобер вспомнил о «Королях в изгнании», про которых он написал Додэ:

— «На каждой странице находишь жемчужины!».

А Мопассану:

— «Что вы об этом думаете? Что касается меня... гм, гм!».

Зола с энтузиазмом размахивает руками, натыкается на кочан капусты и опять хватается за свое:

— Гюисманс хочет назвать журнал «Человеческая комедия». Я бы предпочел «Натурализм!». Это, по крайней мере, действительно что-то говорит.

Флобер и Додэ обмениваются огорченными взглядами.

— Может быть и не нужно злоупотреблять этим словом,— намекнул Додэ.— Вы нас окончательно окрестили романистами-натуралистами, зачем к этому постоянно возвращаться.

Более правдивый Флобер восклицает:

— Натурализм? Я не понимаю! Ваш талант, старина Зола, зиждется на том, что вы романтик. От этого вы не уйдете! Ваш вкус к огромному? Романтизм! Ваша страсть к ужасному! Романтизм! А вот и Гонкур! Ну-ка, вы старина, что вы думаете о натурализме?

Гонкур пожимает худыми плечами.

— Я бы хотел внести поэзию и фантастику в изучение правды. В моей ближайшей книге я определенно покину изображение безобразного, как систему...

— Разумеется, — прорывается Флобер. В прежнее время благородный стиль исключал все подлые слова и темы. Не нужно впадать в другую крайность и ограничиваться только такими словами и темами.

Додэ улыбается, покачивая головой.

— Я всегда старался внести в мои книги долю чистоты и нежности, на которой отдыхает глаз...

— Уголок честных людей,— резко обрывает Зола!— В «Набобе[1]» эти фигуры из позолоченного картона! Это самое неудачное в ваших произведениях. Все эти манекены со сладенькой улыбкой, изображающие Добродетель!

— Друг мой. Друг мой!—протестует Додэ.

Зола поднимает короткие руки и драматически восклицает:

— Друзья мои, мы здесь все, что есть живого во французской литературе, нам достаточно выкинуть знамя, чтобы вокруг нас собралась вся молодежь, и мы бы изгнали вон из литературы всех представителей старых школ! И вы не хотите! Вы же прекрасно знаете, что для публики и даже для потомства,— которое является тою же публикой, но считается, я не знаю почему, более просвещенным,— необходимо представлять вещи в обыденной форме! Литературный романтизм — это вчера, литературный натурализм — сегодня. Писатели 1830: одно поколение, одна формула, одно большое товарищество! Вот каков романтизм! Ну и вот, поколение 70-х годов, у нас есть наше товарищество, нам необходимо иметь свою формулу. И мы ее имеем! Надо мною смеялись, когда я сказал: республика будет натуралистична, или ее совсем не будет. И что же, разве республика не сделалась романтической? Почему же ей не сделаться натуралистической?

— Романтическая республика? — спросил Додэ.— Что это такое?

— Эх, вы прекрасно знаете, что на трибуну вознесли треск громких пустых фраз, которые не нужны были и на сцене! Это был маскарад Буридана, кланявшегося державному народу ударами шляпы с перьями. «Эрнани», в абрикосовом камзоле устанавливающий всеобщее братство, карнавал жестов и поз... Так вот, если мы нашей литературой приучим публику к наблюдению, к точному анализу, экспериментальному методу, то она и в политике захочет идей четких и научного метода в управлении. Республика будет натуралистической...

Зола останавливается. Писатели обмениваются вопрошающими взглядами.

— Голубчик,— говорит Флобер от лица всей группы,— политика — это не наше дело...

— Все наше дело,— пышно отвечает Зола.

Сена течет у его ног, унося с собою бумаги, доски, куски земли с травой. Все это кружится, будто стараясь убежать от течения. Но тщетно. «Я их повлеку помимо их воли,— думает Зола,— я уже их назвал романистами-натуралистами. Я буду продолжать говорить от их имени. Я их заставлю быть центром кристаллизации их эпохи».

Но он почти в этом раскаивается, когда рука Флобера падает ему на плечо:

— Дорогой, когда вы хотите сделать из нас что-то вроде политической партии, я не знаю, так же ли мы близки друг к другу, как вчера вечером, когда говорили о нашем скотском ремесле, просто как добрые малые.

Оба человека переглянулись во внезапном волнении: они больше не увидятся.

— Видите ли, старина,— отвечает Флобер очень тихо,— когда я изнемогаю в моем кабинете в Круассэ, я думаю о вас в вашем кабинете в Медане, о Гонкуре, в его кабинете в

[1] «Набоб» — роман Додэ.

Отейль, о Додэ, в его кабинете в Шампрозай... Наши согнутые спины, тот же скрип пера...

Слеза выступает на глазах Флобера.

Зола вспомнит ее, когда через месяц он получит телеграмму из двух слов:

«Флобер умер».

Перевод **О. М. Новиковой**

ОТ РЕДАКЦИИ

В связи со спорами в РАПП и ВССП о художественном методе, в частности об использовании классического литературного наследства, редакция дает перевод статьи Бертрана де Жувенеля из журнала «La revue Européenne», статью — художественный очерк, являющийся отрывком из книги того же автора и посвященный свиданью четырех лучших представителей старого французского реализма. В этом отрывке исторически более или менее правильно показано отношение этих писателей к своей работе, как к чрезвычайно ответственному и правдивому труду, показана высокая сознательность их творческих установок, их преданность своему делу. С другой стороны, в этом отрывке мы можем видеть и слабые стороны художественного метода старых французских реалистов. Смотри, например, совершенно неправильную трактовку Флобером взаимоотношения между искусством и политикой, трактовку, к которой, кстати сказать, Бертран де Жувенель, как всякий буржуазный литератор, заинтересованный в сокрытии буржуазного характера господствующей литературы,— относится с явным сочувствием.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

Поэт Кирсанов

Бор. Мейлах

Кирсанов с ранних пор своего творчества примкнул к Лефу, и лефовская школа оказала на него сильное влияние. Первые стихи Кирсанова напечатаны в журнале «Юголеф», выходившем в Одессе в 1924 году. Этот журнальчик, крикливый и заносчивый, об'единил около десяти версификаторов, старавшихся перещеголять друг друга необычными сочетаниями слов и причудливыми звучаниями рифм.

В первом сборнике стихов Кирсанова «Опыты», вышедшем в 1927 г., мы видим пеструю мозаику самых различных тем, настроений, подражаний. Здесь баллады о королях и красноармейцах, стихи об осени и бое быков, о золотоискателях и ворах. Удалое «нипочем» сочетается с мотивами глубокого пессимизма. Лефовщина и формализм глядят на нас с каждой страницы.

Сборник открывается стихотворением «Маяковскому». Кирсанов заявляет:

Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
Я радостью скручен, как вьюгой,
Что мне с командиром такими довелось
Шаландаться по морю юнгой.

Но как мыслил Кирсанов учебу у Маяковского? Только как достиженье уменья:

Бросаться с утеса метафор на дно
За жемчугом слов водолазом.

Его мечта «стать, как и он, капитаном». Здесь нет ни слова о социальном назначении поэзии. Между тем, в 1926 году, в котором написано это стихотворение, Маяковский проделывал огромную работу по превращению себя из мелкобуржуазного одиночки-бунтаря в подлинного поэта-революционера. Этого Кирсанов у своего учителя не заметил. Он стремился заимствовать у него лишь совершенство формы.

Пути раннего Маяковского Кирсанов полностью не мог пройти. Его сознание все же формировалось в эпоху советской действительности. Но характерные черты мелкобуржуазной идеологии — утверждение вещей, как властителей вселенной, среди которых человек ничтожен, не заметен, пассивизм, созерцательство — крепко засели в сознании Кирсанова.

Он не знает еще своего места на земле, его мироощущение — случайность, неопределенность:

Мне чудится, будто бы в море причуд
Я парус на судне, залитом водою,
Куда меня гонит, туда и лечу,
Надутый просторною пустотою. (Без названия).

Далее ему кажется, что он «кочевая звезда в дрожащем, чужом семизвездьи». Растерянность и беспредметная тоска выражены с достаточной ясностью:

О, кто разберется в моих двойниках?
Их много, их сотни, их тьмы!.. Я немею,
Я слепну, я глохну, дрожу и никак
Себя воедино связать не умею.

Вполне понятно, что мотивы города основные в лирике Кирсанова. Город, в полном соответствии с мироощущением мелкого буржуа, кажется ему сборищем вещей, с роковой необходимостью властвующих над человеком. Бессилие освободиться от их власти порождает глубокий пессимизм. Он в отчаяньи восклицает:

Гранитного города глыба
Темнеет. Я стиснут и заперт!
Он одинок в городе:
Тяжело, тяжело мне —
Ни звезды, ни дорог, ни угла
В этой площади-каменоломне!..

В стихотворении о Москве он рисует ее так же, как рисовали город футуристы до революции. Здесь и «чугунная мгла», и «худые улицы», и гранитная тяжесть домов. Но мы уже говорили, что Кирсанов, развивавшийся в послереволюционные годы, не мог пройти полностью пути русских футуристов. Революция, давшая мелкой буржуазии возможность освободиться от чувства «обреченности», которое вселяет в нее капитализм, разрушила представление о «городе-вампире». Поэтому этот мотив не является основным даже в первом этапе творчества Кирсанова. Нет в его стихах, собственно, и мотивов бунтарства, характерных для раннего Маяковского. Наоборот, в творчестве Кирсанова ненависть к вещам быстро сменяется противоположностью — любовью к ним. Элементы глубокого пессимизма, оставшиеся от прошлого, исчезают и появляются мотивы ухарские, игривые:

Греми, мандолина,
под уличный гам!..
Не жизнь, а малина
дай

В городе поэт видит уже не мрачные «гранитные глыбы», а блеск автомобилей и уют кофеен, не роковые мелодии обреченности слышит он, а раздражающие звуки джаз-банда. Перед ним уже не «площадь-каменоломня», а арена, на которой люди «красиво» живут и «красиво» умирают. Мелкий буржуа отдыхает от капиталистической действительности, ежеминутно грозившей ему гибелью, и старается жить в полное свое удовольствие. Жизнь легка и весела:

Что мне надо спозаранок?
Пара чая, да баранок,
да конфекта -
«барбарис».

Так живи, живи, поя,
В сердце звон выковывая,
Дорогая жизнь моя,
Дудочка ольховая! («Набросок»).

«Неприятности жизни» поэт видит только в том, что вдруг наступила «зима в апреле» (стих. «Весенняя неприятность»). Своим творчеством Кирсанов как бы не отображает действительность, а «играет» в нее. Легкомысленность, поэтическое циркачество, внешний блеск при полной пустоте содержания — становятся основными принципами в его творчестве. Даже такая тема, как смерть, подается им очень легкомысленно. Так, в стихотворении «Могикане» вымирание народов дано как веселая пляска:

Мы арабы вымираем...
На коней, Аравия!
Мы айносы — вымираем...
Пойте всей оравою!
Мы чунтары — вымираем...
В пляску, чунтары!
Мы цыгане — вымираем...
Табор, — в гитары!

Тяжеловатый ритм «стихотворений о Москве» сменяется веселым, опереточным, фокстротным:

Мэри красавица
у крыльца.
С лошадью справится —
Ца-ца! («Мери-наездница»).

Вершиной «циркаческого» стиля Кирсанова являются стихотворения, об'единенные в сборнике «Слово предоставляется Кирсанову». Автор следующим образом излагает свое поэтическое кредо:

Всю жизнь
Глядеть в провал
пока
в аорте
кровь дика!
Всю жизнь
парад,
антрэ,
покаа!
— Алле!
циркач
стиха
(разрядка моя — Б. М.).

В другом стихотворении («Асееву») он видит назначение своих песен в том, что они несут его «к соловьиным боям» (?!), т. е. к своеобразному уходу от действительности.

В этом сборнике те же характерные черты: фетишизация вещей, отсутствие человека, со-

зерцательность, формализм. Отдельные стихотворения целиком посвящены вещам, которые «очеловечиваются». Стихотворение «Автомобильный роман» рассказывает про «Лимузина», влюбленного в «Мерседес». Однако «автомобили лишены приспособлений для любви» и поэтому «Лимузин» взорвался. В заключение — любование красивой смертью:

Такая смерть не всем дана.
Ну да, бессмыслена она...
Но сколько радости: «гореть,
Лишь раз обнять и умереть!»

Другое стихотворение — «любовный мадригал» ундервудной машинке, которая поэту «милей, чем лучший стих». В третьем он мечтает стать то пароходом, то самолетом:

Если б я был
самолетом
Двухместным
dur-алюминьевым,
Я взлетел бы
с моим пилотом
На 2000 метров
минимум.

В геометрической линии он узнает свою любимую (стихотворение «Любовь»), но горестно констатирует, что «двум параллельным прямым не сойтись никогда и нигде». Наконец, в стихотворении «Девичий именник» Кирсанов предлагает перенумеровать всех людей, как вещи:

Чтобы люди
умирали,
Как аэро
с нумерами!

Изменение действительности происходит без вмешательства человека, только благодаря вещам. Поезд в Брянском лесу заставил отступить лес, в то время, как «в поезде покой, пассажиры спят»...

Весьма редкие изображения действия, труда даются Кирсановым мертво, бледно, по-эстетски. Очень характерно в этом отношении стихотворение «Сельская гравюра». Сельскохозяйственный труд передан в пасторальных тонах, орудия труда и конкретные трудовые процессы изображены эстетски, вне их практической деятельности:

Мы как кисти рож
Наш
— холст
лето.

Хорошо нести жнецом
Сноп,
сноп
света.

Дальше мы узнаем, что «скот уходит на луга, жевать губы», что у коровы «кадык в зобе»» (?!), что косари «свет звезд тушат». И остальные стихи этого сборника сплошь эстетские и формалистские. Буржуазные тенденции в них ярко выражены. Это дало возможность опасаться за перерождение Кирсанова в буржуазного поэта.

Эпитеты, метафоры и сравнения вполне увязываются с «красивостью» содержания. «Казбек—голубой паук», «Одесса—город мам и пап», «лиловые лошади дыма», «очи — пропасти», «золотая страна», «туберкулезный рассвет», «бабочки туберкулеза», «сны туманных высот», «дыма синие руки»... Разве эти образы не характерны и для буржуазных поэтов, символистов, эстетов? Наконец, разве не буржуазная идеология двигала пером Кирсанова, когда он специальным стихотворением агитировал женщин сменить «худоватенькое пальтецо» на «шерсть кенгуров и зебр». Этот пламенный призыв может умилить буржуазных дам или развить мечтательность у «неимущих» обывательниц, нафталинных старушек.

Но жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. А Кирсанов завесой словесной акробатики отгораживался от современности, от социалистического строительства.

Творчество Кирсанова первого периода было безыдейным. «Идейный запас всякого данного человека определяется и обогащается его отношениями к... миру» (Плеханов). По отношению к советской действительности Кирсанов в своем творчестве соблюдал, на своем первом этапе, полный нейтралитет.

Но для марксистов-диалектиков безыдейность есть своего рода идейность. В классовой борьбе нейтралитета нет и не может быть. Обостряющаяся с каждым днем классовая борьба пролетариата с буржуазией с железной необходимостью заставляет каждого современника ответить на вопрос: с нами или против нас?

В процессе классовой борьбы и социалистического строительства изменяется психика человека. Язык фактов и цифр — самый убедительный язык. Он заставляет близких проле-

тариату приобщиться к социалистической стройке, а врагов — сильнее стиснуть оружие.

И песня,
    и стих
        это бомба и знам
И голос певца
    подымает класс,
И тот,
    кто сегодня
        поет не с нами,

    против нас. (Маяковский).

Для Кирсанова проблема перестройки — очень серьезна. Он взял курс на современность, круто изменив направление своей «поэтической яхты». Разумеется, этот поворот может совершиться с большими трудностями и путь к пролетариату для поэта — путь преодоления сложнейших противоречий.

Попытки Кирсанова откликнуться на советскую действительность мы находим даже в сборнике «Слово предоставляется Кирсанову». В двух стихотворениях под одним и тем же названием «Тамбов» — он стремится показать различие между царской армией и красноармейцами. Первое стихотворение рассказывает об уланах, которые в'езжая «в какой-нибудь Тамбов» начинали флирт с кухарками. В чем же отличие красных кавалеристов от уланов? Оказывается в том, что:

Не вертимся
    пижонами
чиновничьими
    женами. —
Обходим
    дозоры
        и на часах стоим.

Оба стихотворения написаны одним и тем же ритмом, изобразительные средства в одном и другом однообразны, с той лишь разницей, что стихотворение о красных кавалеристах в художественном отношении бледнее первого. Ведь уланы т о ж е обходили дозоры и стояли на часах! К а ч е с т в о Красной армии в стихотворении не дано.

Точно так же построены другие два стихотворения — «Ярмарочная». Но советская ярмарка вышла у Кирсанова еще более примитивно, чем «советский Тамбов». Если старая «Ярмарочная» сделана с присущим ему формальным мастерством, то в «новой» даны лишь несколько черточек восточной экзотики и туманный призыв — «старое, темное сотри в порошок».

В дальнейшем темы современности становятся в творчестве Кирсанова преобладающими. В сборнике «Перед поэмой», в который вошли стихотворения, главным образом, за 1928 г., мы читаем о МЮД'е, о перевыборах советов, о Красной армии, о бригаде, о конгрессе тред-юнионов и т. д.

Но социалистическое строительство воспринимается Кирсановым абстрактно. Схематизм, неопределенность, мертвое сопоставление явлений и вещей, вместо их конкретного показа, весь этот груз лефовщины сковывает его творчество. Его метафоры часто бледны, когда он говорит о современности, они не усиляют передачу центральной идеи, а лишь затуманивают ее.

В стихотворении, обращенном к молодежи, мы читаем:

Вы были тогда
    п о д г р о з к а м и,
А с вами
    п р и ш л а г р о з а («Вам»).
Или:
Для вас
    необычно с т а р о е
Б ы л ы х г о д о в
    шушера («Вам»).

И в других стихотворениях поэт часто говорит о времени, которое «молньится», о «фабричном гуде», о «свежих грозах», о «тенях прошлого» и т. д. Эти ничего не говорящие поэтические побрякушки делают стихи Кирсанова беспомощными. Одним из таких стихотворений, чрезвычайно примитивным по содержанию и по форме, является «Мюдовский марш». Его основной идеей является беспредметный «веселый звон».

На день,
    на свет,
        на сумрак
М ы в ы л ь е м с я
в ю н г ш т у р м а х (?! — Б. М.)
играя наш
горластый
    марш
н а ф л е й т а х и н а с у р м а х.
Страной
    серпа и молота
З о в я
    ф а б р и ч н ы й г у д (?! — Б. М.)

марширует молодость
в четырнадцатый
МЮД.

В таком стиле выдержано все стихотворение. Здесь «всего понемножку, а в итоге — нуль»: рабочий класс идет вперед, «сметая ложь и сны», мы осуществляем шефство над селом «под хруст ржаных солом» (?!) и т. д. Такие стихотворения у Кирсанова нередки. Иногда их качество еще более ухудшается увлечением формальными звучаниями, как, например, в стихотворении «Бригада».

Эй, гуд,
гуд сильней,
Гуд ударных
дней,
Дней-стай:
— Бей в сталь...

Вообще увлечение формальными «фокусами» еще сильно у Кирсанова. Установка на легкомысленную песенку, которая так широко развернута на первом этапе его творчества, еще не откинута. Игривый ритм и «рифмачество», пренебрежение к содержанию мы встречаем даже в стихотворениях с актуальной тематикой. Это видно хотя бы в стихотворении о советском флоте, в котором есть такие строчки:

У морей замирай,
сердце,
Под бушлатной стучи
шерстью,
Миноносочка, двинь
стайкой,
Где играет дельфин
с чайкой.

В этом стихотворении мы видим фиксацию внимания не на центральной идее, а на мелочах.

Очень характерна и для этого периода творчества Кирсанова хроническая любовь к вещам. Попрежнему в его стихах нет человека, движение действительности есть движение вещей, оторванное от практики человека. В стихотворении «Памяти великого князя Николая Николаевича» революция передается фиксациями на вещах:

У него (у князя Б. М.) на проспекте
был дворец,

Качество переворота поэт видит в том, что красные «взяли дворец под арест». Даже в стихотворении о советском Тифлисе, который размахом строительства произвел на поэта большое впечатление, мы видим славословие вещей и полное отсутствие действия:

Стихи!
уберите
свою романтику,
подайте
сюда ЗАГЭС!
Чтоб город
не дырой
зиял,
Цементом
облеките,
Чтоб небу
в

Со спуска
Елбакидзе («Впервые здесь»).

Эта «вещность», игнорирование роли человека, логично сочетается с беспартийным об'ективизмом.

Фотографичность и статика — неразрывны. И то и другое является принципами лефовщины, которых Кирсанов не преодолел. Типичным стихотворением «об'ективистского» характера является стихотворение «Время». В нем поэт бросает «ретроспективный взгляд» на прошлое. Перед ним мелькают времена Кирилла и Мефодия, эпохи Петра, Екатерины, декабристы, РСДРП, он слышит, наконец, залп с «Авроры». В результате всего этого следует вывод:

Живешь, живешь,
Хлеб жуешь,
а глянешь на свет,
станешь в окне,
и тысячи лет
нет как нет.

Никакой классовой характеристики ни типов, ни эпох нет. События и имена констатируются без всякого к ним отношения.

Иногда об'ективизм рядится в тогу революционной фразы, но все-таки просвечивает достаточно ясно. В стихотворении «Москва перевыборная» главное внимание уделено внешнему оформлению демонстрации, а факт перевыборов советов является здесь «пятым колесом в телеге».

То, что мы увидели
гудит за века:
Громкоговорители
на грузовиках. (?!—Б. М.)
Мы выходим глыбами
за каждый дом,
Все на перевыборы
идем, идем! (Разрядка моя—Б. М.)

Отсутствует у Кирсанова и классовая характеристика изображаемого. Даже в стихотворении «Слово к воеводе», воевода рисуется без ярко выраженной классовой ненависти могучим по природе, хотя и несчастным. Поэт взял по отношению к нему вполне «деликатный» тон. У воеводы Юзефовского «голос важный и мощный», но «голосом этим не смутиться заводам». Если воевода вздумает позариться на нашу землю, то «мы из Днепропетровска» отведем его руку. Поэт обращается к воеводе с такими словами по поводу Советского Союза:

Ты не очень-то
сетуй
И не плачь,
воевода.
И не жалуйся —
нету
Ничего
твоего там.

Даже и в таких редких случаях, когда Кирсанов рисует человека, мы не видим портрета классового живого человека. Здесь опять сказывается абстрактная трактовка явлений, отсутствие глубины изображения.

III

Последние работы Кирсанова — сборник стихов «Ударный квартал» и поэма «Пятилетка» — показывают, что Кирсанов пытается стать на путь преодоления своих ошибок и приближения к пролетариату.

Мы говорим о стихотворениях, которые печатались в «Комсомольской правде» — «Подсудимые, встать!», «Черная галлерея», «Допрос свидетеля» и др. Особенно выделяется стихотворение «Подсудимые, встать!», в котором поэт говорит о процессе «Промпартии».

Сначала рисуется Рамзин. Он дает показания «спокоен и неотразим», «держится деловито», «корректно и скромно» излагает план интервенции. Кирсанов блестящими строчками срывает с Рамзина его маску «корректности» и перед нами класс убийц, наступающий на класс пролетариата. Поэт расшифровывает слова Рамзина «сначала должна была выступить Румыния, дальше — Польша, и мы видим как Рябушинские, Милюковы, Дворжанчики судят пролетариат». Кто же подсудимые?

К петле!
Командиры,
рабкоры,
ударники,
Колхозники,
красноармейцы,
К петле!

Мы слышим Рамзина, который тем же «деловитым и скромным» голосом говорит:

Нас упрекают
в жестокости мер,
Но перевороты
не бывают бескровны.
Тогда,
забыв этикета меру,
Зааплодировал зал..
премьеру.

Но «не быть по сему!» Сейчас на скамье подсудимых Рамзин. Кто же они, судьи?

Разве Вышинский и Львов
судит?
Какие люди?..
Это вошли
судить версальцев
коммунары,
казненные Тьером...
С веревкой на шее
с помоста дощатого
Сходит
повешенный
Зуев...
Мертвенно-бледный
идет Урицкий,
Руку
Прижав
к ране.

Дальше к суду идет, истекая кровью, замученный Ян Томп. Растерзанный комсомолец Фейгин пришел судить своих убийц. И в тол-

пах идущих революционеров поэт слышит приговор:

Выньте
пули,
нас простреливщие,
и ими
казните
наших убийц!

Это стихотворение написано очень сильно. Чрезвычайно интересно, как показатель перестройки творчества Кирсанова, и стихотворение «Наши голоса». В нем изображается перекличка горняков Рура и Донбасса, связанных общими классовыми интересами. Горняки Рура чутко следят за выполнением программы донбассцами и дают обещание быть стойкими в классовых боях.

Актуальны стихотворения под общим названием «Черная галлерея». Перед нами портреты «комсомольца-очковтирателя», у которого «протоколов сладкие торты» гласят о благополучии, в то время как никакой работы не ведется. Комсомолец-оппортунист разоблачается, как агент кулака:

Уши не слышат
даже крупинки
Грохота стройки,
поры боевой.
А сплетни торговок
на частном рынке
без пропуска входят
в ухо его.

Многие строчки являются мастерски выполненными стихотворными лозунгами. Например:

Помни, парень,
Завод
не рубашка —
Небось,
рубашку
меняешь реже?

Или, например, заключение:

А если
вот так,
от завода к заводу,
будет порхать
летунья братва.
Выполним пятилетку
в четыре года?
Чорта с два!

Однако в сборнике «Ударный квартал» имеются крупные недостатки. Большинство стихотворений весьма поверхностно. Так, очень неудачно стихотворение «Девятый», посвященное с'езду комсомола. Оно представляет из себя набор общих фраз и декларативных обещаний «раззвенеть свою песню». Поражает удивительно небрежная отделка стиха, в котором Кирсанов призывает «высоту большевистской закалки повысить». Тут и «стих звенит», и «могучая залежь рабочей смекалки», и «неостывшая страна», молодежь сравнивается со свежими ветками и т. д.

Нередко чувствуется в стихах и тяготение к красивости. Например, в стихотворении «Подсудимые встать!», в вступлении люстры Дома союзов сравниваются с верхушками заснеженных сосен, затем здесь же рассказывается о том, что «Москву обдает серебристой пыльцой». Все это бесполезно и находится в противоречии с содержанием.

IV

«Пятилетка» Кирсанова имеет огромные недостатки, но она говорит о попытках поэта перестроиться.

Критика пока еще не заняла правильную позицию по отношению к «Пятилетке». Нас чрезвычайно удивило постановление редколлегии «Комсомольской правды», опубликованное 22 августа 1930 г., которое гласит:

> «Пятилетка» Кирсанова является коренным произведением реконструктивного периода. Сила поэмы в ее политической актуальности, в классовой направленности, сочетаемых с прекрасным качеством самого стиха».

Эта характеристика неверна, потому что слабость поэмы именно в ее недостаточно ярко выраженной классовой направленности.

В № 1 журнала «На литературном посту» О. Брик писал про Кирсанова: «поэмой «Пятилетка» он показал, что вся его предшествующая работа была только накоплением мастерства, пробой сил, что настоящая большая работа еще только начинается». Это типичное формалистское утверждение. Для нас всякая работа является «накоплением опыта». Но всякая работа, помимо этого, совершается с определенной практической целью.

В «Пятилетке» много непреодоленных, лефовских ошибок. Но ее актуальность диктует необходимость серьезной деловой критики.

В вступлениях к поэме, посвященных Маяковскому, Кирсанов провозглашает себя его продолжателем. Но он видит в нем не только мастера формы, как он утверждал в своей книге «Опыты», а поэта-борца:

Но ты для нас
не греко-римский классик.
Не полый бюст,
а полный бури вождь.

Кирсанов сознает, что поэзия — боевое оружие, что теперь «не время бить стихами отбой и подавать конфектами в десерте». Если мы вспомним сказанные когда-то Кирсановым слова о том, что он «циркач стиха», то нам станет ясно значение этой декларации.

Но, разумеется, что трудности превращения этой декларации в дело для поэта, который еще сравнительно недавно ставил единственной целью нырять «с утеса метафор за жемчугом слов», огромны. И действительно, в поэме во многом сохранились ошибки прошлого творчества.

Поверхностность, схематизм, вещность — сковывают поэму железным кольцом. Попрежнему о человеке говорится лишь вскользь, он не заметен среди грохота машин. В поэме нет действия, не показаны внутренние противоречия изображаемого. Положительные и отрицательные моменты, изображаемые поэтом, не даны в неразрывном единстве, а механически поставлены рядом.

С первых же страниц мы в мире вещей. В 1-й главе характеристика эпохи разрухи дана лишь «вещно»:

Было:
Не было станка
Корпуса
мертвы давно,
Был завод
и был таков,
новых и не видано!

И вот существующим развалинам Кирсанов противопоставляет богатые возможности страны — огромные запасы угля, руды, бурно льющиеся водопады, которые могут дать миллионы киловатт электричества. Поэт знает, что,

Чтоб строить жизнь —
машины нам нужны,
делающие машины!

Но ведь чтоб строить жизнь, прежде всего нужны люди! А о людях почти ничего не говорится. Выполнение пятилетки дается как движение мира предметов, а не как конкретная человеческая практика.

Человек кажется ничтожным среди им же созданных машин. Во 2 главе дается картина Кузнецка. Завод очеловечен поэтом, он изображен приемами, которыми обычно рисуют человека:

Клепанные трубы
разлеглись,
Заложив
колено
за колено....

Вещам приписываются человеческие свойства:

Обливаются
от зноя
домны
потом
охлаждающей воды.

О нефти Кирсанов говорит такими словами:

Той жидкости
выпив,
Гудят грузовозы,
Опьянясь
до бесчувствия,
мчатся авто. (Разрядка всюду моя — Б. М.)

А человек? Его нет среди великолепной картины льющейся стали:

Человек
вбивает лом —
и вспять....

Больше о нем ничего не сказано на страницах, посвященных Кузнецку.

Характерно, что человек всегда дается за вещами, а не наоборот. Ведущая роль отдана вещам. Эта черта проскальзывала и у раннего Маяковского, она характерна для определенной стадии капитализма. Но Маяковский успешно преодолевал ее. Достаточно вспомнить хотя бы его стихотворение «Товарищ Нетте», где он за пароходом видит образ героического Нетте. У Кирсанова же тяготение к «вещности» очень сильно.

После всего сказанного нами, просто парадоксальным кажется статья Б. Танина, помещенная в «Комсомольской правде», в которой он пишет:

«Кирсанов четко, до мелочей представляет себе это завтра (т. е. социализм — Б. М.), органически ощущает его».

Между тем, вполне ясно, что без учета человеческой практики, а следовательно, классовой борьбы социализм превращается в абстракцию. «Вне классовой борьбы социализм есть пустая фраза или наивное мечтание» (Ленин, т. VI). А классовая борьба дана Кирсановым как наступление индустрии, машин, но не людей.

Во 2-й главе «Пятилетки» описывается сопротивление кулака, который действует поджогом, религией, обрезом. Все это, разумеется, дано довольно поверхностно, неглубоко. Но вот на кулака идет мощная сила. Кто же это? Рабочие, колхозники, бедняки? Нет: «полнеба закрывши, выполз трактор». Здесь поэт прибегнул к гиперболе. «Тракторист Гулливер головой уперся в Большую медведицу». Трактор огромен, размеры его космические: «одно колесо легло на Поволжье, другое — на ЦЧО». И вот —

От него
отступая
пятилась кляча,
а за ней,
на ползущую сталь
зарычав,
Оставляла обрезы
банда кулачья...

Конечно, ничего общего с пролетарской идеологией такой принцип изобржения действительности не имеет. Он затуманивает настоящую сущность событий, рассматривает действительность вне ее клокочущей практики, вне активного взаимодействия человека с природой.

Для творчества Кирсанова характерно такое механическое строение произведений: сначала изображается положительное, затем рядом отрицательное. «Пятилетка» изобилует такими местами.

Например, поэт говорит о пятилетке метала, рассказывает о колоссальном росте добычи чугуна. И вдруг — о вредительстве:

Между тем (! Б. М.).
травинки ниже
тихий, средний инженер
Получает
от главинжа
Галстук и духи жене... И т. д.

Или в другом месте прекрасным образным языком, четким ритмом дается картина нефтяной пятилетки. Неожиданно она сменяется сразу легким «игривым» ритмом:

Вдруг (!) —
ни труб,
и
коллонадный
вырос дом.
Академик
в кабинете...

Оказывается, Кирсанову нужно показать «нейтральных» ученых. Такие «между тем», «вдруг», «в то же время» аккуратно рассыпаны по всей поэме... «Игривый» ритм и ирония над классовыми врагами, вместо ненависти к ним, сильно ослабляют значение поэмы и находятся в противоречии с огромным размахом темы. Ведь победы над классовым врагом нам даются не легко, а в ожесточенной борьбе. А у Кирсанова враги такие жалкие, что и воевать, кажется, не с кем.

Одним из самых слабых мест поэмы является изображение коммунизма. Несомненно чрезвычайно трудным является конкретное изображение будущего в художественной форме. Кирсанов однажды уже потерпел крупную неудачу, взявшись за изображение будущего общества в своей поэме «Последний современник», которую критика, совершенно правильно, встретила враждебно. В «Пятилетке» коммунизм изображается очень упрощенно и попрежнему через мир вещей. Кирсанов, не сумевший показать, кроме роста индустрии, рост новых производственных отношений в первых главах, не показал их и в последней. Глава о коммунизме написана в совершенно неуместном «легком жанре».

Негры
на американках ;
Нету коварства
и легкости женской,
И от них получаются
младенцы
Прямо-таки
блаженство.

Здесь же изображаются и «вещи в очереди за людьми». Булки умоляют, чтобы их с'ели, штаны бегут за ногами и т. д. Все это похоже на детские представления о коммунизме.

Однако в поэме «Пятилетка» есть страницы, которые являются поэтическим переложением боевых лозунгов сегодняшнего дня.

Мы не на острове!
Мы не горстк;
в радостном зареве
дружеских лиц
близкий
и явственный социализм
астает
видением
Магнитогорска.

Отдельные куски поэмы, посвященные поэтическому оформлению основ пятилетнего плана, ярко рассказывают о Западе, где «кукурузу гложут крысы, только б не рабочие». Едко даны портреты бюрократа, прогульщика и т. д. Многие отрывки, несомненно, будут использованы, как стихотворные лозунги. Призывом к ударному труду звучат следующие строчки.

Пятилетка
и негру
стала родна,

и индусу,
бунтующему, видна. —
Пролетарии мира!
рабы колоний,
генеральная линия
есть
одна:
Мы для нас
нажимаем
на труд
втройне.

Неб

м
одной стране, —

Мы рассмотрели путь Кирсанова. Мы увидели, как он от «циркаческих» стихов пришел к разработке ответственнейших тем социалистического строительства. Последние работы Кирсанова выражают тенденцию поворота к социалистическому строительству и к настоящей учебе у Маяковского — публициста, трибуна, агитатора.

Преодоление схематизма, «вещного» показа действительности, абстрактности, созерцательности — необходимые условия творческого роста поэта. Только достигнув умения глубоко вникать в темы социалистического строительства, изображать классовую борьбу и классовый труд пролетариата, Кирсанов сможет стать настоящим поэтом. Ему ни на минуту не следует забывать, что социализм строят классовые люди, строят не «играючи», а с огромными трудностями и каждая победа дается им в жестокой, кровавой войне с врагом. И нужны ли этим людям поэты, славословящие блеск стали и дым фабричных труб, но забывающие о живых участниках переделки мира?

Для кого?

Ефим Зозуля

Я выбросил из своей памяти многое из того, что давно мною написано, напечатано, расходилось во многих изданиях и даже переводилось на многие языки. Я отказался от многих жанров, изжил много приемов, подходов, расстался со многими навыками. Без колебаний я ушел от того, что хвалили в моей работе. Почему? Нужны новые темы, новые формы. Жизнь сама подсказывает их. Они — всюду. Надо только уметь взять их и взять правильно, освободив от шаблонов, от тех катастрофических штампов, которыми старое всегда мстит новому. Наряду с полустраничными новеллами и очерками — жанры, необходимость которых смешно теперь доказывать, — я впервые перешел на большие, очень большие многотомные вещи («Ленин» — не меньше 12—15 печатных листов, «Собственность»—столько же, «Мастерская человеков», сатирический роман — несколько томов).

Наряду с прозой я стал писать в особой форме прозо-стиха — впрочем, не знаю, как его назвать, — но во всяком случае это не стихи, не «белый стих» и не «ритмическая проза». Огромные темы, новое содержание требуют еще и других, все новых и новых форм. Все это требует большой подготовки, учебы, коренного участия в социалистическом строительстве, ибо без этого никакое советское творчество вообще невозможно.

Помимо больших вещей я пишу статьи, очерки о нашем строительстве, и это связано с основными и главными моими работами.

Начиная одну вещь, я искренно желаю себе быть старше, лишь бы скорее видеть ее законченной. Заканчивая одну, я уже всецело принадлежу другой.

Я хочу отдать все силы Советской стране. Сделать действительно все, что могу. Ее — Советской страны — дело будет — принять или не принять мои усилия и соответственно их оценить. Это дело будущего.

А пока я думаю, потому что не могу не думать, о сегодняшнем реальном читателе.

Кто же меня читает? Для кого я пишу? Для кого хочу писать? И всякий ли читатель мне дорог и ценен?

Отвечаю: нет, не всякий. Далеко не всякий.

Мне кажется: прошли, навсегда ушли времена, когда «писатель пописывал, а читатель почитывал». И писатель, и читатель должны делать сейчас одно общее дело. И вот, если я работаю в темпах, каких требует сейчас от каждого работника Советская страна, если я вкладываю в эту работу все свое время, все силы и все возможности, то я хочу знать: насколько серьезен пай в этом деле читателя? Имеет ли он право просто читать? Можно ли требовать от него подготовки, какая требуется и от писателя, можно ли требовать от него серьезного отношения к книге.

Я хочу громко спросить: должен ли я писать для всех — даже в пределах класса?

Отвечаю: нет. Не хочу и не буду писать для всех. Я не умею писать для всех. Хочется сказать многим читателям — без всяких церемоний:

— Не читайте, пожалуйста, моих книг. Я не хочу, чтобы вы их читали. Поставьте книгу на место.

2

Я не хочу, чтоб меня читали:

1. Советский всезнайка, который не читает, а глотает, который читает «пропуская», куря папиросу и митая сквозь круглые очки. Ему важно знать, «в чем дело». На какую полку

это поставить. В сущности, ему все безразлично. Это молодой старик, равнодушный и опустошенный. У него даже нет злорадства, если в прочитанном что-либо неладно. Куря папиросу за папиросой, мигая и скользя совершенно безразличным взглядом, он просто доволен тем, что он «в курсе». Он обязательно должен быть «в курсе». Когда упоминают роман, он должен мотать суетливым подбородком и говорить: да, знаю. Это все, что он требует от себя и хочет, чтобы требовали от него.

2. Я не хочу, чтобы мои книги читал охотник за «дичью» в литературе. Никаких радостей от литературы он не испытывает. Что такое мастерство, искусство, поэзия — он не знает. Тайно он убежден, что это — чепуха. Фикция. В том, что литература полезна, он тоже не убежден. Он повторяет слышанное положение, что литература организует сознание, но внутренне он в это не верит. Никакая литература не организовывала его сознания. Но он все же читает. Читает ревностно. С единственной целью: поймать, уловить, пригвоздить, наступить на хвост. Чувство он при этом испытывает спортсмена-рекордиста и охотника. Его оживляет, возбуждает и щекочет страсть погони. — Ага! Ошибся! Поскользнулся! Не рассчитал! Напутал! Сейчас, сейчас, сейчас словлю!

И «ловит». Там — идеологически невыдержанно, тут — «уход от действительности», тут — нет того, а тут — этого. Как почти все охотники, он, конечно, врет. Он даже не столько сам стреляет, сколько выдумывает зверя, и обвешивает себя трофеями, купленными в мясной лавке по сходной цене. Ему важно походить по городу с подстреленными зайцами на плече, и смотреть соколиным взглядом на прохожих: вот мы какие герои.

3. Не хочу, чтобы меня читал копеечный демагог, бормочущий в непрошенной ханжеской заботливости: «Непонятно рабочим!»

Иногда даже трудно понять, какое у него отношение к рабочим. Чаще всего бывает так, что сам он никогда рабочим не был и, если покопаться, то можно наткнуться на отца — консисторского чиновника. Но он неизменно заботится о рабочих. Рабочих он не знает, редко видит. Рабочие — и не одиночки, не десятки и не сотни, а десятки тысяч — развитее и грамотнее его. Они поокончали всевозможные общеобразовательные и специальные курсы, серьезные кружки по политучебе, поокончали партшколы и вечерние университеты, приобрели на партийной и советской работе огромный опыт, пишут и редактируют фабрично-заводские газеты, принимают участие и в районной и в центральной прессе, а демагогический сухарь все еще твердит, как попугай:

— Не будет понятно рабочим.

Почему он знает, что **будет**? **Ему**, действительно, непонятно и, несомненно, никогда не будет понятно. Но почему он взял на себя добровольную, ханжескую опеку над рабочими? Кто его просил об этом? Кто его уполномачивал?

4. Мне не нужен и читатель-эстет. Эстетизм сидит не только в барине и закоренелом интеллигенте. Из рыбьей чешуи делают «кораллы», делают «жемчуг» и этими кораллами и этим «жемчугом» украшаются отсталые работницы.

Но тяга к этим жемчугам из рыбьего студня в литературе гораздо сильнее. Выкинуть гирлянды искусственных жемчугов, кораллов из мозгов гораздо труднее. Они скрыты черепной коробкой, которая непрозрачна. Очень трудно вытравить из читательских мозгов неуемную тягу к этим кораллам. Вкус дешевой рождественской открытки еще не похоронен. Голубое небо, обсыпанное звездными блестками, не изжито, как и красавицы в блестках и дешевка всех остальных сортов. От литературных произведений требуются «сравнения». «Сравнения» — как самоцель. Некоторые писатели заготовляют их заранее к случаю. В записных книжках, на всякий случай, пишется: то-то было похоже на то-то, а то-то на то-то, а потом механически вставляется в ткань рассказа. Производство этого еще менее сложно, чем приготовление кораллов из рыбьей жижи. А спрос непомерно большой. Я буду очень доволен, если любитель кораллов и жемчугов, брошек и сережек, браслет, колец, блестящих шпилек и сверкающих стеклышек в литературе не будет трепать мои книги. Ничего из того, что ему нужно, он в них не найдет.

5. Хорошо бы быть подальше и от того читателя, который «выявляет тенденции», помимо воли автора. Его любимое выражение, это «об'ективно выражает». Автор-то сам хотел, чтобы было хорошо, но об'ективно получилось плохо. Он написал очень хорошо и интересно, но опять-таки об'ективно это нехорошо и неинтересно. Роман его, повесть, рассказ могли бы быть полезны, но об'ективно они вредны.

Нечего говорить, что очень часто положение бывает **именно таково**. Автор — это, повторяю, часто бывает — действительно имел хорошие намерения, но получилось обратное.

Это бывает часто и, конечно, это нужно отмечать. Но «выявителю тенденций» это неважно. Ему бы только навязать автору тенденцию — неважно, существующую или несуществующую. Чуткость—хотя бы самая поверхностная, у него отсутствует. В самом деле — для чего ему чуткость, когда так легко и «убедительно» выходит у него это «об'ективно».

6. Этот тип милого читателя имеет разновидность — более упрощенную. Тот просто «замечает», чего «нет» в литературном произведении. Например, написана трагедия, а он утверждает (какая наблюдательность!), что в ней совсем нет юмора... Что бы он ни читал, он говорит: ничего не сказано о профессиональных союзах. Повесть из жизни комсомольцев, а он заметил со свойственной ему зоркостью, что нет ни одного слова о кооперации. Почему должна быть речь о кооперации именно в этой повести — неизвестно. Но он регистрирует: ничего не сказано о гра-гражданской войне. Нет ни слова о Красной армии. Совершенно не упомянут Магнитострой. И т. д. Если он пописывает и это появляется в печати, то читатель может думать, что речь идет о человеке, который презирает Красную армию, профсоюзы, кооперацию и лучшие участки строительства. Между тем, повесть написана на определенную тему — и мало ли что в ней не упомянуто!.. Но что с ним поделаешь?! Он бубнит свое: ничего не сказано о вузах.

Это — особый вид умственной ности.

7. Этому читателю сродни еще и другой— уже окончательно больной умственным несварением желудка, или — странной болезнью языка. Есть такая болезнь: у человека атрофированы языковые присоски. Он не чувствует вкуса пищи. Он может есть одновременно шоколад и селедку. Поскольку это бывает в жизни, это клинический случай, и человек имеет все основания считать себя несчастным. Но лишенный вкуса в литературе, он цедит сквозь белые вялые губы:

— Не смешно...

Что не смешно? Почему не смешно? Должно ли быть смешно? — Ему это безразлично. Кто-то ему когда-то внушил куцую идейку, что литература должна быть «смешна».

У этого есть еще — совсем мелкая разновидность — противоположная. Это читатель, который всегда смеется, чтобы ни читал... В каком-то исследовании читателей упоминается девушка, которая неудержимо хохотала, читая «Фауста»... Действительно, юмористика! Этот же — наоборот. Ему ничего не смешно. Но свое читательское назначение он видит в том, чтобы только смеяться.

8. Дальше идет «начитанный» читатель. С этим совсем уж горе. Это—самый крутой плод некритического поглощения классиков. Он глотал их в священном рвении, пил, погружался в них. Он заполнил сырые мозги старыми классическими формами, и они отвердели в нем в железобетонных штампах, неспособные пропустить ничего нового. Все, что он читает, он обязательно старается вогнать либо в ямбы, либо в другие, прочно установившиеся формы. Если это проза, то он тоже привык мыслить и воспринимать читаемое по отвердевшим канонам. Новое его пугает, раздражает, вызывает недоумение. Ему нужно, чтобы было «мой дядя самых честных правил». Дальше этого в его мозгу не укачивается ни один ритм. А если это проза, то «Иван Иванович ходил по кабинету, засунув руки глубоко в карманы, и скучал», «дождь барабанил за окном», а поезд, «гремя колесами подкатил к дебаркадеру №-ской станции». А советское содержание должно, так или иначе, укладываться в эти липкие, в эти насквозь прогнившие жолоба. На словах он даже может «приветствовать» новое и даже бормотать о новых формах. Но все его нутро содрогается при первой попытке писателя отойти от классических канонов, от застывших форм. В сущности, это обыкновенное явление читательского обскурантизма, первичной реакционности, которой часто заболевает исполосованный чужими традициями, неокрепший мозг. Но он крепнет, формируясь в классических тисках. И это зло не из тех, которые легко поддаются излечению. Это кора потолще крепостных стен.

9. Одинаково отвратителен и тот, кто является полной противоположностью этому «начитанному». У «начитанного» голова похожа на тесную вдовью комнату, в которой старинные буфеты теснятся рядом с пышными диванами, неизбежными классическими пузатыми комодами, старинными часами, шкатулками, каминами, вазами, фарфоровыми пастушками и прочей дребеденью. У этого совершенно голое, но тоже очень неприятное место. Есть такие еще никак не обставленные пустые квартиры, в которых, однако, поражает невероятно душный, кислый и отвратительный воздух. Люди только что поселились, им еще не на чем спать. На голых стенах висит утлая одежда. На подоконнике стоит тарелка, а на

полу примус, но вонь от всего этого уже идет нестерпимая. Такую квартиру, а особенно ее запах напоминает мне неуемная и ни на чем не основанная требовательность «голого». Ему легко требовать, потому что ему нечего терять и потому что он знает, что ничего не получит. Его ничто не удовлетворяет. Воспитанный на эпатировании посетителей литературных кафэ, каким занимались в свое время футуристы, имажинисты и другие, он так или иначе ни во что не верит, ждет чудес, готовый послать им навстречу только свою неопрятную небрежность, умственную нищету, неизлечимый цинизм и бессильное равнодушие.

10. Пусть меня не читают чиновники, которые боятся «слово сказать» даже собственной жене и которые по ночам, оставаясь наедине, ищут «намеков» хотя бы в книжках. В моих книгах для них никаких намеков нет.

11. Пусть не читают меня от скуки, в поисках приключений, дешевой забавы и упражнений в смехе лицевых мускулов. Я никого не смешу, не хочу смешить и в этом отношении книг своих рекомендовать не могу. Юмор, который мне приписывают, не служит для развлечения.

12. Пусть не читают меня умственные солдаты и чиновники, которые привыкли читать то, что заведомо одобрено начальством, привыкшие грустить там, где полагается, и восторгаться местами, точно отмеченными карандашем о т д о.

—

Мне не нужно, чтобы меня читала вся эта бесформенная армия совобывателей, недоучек, читающих явно себе во вред за счет повышения своей квалификации, за счет посещения общеобразовательных курсов.

Пора, наконец, прекратить этот хаос, эту бессмысленную мозговую скачку с препятствиями, это расхлябанное бессистемное чтение.

В конце концов, ведь библиотека — не вагон, в котором кто угодно подсаживается к случайному соседу и спрашивает, куда вы едете.

Писатель теперь не «пописывает», а читатель не «почитывает». Книги сейчас не столько заинтересованы в количестве, как в качестве попадания к читателю. Коммерческий тиражный успех перестал быть самодовлеющим. Тираж не должен итти за счет качественно высокого восприятия. Долой читательскую кушетку, чтение без разбора, «что попадет под руку».

Невозможно перечислить все типы читателей, от которых я хотел бы быть подальше. Это нисколько не трудно. Но для этого никакого места не хватит. В общем, гоголевский Петрушка далеко не последний среди них.

Но незачем это делать. Достаточно и этих.

3

Я чувству потребность хотя бы поверхностно, хотя бы в самых основных чертах обрисовать тех для кого я пишу и чьему суду я полностью подчиняюсь.

Я пишу и хочу писать для передовых слоев советской рабочей интеллигенции. Для тех, которые прошли и проходят самый лучший из университетов и самую лучшую из школ — школу советского строительства, которая простирается от фронтов до научных кабинетов, от забойных уголков в шахтах до тиши строгих палат ленинских библиотек.

Подлинное строительство не проходит мимо книг, кружков, изб-читален, школ, ликбезов, вузов, курсов и упорной, настойчивой, внимательной индивидуальной учебы.

С каждым днем, с каждым часом растет и ширится советский интеллектуальный мир.

Есть новый, отличный от читателей всего мира, советский читатель. Это читатель-строитель, читатель-борец. Он безусловно предан великому социалистическому строительству. Его не надо щекотать ультра-советскими, ура-советскими и патриотическими рассказами и стихами. Он иронически улыбается, читая их. Он открыто зевает на вечерах, когда слышит ура-советские, патриотические вопли. Они претят ему. Он не всегда верит им. В лучшем случае он равнодушен. Но он очень чуток к малейшей вольной и невольной контрреволюционности, чуждости, перекрашиванию, мимикрии.

Его презрение — страшно. Оно обжигает насмерть. Он не копается с карандашом и не ищет с фонарем затаенного смысла в междустрочьях. Но он не ошибается в своем трезвом чутье.

Его требования к литературе серьезны, как и ко всем другим видам советского творчества. Он не требует от литературы развлечения. Ему не нужно, чтобы щекотали усталые нервы, потому что его нервы не устали—он только собирается жить и будет жить. Ему не нужны приманки, трюки, фабула для фабулы, искусство для искусства, досужая игра ума и мозговые зайчики.

Фабула борьбы, в которой он активно участвует, ежедневные, ежечасные, ежеминутные конфликты, которыми изобилует любой производственный рапорт, любая трудовая сводка, любой бюллетень строительства, любое сообщение о перипетиях классовой борьбы и в Советском Союзе и в международных отношениях — несравненно занимательнее тех нескольких, во всяком случае не превышающих десятка схем, по которым стряпаются средние «фабульные» романы, повести или рассказы. Обыкновенный номер газеты для активного строителя социализма интереснее профессиональной беллетристики. И это неудобно провозглашать, потому что это всем известно.

Ему не нужно также читать для того, чтобы «черпать» знания из художественной литературы и «пополнять» ими свой «багаж». Гораздо полезнее и экономнее для этого читать специальные книги, технические издания, штудировать учебники и просматривать справочники, что, собственно говоря, и делается. Художественная литература должна быть — это стало уже общей формулой, но тем не менее она правильна — организатором его сознания, вдохновительницей на все новые и новые классовые бои, она должна неустанно звать его — эмоционально заражая — на борьбу за социализм, и совершенно ясно, что для этого нужны новые подходы, новые методы, новые формы, ибо речь идет о новом, о небывалом содержании.

Можно ли здесь ограничиться одними классическими образцами? Конечно, нет.

Я склонен думать, что для изображения советских людей даже нашего времени, т. е. еще очень советски молодых уже недостаточны гоголевские, толстовские или даже шекспировские формы. Сколько бы новой формации советских гамлетов, отелл, бобчинских, городничих или хлестаковых, с разной степенью талантливости и яркости не создал бы советский писатель, — это не отразит нашей современности с достаточной полнотой и не даст образа советского человека.

В классической типизации есть все-таки элемент забавы и та ложь и та условность, без которых ни одна забава не обходится. Для этого некое условное отвлечение от жизни обязательно необходимо. Необходимо желание видеть явления хотя бы до некоторой степени упрощенными. Ведь мы знаем, что Хлестаков в жизни не всегда врет и не всегда бахвалится. Любая чистка аппарата, любое общее собрание — уж, не говоря о трудных буднях строительства, в одном и том же человеке выявляет и трусость и героизм, находчивость и растерянность, стойкость и малодушие, правильные поступки и ошибки, от которых не гарантирован никто.

И очень трудно сказать, хочет ли советский читатель художественно-забавного упрощения, подгонки качеств человека к одному знаменателю в целях художественно-цельного образа?[1]. Нужен ли ему такой отвлеченный образ? Не устарели ли гимназические теории о том, что, зная «основные» человеческие типы, — мы будем легче разбираться в людях. Какая узость! Какие архаические претензии! Какая недооценка человеческой природы! «Мы будет легче «разбираться в людях!» Как будто профессора литературной словесности и учителя гимназии, прекрасно изучившие классические типы, хорошо разбирались в людях... Ведь не будет преувеличением, если мы скажем, что любой профдеятель или народный судья или член обыкновенного месткома разбирается значительно лучше.

Дальше. Нечего говорить о том, что советскому читателю не нужно и описание любви, как таковое, любви для любви, этот испытанный конек беллетристической приманки. У него нет времени, чтобы тратить его на описательную тянучку любовных склок, конфликтов, радостей и сплетен.

Несомненно, ему претит и хорошо испытанное обаяние грусти и всяческого увядания, которое так хорошо укладывается в стихах и в прозе, которое испытанно действует на читателя, особенно молодого — кому не приятно усомниться в мире, задуматься над его смыслом, изящно допустить его таинственность, его трагизм, преобладание в нем страдания и т. д. и потопить в неразберихе мировой грусти и свои неудачи, которых, конечно, всегда больше, чем удач?

«Изящный яд лирически упадочнической литературы, иногда примитивно явный, иногда

---

[1] Хороша будет подгонка — особенно сейчас, когда советская и пролетарская литература столкнулась на практике с прекрасным опытом художественного изображения конкретного человека, положительного типа, героя пятилетки, а главное с именем, отчеством и фамилией и точной обстановкой работы. Будешь тут «подгонять»! Между прочим, этот небывалый, я повторяю, прекрасный опыт даст ценнейший и новый материал для разрешения вопроса об изображении положительного типа.

замаскированный и зажатый, отравляет весь мир, но в лице подлинного советского читателя он встречает самого страшного из врагов — равнодушного, каменного человека, на которого это просто не действует, как не действует на человека, спешащего по интересному, важному и нужному делу размагниченный цыганский романс: не ко времени.

Что же ему нужно, этому советскому читателю?

Есть три вида отн
телю:

1. Когда писатель выше читателя, опытнее, старше, богаче, грамотнее.

2. Когда читатель равен ему.

3. Когда писатель ниже своего читателя и когда читатель может, читая книгу, чувствовать свое превосходство, чувствовать себя умнее, крепче, организованнее.

Нужен ли советскому читателю этот третий вид литературы, в которой автор выступает либо как одинокий страдалец, которого не поняли, либо как развлекатель, который не верит в серьезность и истинную занимательность своей игры и прибегает к испытанным формам и приемам воздействия, бульварной фабуле, низменным темам, возбуждению скандального любопытства, создаванию примитивных зрелищ и откровенного подыгрывания к отсталым, максимально распространенным взглядам?

Нет, советский читатель не ищет таких способов для утверждения своего превосходства.

Советскому читателю нужны только первые два вида литературы: либо когда он может поучиться у более опытного товарища, лучше излагающего свои ощущения и мысли, либо читать книгу равного себе для того, чтобы художественные образы, наблюдения и мысли, собранные воедино для определенной цели и по определенному плану, помогли бы ему лучше организовать сознание, проверить его или закрепить.

Советский читатель открыт для всего радостного, сильного, ясного, четкого, серьезного и веселого. Он не заражен предрассудками навязанных и отвердевших классических форм. Когда он читает стихи, перед его глазами не плещется ямбический «дядя самых честных правил». Он не ужасается от того, что читаемое им произведение «ни на кого не похоже». Он и не выражает требования, чтобы литература во что бы то ни стало была «не похожа» — «хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с себя срывать». Он не хочет срывать с себя одежд и зря ломать стулья. Он не страдает скукой и жизненной пустотой для того, чтобы искать, как чеховская акушерка, «атмосферы». Он ценит хороший стиль. Он ценит ясную речь, но брезгливо отворачивается, когда хороший стиль должен прикрывать отсутствие мысли. Он и не бежит по улице, не несется с дикими криками, как несутся в провинции за вором, если замечает небрежности, явные ляпсусы, какие-нибудь ошибки или срывы. Он занят, прежде всего серьезно занят. Советский читатель самый занятой во всем мире, и он знает, что любая работа не обходится без ошибок, ляпсусов и срывов. Он знает, что этому надо помочь не улюлюканьем, не разбойничьим свистом, а товарищеской помощью, поддержкой и самокритикой.

Он не консервативен, не анархичен, не истеричен. Он готовится к чтению так же, как настоящий советский писатель должен готовиться к письму.

Он хочет от советского литературного произведения полновесной мысли и полноценных чувств. Он хочет художественного обобщения.

И когда он получит его, он благодарит писателя высшим своим даром: не мимолетным, «сезонным», «модным» и быстро забывающимся вниманием, как одаряют теноров, немедленно после этого выходящих из моды, а вниманием внешне менее крикливым и менее пышным, но глубоким и по-настоящему товарищеским.

Рассказы В. Ильенкова

В. Россоловская

Центральным произведением сборника является рассказ «Аноха».

Герой этого рассказа — живая иллюстрация к словам Ленина о том, что талантов в рабочем классе «непочатый родник», что именно соревнование дает возможность «втянуть большинство трудящихся на арену такой борьбы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты...» (Ленин).

Маленький, робкий и хилый, «не рыжий, а какой-то заржавленный, каким бывает кусок железа в долголетней свалке» — таков рабочий Иван Шагов, — прозванный в насмешку «анохой». Таким он пришел из прошлого, из тех лет, когда «капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами» способности и таланты в пролетариате.

Но вот жизнь перестраивается на новых началах.

Иван Шагов становится неот'емлемой частью нового, социалистического производства. У него появляется страстное желанье преодолеть свою слабость, стать равным рабочим — вожакам, передовикам.

Но... все вокруг убеждают Ивана Шагова в том, что у него «нет таланта... Быть всю жизнь Анохе незаметным, маленьким человечком...» значит весь век помыкать им будут другие... Другим и почет и уваженье... Где, куда выборы — выставляют, в президиум выбирают, а как до Анохи черед доходит, так подымают насмех...[1].

Сознание бездарности, никчемности давит Аноху. Ему хочется, «чтобы люди «видели», что он, Аноха, «есть, живет, работает»... Он «хочет иметь радостную, расцвеченную красками жизнь». Но — Аноха не осознает путей в эту светлую жизнь, он недорабатывает своей нормы, он слаб, все над ним смеются... Единственным счастливым днем Шагова был день его призыва в армию, когда его голого и смущенного осматривала и расспрашивала приемочная комиссия. И когда седенький врач после тщательного осмотра произнес по адресу Анохи — «вициум кордис», Аноха почувствовал прилив радости. Его радовала мысль, что он, «аноха», неудачный, косолапый, кому-то нужен, что на нем сосредоточено внимание, им занимаются, им интересуются...

Перерождение Анохи совершается постепенно. Мятущийся, страдающий от своего бессилия Аноха узнает о том, что работница Дунька Масякина (которая непрочь выйти замуж за него, Аноху) перевыполнила свою месячную норму и получила в получку восемьдесят рублей с копейками.

Аноха задет за живое. Аноха охвачен страстным желанием, наперекор всему, добиться бо́льшей выработки. Аноха приналег на работу. «Талант? Есть у него! Врешь, Парфеныч!» «Руки Анохи мечутся над опокой, брызжет из сита черный песок, и облако угольной пыли скрывает Аноху...»

С этого момента творческая мысль Анохи работает напряженно. Случайно оброненные мастером слова о том, что в работе нужна «хитрость», толкает Шагова на новый творческий под'ем. Шагову открывается то, что он никогда не видел: весь цех, весь завод составлен из отдельных частей металла. Сколько мудрости и умения увидел Аноха в этом простом сцеплении металла! «Вот и тут хитрость... Ведь надо же было заставить бессильные куски металла сцепиться и создать нерушимую опору для непомерной тяжести крыши, чтобы легко и свободно могла переметнуться из края в край гигантская рука электрокрана»...

Так у Анохи, «растопыры», рыхлого и слабого Анохи, появляется мысль о реконструкции цеха. Аноха, с помощью мастера цеха, пе-

---

[1] В. Ильенков.—Аноха. Рассказы. РАПП. Новинки пролетарской литературы. ГИХЛ. 1931 г. М.—Л. 147 стр. Ц. 85 к.

реходит первый на бригадную формовку с дифференцированными производственными процессами. Аноха вступает в соревнование с лучшими производственниками цеха, все его существо, все его способности напряжены, Аноха вырастает в творца, в вожака цеха, Аноха — превращается в Ивана Шагова. Он первый поднимает знамя соревнования. Он осуществляет техническую революцию в цеху.

Рассказ показывает, как соревнование будит творческую инициативу самых отсталых рабочих, то лучшее, что заложено в неудачных, на первый взгляд, «анохах»...

Портреты остальных рабочих в общем удались автору. Очень убедительно разоблачен Рябов, идеолог группы «лапотных пролетариев», имеющих в деревне хозяйство. Рябов — здоровый, самоуверенный, горластый. Это он первый начинает вопить о снижении расценок, о том, что соревнование порождено завистью, и что ему, квалифицированному мастеру, смешны усилия «сопливых анох»... В Рябове дан очень удачно тип рабочего-«аристократа», имеющего еще авторитет среди рабочих.

Другой образ — Федос. Это тоже своеобразный «аноха», отсталый, робкий, он один из тех незаметных сотен «анох», которые затерялись в больших заводских корпусах. Рост Ивана Шагова увлек за собой Федоса. И вот уже Федос — в первой ударной бригаде, перешедшей на раздельную формовку.

Смелее Федоса, ярче его — старый формовщик Горячкин. Читатель знакомится с Горячкиным в тот момент, когда он ворчит на затею Анохи и в сердцах, в знак своего особого презрения ко всем новым затеям — плюет на верстак соседа, Борьки-комсомольца. Но вот творческий порыв Анохи увлек и Горячкина. Старый, ворчливый Горячкин принимает вызов комсомольцев и вступает с ними в соревнование, обязуясь работать методом Анохи «суместно бригадой» («... не общелкать вам Горячкина... Утру я вам, соплякам, нос...»).

Конфликт между двумя группами рабочих, из которых одну, творческую, ведет Аноха, а другую, консервативную, связанную с деревней, ведет Рябов, — вырастает в драму. Аноху покушаются убить... Он тяжело ранен...

Рябова, организовавшего покушение, и Степку, его подголоска, ранившего Аноху — судят, тут же в цеху, показательным судом.

Кульминационный пункт рассказа не покушение на Аноху (очень слабо, кстати сказать, мотивированное и художественно неубедительно), а именно этот суд над Рябовым и Степкой, который превращается в суд над их косностью, консерватизмом, над их непролетарским, несоциалистическим отношением к труду.

На этом суде Горячкин, старый ворчливый формовщик, который еще недавно на пасху спорил с Гришкой Пузанком, «кто боле выпьет», вырастает в обвинителя «лапотных» пролетариев, тяготеющих к привычным, обыденным формам труда, труда «по-старинке», с желанием урвать побольше и удрать на свой клочок земли, в обвинителя Рябова, который как «кобель... привык к цепке...»

— «А она раз возьми и оборвись. Так что ж вы думаете, братцы», — продолжает Горячкин — «...лежит и не двигается... Привык к цепке... И нет ее... а словно что-то держит за шею, не пускает...» Горячкин метко, ярко, бьет по рабскому отношению к труду. В образе Горячкина показано новое, социалистическое отношение к труду, как к «делу чести», зарождающемуся в недрах рабочего класса, в борьбе за новые, социалистические методы производства.

Горячкин вскрыл причины, толкнувшие Рябова на преступление. Он, Парфеныч, Рябов, по словам Горячкина тоже «хлебнул горя» и его непролетарское отношение к труду — результат той «цепки», которая держала его за шею.

— «А ты рванись! — зовет его Горячкин, вступивший в соревнование с комсомолом и ставший вместо больного Шагова во главе цеха. («Э-эх и раззадорил меня этот Аноха»!)

Драматическими коллизиями рассказа автор пользуется не только для того, чтобы вскрыть и показать характеры рабочих, их внутренний мир, но и главным образом для того, чтобы показать те процессы, которые происходят в рабочей среде, те сдвиги, которые обусловливают ломку психики рабочего, творческий рост, формирование его нового мировоззрения, осознания им своей роли, своего отношения к труду.

Несмотря на эти достоинства — рассказ все же художественно недоработан. Замечается налет эмпиризма, непреодолены элементы «случайности». Не удалась фигура Тих Тихыча, мастера, который хочет провести рационализацию цеха «сверху», слабо мотивирована его симпатия к Анохе, наконец фальшива вся сцена в больнице (Тих Тихыч навещает раненого Степкой Аноху), сдобренная интеллигентскими излияниями и излишней сентиментальностью.

Неудачна и фигура судьи. По замыслу, судья должен выполнять положительную функцию в сюжете (он судит Рябова и Степку показательным судом), однако автору зачем-то потребовалось поиздеваться над кремовой рубашкой и пестреньким галстухом судьи. Эта деталь мгновенно настраивает читателя против судьи. Это вдвойне неверно. Во-первых, судья — в образе чистенького совторгслужащего — явление нехарактерное, нетипичное для пролетарского суда, во-вторых, отрицательное отношение автора к судье снижает весь политический смысл суда.

Остальные рассказы неравноценны.

В рассказе «Черепки» автор сдает все позиции, завоеванные рассказом «Аноха».

Героем рассказа «Черепки» является подросток Тишка-горбун, сын кулака, который живет в своей семье на положении батраченка. Отец эксплоатирует сына, своеобразно мстя ему за уродство. Тишка день-денской трудится то на молотилке по чужим полосам — «а Потап (отец) пятерки сосчитывает», — то у скотины. Однако в Тишке уже живут собственнические инстинкты, он с гордостью говорит деревенским ребятам, сверстникам, что у них скотины много — «восьмерка»...

Но вот Потапа раскулачили. В ночь перед выселением отец со всей семьей бежит из деревни, захватив все ценное и бросив Тишку со слепым дедом на произвол судьбы...

Тишку с дедом берут к себе местные колхозники. Устами Демки, председателя деревенской бедноты, автор пытается сделать «гуманный» вывод.

— «Покорми, покорми, Маланья, — обращается он к жене, — подкидышей колхозных... Люди ведь»...

Весь рассказ, написанный в слезливо-сентиментальном плане, ставит спорные проблемы жалости к биологически обойденным и обиженным «перебежчикам» из лагеря классового врага... Рассказ звучит сентиментально и примиренчески, образы «всепрощающих» и «гуманных» колхозников вроде Демки, который не отнял во время раскулачивания Тишкиного «козла» и накормил, приютил его с дедом — звучат фальшиво, ненужно, демобилизующе. Наконец, нехитрая символика(разбитая кринка на полу опустевшей кулацкой избы, как символ Тишкиного прошлого, вступающего в новую жизнь) механистически и поверхностно решает сложнейшую проблему: перерождение классово-чуждого человека, переход его в колхозный лагерь.

Рассказ «Черепки», как и рассказ «Легкий человек» (о летуне), как и рассказ «Дальше — больше» (снижающий огромную политическую проблему, — приход пожилого рабочего в партию, — пустяшным балагурством) — свидетельствуют о далеко еще неокрепшем мировоззрении автора и его художественной слабости.

Удачнее этих рассказов сделан рассказ «Чмых». «Чмых», бывший конокрад, становится ветеринаром в колхозе и не только сам излечивается от своих дурных наклонностей; но, в итоге, становится активным борцом за укрепление колхоза и за переделку мелко-собственнической психики крестьян, вошедших в колхоз. Как могло случиться, что Чмых, конокрад, последний человек в деревне, стал активнейшим членом колхоза, его неот'емлемой частью, его вожаком?

Чмых — тот же Аноха, заплеванный, забитый, он только больше обозлен, и это, с первого взгляда, — лишнее препятствие к его внутреннему перерождению.

Чмых, лишенный своего надела, своей земли, был внутренне менее зависим от мелкобуржуазных собственнических тенденций, от жажды накопления, свойственной крестьянам-единоличникам. Конокрадство привило ему своеобразные знания. Он знал до тонкости породы лошадей, их приметы, угадывал каким-то чутьем их нравы, болезни и помогал им чем мог. Все это дало возможность Чмыху не только найти свое место в колхозе, но и воспринять от колхоза нечто новое, какую-то своеобразную любовь к общим, колхозным лошадям над которыми он якобы хозяин. Попадись эти лошади ему по единоличным крестьянским дворам — он бы угнал их, не задумываясь, но здесь, в этой общей конюшне, здесь, глядя на обилие лошадей, — Чмых не мог стать преступником. И действительно, «...сколько лет прожил он в своей деревне и никому не нужен был Чмых. Все обходились без Чмыха, и он привык обходиться без всех. Только и осталось в жизни его, срубленной со всех концов, отвага ночных удач да радость ощущения горячей крови под трепетной шерстью коней... А вот здесь, в огромной конюшне, среди двух сот лошадиных голов, захватила Чмыха какая-то незримая сила и держит». Эта сила и мешает Чмыху угнать колхозных коней. Кроме того, в колхозе, где Чмых сумел стать нужным человеком, он узнал, что такое коллектив, что такое уважение, почет этого коллектива. Все это заставляет Чмыха по-новому смотреть на колхозных коней, и когда мужики, разозлив-

шись на парня, поранившего двух коней, решают разобрать и развести коней по дворам, желая не допустить развал колхоза, Чмых бросается к раненым коням, перевязывает раненого жеребенка своей рубашкой и несет его по улице в конюшню. И тогда мужики «поглядели друг на друга, на Шпака, на Чмыха, осевшего под тяжесть ноши, и тоже повели коней следом».

Финал рассказа, — это возвращение Чмыха к земле. Вместе с другими колхозниками он выходит на весеннюю пахоту.

Новелла «Переброска» в юмористических тонах рассказывает о переброске одного многосемейного коммуниста, приведенного в отчаяние обилием корзин, сундуков и коробок. Рассвирепевшему мужу Мария Ивановна доказывает, что взято все самое необходимое... И когда оказывается, что Мария Ивановна права, что трое ребят и няня — это сложнейшая проблема, — измученный вконец коммунист опускается ничком на диван, «пахнущий клопами и пылью»...

К числу недостатков книги следует отнести и ее лексическую недоработанность. Отдельные меткие характеристики и образы чередуются с серым, маловыразительным текстом, с бедным словарем нерашливыми оборотами речи.

Стилистически автор часто сбивается на слезливо-сентиментальный, народнический тон («Черепки», «Дальше — больше»), даже в «Анохе» есть этот тон («не с кем было поделиться радостью, и она потухла, не согревши его, как осеннее солнце»...). Наряду со слезливостью, частые неряшливые обороты речи идут прямо в разрез со смыслом фразы (например: «волосья на макушке вылезли, а ума не нажили», получается, что «ума не нажили» — волосья, т. е. чепуха, вздор).

Часто встречаются дешевые трафаретные аллегории (разбитая кринка в рассказе «Черепки», олицетворяющая прошлое Тишки, голодная волчица в первой половине рассказа «Чмых», ассоциирующаяся с Чмыхом-конокрадом и др.), свидетельствующие о недостаточном умении автора создавать образы, в которых содержалось бы широкое и художественное обобщение.

Проблемы овладения пролетарским мировоззрением, овладения техникой писательского мастерства стоят перед Ильенковым во всей своей остроте.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Алексей Толстой. Петр Первый. Роман. Изд. «Прибой». Стр. 387. 1930 г. Цена 2 р. 75 к.

Еще Плутарх выдумывал своих героев. Обращение писателя к истории можно об'яснить только из потребностей настоящего и меньше всего из давления фактического материала. «Петр Первый» — исторический роман по материалу. И вместе с тем — современный по своей направленности: через воспроизведение некоторых положений петровской эпохи Алексей Толстой решает романом для себя некоторые проблемы сегодняшнего дня. Какие же?

В сборнике «Как мы пишем» А. Толстой сообщает, что роман о Петре он собирался писать еще два десятилетия тому назад. Смутные контуры его возникли из чтения случайно подвернувшейся книги проф. Новомбергского с пыточными записями 17 века. Язык записей точный, голый и простой, далекий от славянской вязи дьяков, язык той Руси, что стонала и корчилась на дыбах — дал первую ноту, подсказавшую внутренний ритм романа. Однажды Алексей Толстой (это было еще в дни Февральской революции) написал рассказ (он назывался «День Петра»), где эти ноты ужаса, жестокостей, вечного и вместе с тем великого «мясничества истории» были воплощены в образе Петра, гениальном варваре и сифилитическом неврастенике. Рассказ вызвал выступление академика С. Платонова, «обидевшегося» за Петра. Не буду повторять всей истории дела (о ней рассказывает Н. Иезуитов в № 10 «На литпосту»). Нам важно установить только, что роман Толстого «Петр Первый» имеет долгую творческую историю. Он выношен годами и то, что сказано в нем и как сказано, продумано и отстоено не сразу. «Проблемы» разрешались на любимом, обжитом материале, что долго укладывался в глубине творческого существа. Для Алексея Толстого это имеет еще и особый оттенок. Ведь Толстой, наименее из всех русских писателей — «тенденциозный» писатель. Он явно выпадает из знаменитой венгеровской схемы о «героическом характере русской литературы». Как стилист — ученик французов, Анри де Ренье и даже Мериме, Толстой всегда больше «живописал», нежели разрешал, строил композиции, нежели мостил образами дорогу идей.

«Петр Первый» — наиболее суб'ективистское, «идеологическое» из написанного А. Толстым. Отсюда яркость романа, его внутренняя наполненность и вместе с тем слабость там, где слабы его установки, где гнилы стропилы идей. Так что же решает этим романом Толстой?

«Петр Первый» — роман, несколько отступающий от обыкновенных форм исторического романа, с его фабулистической последовательностью и сквозными героями. Это историческая хроника, литературный фильм (как я уже писал о нем), который можно назвать: Люди и нравы XVII века. Детство Петра и его приход к власти даны на широком «симфоническом» фоне эпохи. Древняя Русь развернута отдельными мастерски сделанными кадрами. Крестьянский двор того времени, помещичья экономия, боярская дума, царская семья, архангельский порт, крепостная фабрика, тюремный быт — все это изображено в отличной реалистической манере с основательным знанием материала. Толстой избегает какой-либо идеализации. И даже больше того. Мы встречаем в романе попытки материалистического об'яснения исторических событий. «Иноземцы, бывшие в Кремле, — пишет Толстой, — говорили с удивлением, что не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве или Стокгольму, — царский двор подобен более купеческой конторе. Ни галантного веселья, ни балов, ни игры, ни тонкого развлечения музыкой. Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низких и душных кремлевских покоях, что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи... Спорили и лаялись о ценах» (стр. 79). Таких примеров можно привести еще несколько. Участие купечества в Азовском походе, классовые и сословные интересы различных слоев населения Толстой часто отмечает и делает попытки связать их с канвой исторического и психологического повествования.

Автор хочет быть на уровне и современной исторической науки, то есть на уровне марксистского истолкования истории. Но удается ли ему это, мы сейчас увидим. Ярко, реалистически воспроизводя быт древней Руси, Толстой дает ложное об'яснение, не наше понимание сущности петровской эпохи, тех реформ и причин, которые эти реформы вызвали. Коротко говоря, Толстой сводит всю деятельность Петра к «европеизации Руси», к перетягиванию ее с феодально-помещичьей колеи на дорогу промышленного капитализма по европейскому типу. И чтобы отсюда понять внутренний строй Петра, его бешеный замах на гнилую, проклятую, ленивую Русь, Толстой усиливает контрасты страны, подчеркивает разность температур Запада и Востока. В фигуре Петра Толстой ищет художественного и психологического воплощения идей, к которым вплотную подошел его класс

в первые десятилетия нашего века. Культурная и экономическая отсталость России исчисляется столетиями. Но именно начало нашего века (и конец прошлого) было ознаменовано ускорением процесса капиталистической переделки первобытно-крестьянской, азиатски-отсталой страны в страну, покрытую сетью капиталистических производств. Именно в эти годы для буржуазии, вкусившей западных благ «цивилизации», рассейский дом показался особенно кострапатым, грязным, прямо-таки конфузным в приличном обществе европейских капиталистов. Всероссийское Зарядье какое-то! Рябушинские стали строить особняки «модерн», издавать журналы «модерн» и строить фабрики по последнему техническому образцу. Со стороны этой буржуазии тоже шла «критика» старой России. Ее можно вкратце сформулировать так: «Ох, и грязна ты, матушка, толстозада, да вонюча. Помыть, поскрести тебя надо, да скипидаром смазать, чтоб ходчей бегала. Ну, как я с такой страной жить буду. Ни в люди показаться нельзя. Да и стрелять не с чего. Разве что дух тяжелый пойдет».

По сути дела именно этими настроениями полон роман Толстого «Петр Первый». На антитезе Запада и Востока держится его главная историческая идея. На этой антитезе строится характер Петра. Психологически по Толстому Петр тем именно и отличался от современных ему русских правителей, что остро ощутил эти контрасты, опьянел Западом и, опьянев, взревел как человекообразная обезьяна, бросившись на «кондовую» крушить ее, мыть да причесывать. Вот каким, например, видится Запад Петру: «Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями, никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом — дубовые рощи, прямоугольники хлебов, за каменными изгородями — сады, среди зелени — черепичные крыши, голубятни. На полянах — красивые сытые коровы, блестят ульи в бережках; вековые дубы, водяные мельницы. Проедешь две-три версты — городок, — кирпичная островерхняя крыша ратуши, тихие чистенькие дома, потешная вывеска пивной, медный таз цирульника над дверью. Приветливо улыбающиеся люди в вязаных колпаках, коротких куртках, белых чулках... Старая добрая Германия» (стр. 343). «Парадиз» — что еще нужно человеку. И эта «милая жизнь», прелесть эта вошла в Петра, крепко занозила его сердце еще в Москве через Кукуй (Немецкую слободу), через посланцев этого диковинного мира, купцов и дипломатов, которые жили в дикой Москве такой особенной жизнью. И рядом с ней... Ярость вскипает в Петре, когда он видит Россию, своих — ленивых, неповоротных, хитрых и бездарных.

— «На ином дворе, в Москве, у нас просторнее, — замечает Петр, сравнивая заботливо обработанные поля в Голландии на клочках земли, отвоеванных у моря.—А взять метлу, да подмести двор, да огород посадить зело приятный и полезный — и в мыслях ни у кого нет... Строение валится, и то вы, дьяволы, с печи не слезете подпереть, — я вас знаю... До ветру лень сходить в приличное место, гадите прямо у порога... Отчего сие? Сидим на великих просторах и — нищие...» (стр. 352) И еще:

«Чорт привел родиться царем в такой стране. Вспомнилось, как осенней ночью он кричал Алексашке, захлебываясь ледяным ветром: «Лучше в Голландии подмастерьем быть, чем здесь царем» (стр. 263).

Картины «такой страны» даны в романе с истинным под'емом и силой. Кислые от крови пыточные избы, Шакловитый, юродивая тошная нищета, вонь непроезжей стоячей глуши — все это выпирает, кричит о себе, как бесноватый на паперти, хватает читателя за рукав: «Посмотрите, ужаснитесь, обратите внимание». Да и сам Петр — этот чудовищный верзила, что может, закусив губу, днями напролет строгать и пилить и что может, внезапно закипев, заблистав глазами, взорвавшись, рвать у живого мясо, окунаться с головой в спирт, Петр — всегда взведенный курок, человек-зверь, притихающий перед лицом «цивилизации» и страшный на просторе своего варварства, этот Петр — изображен Толстым в достаточной степени откровенно и без желания его идеализировать. Здесь другое. Поставив его на грани двух миров, Толстой наделил его положительной идеей романа, «социальным заказом» буржуазии — привести в порядок Россию. Отсюда и «приятие» Петра «несмотря ни на что». Да, Петр жесток. Он дикарь. Но он делает нужное дело. Это каленое железо, которым Россия сама лечит свои раны. Иначе и нельзя.

И вот в этом пункте мы явственно различаем, как автор сам для себя решает задачу «приятия» революции «несмотря на жестокость ее». В романе мы много найдем мест, намекающих на сходство или симметрию нашего времени с петровой эпохой. Они нигде не подчеркнуты и не выделены с присущим Толстому художественным тактом. Но в основных интонациях роман несомненно смыкается с сменовеховским «приятием» революции. Ведь Октябрьская революция на известных этапах решала и задачи буржуазно-демократического порядка, т. е. довершала то, что не удалось довершить либеральной буржуазии в условиях царской России. Эти буржуазно-демократические, устряловские надежды и иллюзии с развертыванием социалистического наступления потерпели крах, так как в задачу пролетарской революции входило вовсе не только «причесывание такой страны», но и коренное переустройство ее на принципиально новых началах.

В романе, как я сказал, мы найдем отзвуки сменовеховских настроений, следы внутренней борьбы за революцию, но в пределах буржуазного класса. Петр — переустройство России — тема не только долго выношенная Толстым, но и кровная тема его класса. Отсюда и особый тон романа. Он написан с большим под'емом и темпераментом, как пишут о кровных, близких вещах. История, вложенная в роман, в сущности есть «история» сегодняшних дней, сублимировавшаяся в образах, расположившихся на достаточно почтительном расстоянии от сегодняшнего дня. Верный и точ-

ный в отдельных бытовых картинах, роман в своей основной исторической концепции — целиком в русле буржуазной исторической науки и прежде всего Ключевского (ведь и Ключевский отнюдь не чуждался «реализма» в об'яснении исторических событий).

Корнелий Зелинский.

Петр Ширяев. — «Четверг Наташиной жизни». Избранные рассказы. Издательство «Федерация». Москва. 1931 г. Тираж 5 000. Стр. 208. Цена 1 р. 30 к.

С достаточной долей уверенности можно сказать, что из шести «избранных» рассказов Ширяева лучшим является «Освобожденные воды», но трудно решить, который из них хуже — настолько все они ненужны и нелепы.

Сборник называется «Четверг Наташиной жизни», и, повидимому, рассказ под таким названием и следует рассматривать как центральный, в нем именно отыскивается ключ к тем идеям и настроениям, которые должны сообщить всему сборнику органическое единство.

Что же это за идеи?

Наташа, увлеченная весной, молодостью и легкомыслием, приходит к необходимости сделать себе аборт. Этот акт совершается в четверг на квартире одной из подруг. И сама Наташа и особенно ее «благородный» и глубоко «нравственный» брат воспринимают это как позорную катастрофу. Перевезя Наташу домой, брат погружается в бездну безысходного отчаянья, которое отчасти разделяет и «преступная» сестра. Для спасенья и исправления «падшей», с целью некоего нравственного шока, брат приводит ночью к ней в комнату бульварную проститутку, которая раньше до первого аборта была такой же чистой, как Наташа, и которую — о символическая глубина совпадения — тоже зовут Наташей.

Проститутка, наделенная всеми полагающимися шаблонами (вплоть до реминесценций в духе гаршинской Надежды Николаевны), справедливо возмущается таким использованием не по назначению — в качестве «морального доказательства от противного» — и, оскорбленная в своей профессиональной гордости, уходит, предварительно выругавшись и отказавшись от навязываемой ей грешницы. Между братом и сестрой происходит потрясающая сцена, оканчивающаяся примирением. Задремав у себя в кресле, брат видит во сне мертвую Наташу. В «печальном восторге» он целует ее мертвый лоб и понимает, что «она не нашла для себя прощения» и что «эта смерть утверждает иную жизнь, в которой четверг наташиной жизни никогда не будет таким, каким он был здесь».

Он просыпается, в ужасе бросается к ее комнате, открывает после мучительных колебаний дверь... Что же он видит? «Наташа сидела на постели в кружевной белой кофточке и делала маникюр».

Эта идея о цинизме человека вообще, об его приспособляемости, нравственной забывчивости, или же — более специально — идея о ничтожности женщины лежит в основе многих образов пессимистической литературы. (Вспомним хотя бы в иных масштабах и иных совершенно тонах написанную, но по моральной ситуации анологичную «Четвергу Наташиной жизни» чеховскую «Попрыгунью».)

Стоило ли еще раз повторять эту пессимистическую идею в такой скудной и убогой, опошляющей идею форме, повторять отвлеченно, вне конкретного социального контекста, который дал бы ей хоть новое преломление.

Об отвлеченности идеи можно говорить потому, что если б не беглое упоминание о «тресте» и «Цветном бульваре», совершенно нельзя было бы установить, когда и где происходит рассказанное.

Автором не показан социальный смысл Наташиной забывчивости. Убогость и пошлость ее нравственного образа взяты им не как симптомы и характеристики определенной среды и класса, а как абстрактные психобиологические свойства женской натуры. Женщина способна легко забывать «четверги» — вот все, что мы находим в рассказе.

Эти же мысли проникают и другие рассказы.

Бесстыден и циничен провокатор Гудим из «Цикуты», у него семь «четвергов» на одной неделе, арест следует за арестом, предательство за предательством; он так подтасовывает факты, что подозрение падает на юношу — энтузиаста Николая, которого, по настоянию того же Гудима, партийный комитет решает убить. И в итоге всего этого — спокойный разговор по телефону и «странная улыбка».

Небрезгливость и приспособляемость человека, правда, в условиях экономического принуждения, должен иллюстрировать и рассказ «Оска», где герой за три франка в вечер ест в цирке по кусочкам живых ужей.

В «Домике под Парижем» порочность и ничтожность человеческой натуры попадают на конкретную почву: рассказ характеризует парижскую мелкобуржуазную семью эпохи мировой войны, ее лицемерие, мещанство, узость, благоговение перед золотом...

Поверхностность и легкость преодоления всяких «четвергов» во имя чинности и респектабельности подчеркивает конец рассказа.

Через день после похорон мужа, не выдержавшего пропажи золота, мадам Дюверже, из письма сына узнав, где найти это золото, спрятанное им ради шутки перед от'ездом на фронт, горько вздохнула и потом, ровно половина первого, «окинув зорким глазом хозяйки накрытый на двоих стол, подошла к лестнице, ведущей в мезанин (комната жильца) и, как всегда, ласково-громко позвала: «Мосье Этьен! Завтрак готов...»

Всей этой пошлости и подлости мужчин и женщин должны, повидимому, противостоять два остающиеся рассказа — «Коротенькая женщина» и «Освобожденные воды».

В морально «коротенькой» женщине проститутоидного типа Тусе, под влиянием поверхностного знакомства с революционером-большевиком, пробуждаются сильные чувства, и она независимо и гордо, хотя довольно наивно и по существу невинно, проклампрует перед бе-

лым офицером, разыскивающим скрывающегося большевика, свои неожиданно осознанные «красные» симпатии.

Сентиментальность этого рассказа, не гнушающаяся даже голубой туонной тесемочкой, «которая торчала у нее из-под кофточки и смешно дрыгала от готовых прорваться всхлипов», его полнейшая психологическая немотивированность ни в какой, разумеется, мере не искупаются его «красной» тенденцией.

Относительно лучше рассказ «Освобожденные воды». Встречаются в нем отдельные образы, свежие и непосредственные, просто и без мудрствований нарисованы Егор Петрович и Ленька,—чего нельзя сказать про Лизу, выдуманную и вымученную.

Весенний ледоход освобожденной реки аллегорически выражает—по замыслу рассказа—социальное освобождение, принесенное революцией. Все старое (в том числе, вероятно, и «четверги») смыто, и из-за леса выходит новое и прекрасное «багряное» солнце.

Таково то скудное идейное содержание, которое можно найти в сборнике и которое должно осмыслить и оправдать предложенные читателю «четверги».

Но не идеология существенна для автора: на первом плане — психологические и иные трюки, образующие пружину рассказов.

Вся эта система «обратных развязок» немного напоминает стиль Генри, но лишена остроумия и, главное, беспретенциозной легкости последнего.

Герои рассказов Ширяева психологически неубедительны, бледны и схематичны. Поэтому ни Гудим, ни Наташа, ни Туся не потрясают и не волнуют читателя. Вся философия «четвергов» и им противополагаемых «Освобожденных вод» проходит мимо.

Язык безличный и несмотря на отдельные удачные штрихи (например, в изображении сыщика Шарбона) только-только посредственный, с некоторым тяготением к «страшным, необычайным драмам», «печальным восторгам» и «голубым тесемочкам».

Что же остается от книги?

Ненужный осадок пустых и дешевых эффектов, кое-где сентиментальность, кое-где мелодрама, попытка на сатиру, несколько для приличия выведенных «большевиков», философическая пошлость и недоумение.

«Четверг Наташиной жизни» — товар, рассчитанный на мещанского потребителя.

Б. А.

Василий Трушков. — «Кадры». Роман. ГИХЛ. 1931 г. Стр. 164. Цена 1 р. 50 к. в переплете.

Книга неудачная, начиная с самого заголовка. Открывая ее, думаешь, что в ней ставится проблема подготовки кадров, так необходимых нашей стране, особенно сейчас, в период третьего, решающего года пятилетки. Но ничего подобного нет. Это просто очередная пошлятина о пролетарском студенчестве.

Во-первых, по своей композиции книга ничего общего с романом не имеет. Это просто неудачная хроника из жизни студенческого общежития. Автор таскает своих героев по страницам книги против их желания и наперекор логике развития сюжета. Некоторых он, вообще, теряет в процессе работы и они до конца книги не появляются на горизонте «романа». Другие вдруг неожиданно, совершенно ни к чему, всплывают на поверхность повествования и так же неожиданно скрываются.

Герои у Василия Трушкова бесчувственны и просто лишены внутренней жизни. Пьют, едят (особенно пьют) и рассуждают как говорящие манекены.

Книга не ставит и не решает никаких проблем. Она поверхностно, без всякой целевой установки зарисовывает студенческий быт, в котором ничего кроме индивидуальных и коллективных попоек автор не видит. Описываемые сцены тоже лишены всякого оживления. Только в эротических местах автор старается воспрянуть духом и с мельчайшими подробностями обслюнивает каждую сценку.

Обостренная классовая борьба, происходящая в вузах, в «романе» старательно затушевывается. А если она и есть, то проявляется лишь в антисемитских надписях на стенах уборных.

Из вузовской практики мы знаем, что вылазка классового врага, группировавшегося вокруг реакционной профессуры, имела не такие наивные формы, в которые облекает ее автор «романа». Мы знаем, что нередко эти вылазки кончались трагической смертью наиболее активных борцов против классового врага.

Аполитичность книги, ее упор на сексуальные моменты, литературная бесценность и перепевы мотивов, набивших оскомину советскому читателю, вызывают вполне заслуженное недоумение о людях, редактировавших эту книгу. *Эта бездарная книжица, с литературной точки зрения, и вредная — с идеологической, издается в д е с я т и т ы с я ч а х экземпляров.* Это можно об'яснить только полной политической близорукостью или тщательно замаскированным вредительством на нашем идеологическом фронте.

В. Борахвостов.

Г. Круссер. — Сибирские областники. — Новосибирск. ОГИЗ. Запсиботделение. 1931 г. Тираж 3000 экз. Стр. 106. Цена 1 р. 20 к.

Возникнув в начале шестидесятых годов XIX столетия, связанное с именами Потанина, Ядринцева, Шашкова и Щапова, сибирское областничество, никогда не выходившее за пределы узкого круга сибирской мелкобуржуазной интеллигенции, в свое время пользовалось репутацией революционного течения. Однако отсутствие четко, ясно формулированной программы и плана действий, расплывчатость основных установок, — с одной стороны, отсутствие достаточной для реализации идеи сибирских сепаратистов социально-экономической базы в Сибири, немногочисленность самых сторонников и носителей этой идеи — с другой, — делало их неопасными для самодержавия и

придавало их «революционности» довольно рафинированный характер.

Вначале не на шутку встревоженное двумя найденными в Омске и Иркутске рукописными прокламациями областников, царское правительство скоро успокоилось, так как из допросов задержанных и арестованных по этому делу Потанина, Ядринцева и Шашкова следователи и жандармы могли сделать заключение, что в данном случае им приходится иметь дело не столько с революцией, сколько с мелкобуржуазною фрондой. Вполне естественно поэтому, что и репрессии, наложенные на провинившихся, отличались относительной мягкостью, «в меру содеянного».

Дальнейший рост и развитие революционного движения в Европейской России и относительно пассивная роль сибирских сепаратистов на протяжении всего нашего исторического революционного процесса отвлекли внимание правительства к действительным проявлениям настоящей революционной грозы, разгоравшейся на западе, в индустриальных центрах Европейской России, а сибирские областники были оставлены на подножном корму полулегальной оппозиции, под легким надзором местных сибирских сатрапов.

Жандармы не ошиблись: на протяжении всей своей деятельности и во время трех революций сибирские областники показали себя ярыми сторонниками буржуазных тенденций: растерявшись в 1905 году, они, захлебываясь от радости, приветствовали учредительное собрание во время Февральской революции и злобно рычали в Октябре 1917 года. Если до февраля 17 года сибирские областники еще драпировались кое-как в обветшавшую тогу буржуазной демократии, то после крушения керенщины и особенно после ликвидации всяких надежд на всероссийскую учредилку они быстро скатились в лагерь самой откровенной контрреволюции, бросившись в об'ятья правоэсеровских организаций, носивших тогда уже вполне выявленный махрово-кулацкий контрреволюционный характер. Эсеры попытались воспользоваться «политическим капитальцем» бесхребетного сибирского областничества и при помощи мелкобуржуазных политических недоумков создали пресловутую Сибоблдуму (Сибирскую областную думу). Но Сибоблдума оказалась мыльным пузырем, лопнувшим под первыми же ударами более сильных контрреволюционных организаций, представляемых военщиной, казачеством и чехо-словацкой интервенцией, поддержанной Антантой и «возглавленной» впоследствии «верховным правителем».

История Сибоблдумы показала всю ничтожность политического значения и веса сибирского областничества. Оказавшись на положении неутешной вдовы, сибирские областники, после разгрома Сибоблдумы, бросились в об'ятия сибирской буржуазии и вместе с нею стали под знамя кровавого адмирала.

Уже одно то обстоятельство, что сибирские областники тесно связали последние дни своего политического бытия с судьбою колчаковщины, вполне и до конца раскрывает внутреннюю природу областнического течения, как течения буржуазного. После Октябрьской революции сибирские областники открыто перешли в лагерь самой черной оголтелой контрреволюции, тесно связавшись с эсерами, которые инспирировали областников, мобилизуя их против большевизма и пролетарской революции. Мы имеем все данные утверждать, что областники не за страх, а за совесть помогали контрреволюции. Престарелый вождь областников, полуослепший и оглохший Потанин в воззвании от 20 июня 1919 года писал:

> «К оружию граждане! Банды большевистские у ворот. Нет, они уже сломали ворота, озверевшие, озлобленные, беспощадные, в крови и огне, ворвались в родную Сибирь!»

Призывая всех способных носить оружие стать под знамена догнивающей колчаковщины, патриотический старичок предлагал и себя в качестве заложника:

> «Если мои немощи делают меня непригодным для активной работы, я готов отдать себя в заложники, чтобы освободить более сильных, более нужных людей родине».

Однако до сих пор, несмотря на столь ярко выраженную контрреволюционную сущность сибирского областничества,— непонимание его роли и недопустимая идеализация областничества еще встречаются иногда в литературных трудах и «исследованиях» некоторых современных авторов, пишущих о Сибири. При наличии таких вылазок апологетов сибирского областничества, как выступление С. Бахрушина с его книгой «Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII в.в.», где он «успехи сибирского самосознания» ассимилирует с успехами сибирского областничества, — вышедшая недавно в Новосибирске, в издании ОГИЗ'а, книга т. Г. В. Круссера «Сибирские областники» приобретает особое значение и политическую ценность.

Помимо общей, совершенно правильной, марксистской трактовки вопроса о сибирских областниках, Круссер раскрывает несколько новых страниц в истории возникновения сибирского областничества.

До сих, пор, например, почти ничего не было известно о роли провокатора дворянина Люцинского в деле сибирских областников, равно как и о показаниях арестанта Лебедева. Между тем из показаний Люцинского, который был «подсажен» к областникам в качестве арестованного, видно, что единомышленники Потанина очень упрекали его и Усова за то, что они, особенно Потанин, открыли следственной комиссии всех участников и даже всех мало причастных к этому делу лиц. Это говорит, конечно, не в пользу Потанина. И совершенно прав Круссер, об'являя факт выдачи Потаниным своих единомышленников надеждой последнего на помилование, или известной душевной растерянностью.

Значительная часть работы Круссера посвящена исследованию социально-экономических

предпосылок, обусловивших возникновение сибирского областничества. Много интересных и совершенно новых сведений читатель найдет в главе «Сибирские туземцы XIX века и русская колонизация». Раскрывая, на основании приводимых в книге новых ценнейших материалов, тяжелое прошлое Сибири во время царизма, показывая печальную картину чудовищной эксплоатации сибирских туземцев русскими хищниками, Круссер указывает, между прочим, на неверную и вредную областническую ориентировку, усвоенную некоторыми современными авторами новых учебников по этнографии Сибири. Так, например, в книге «Население сибирского края» авторы Шнейдер и Доброва-Ядринцева пишут: «в то время, как за Уралом беспрерывно царил помещичий, полицейский и церковный гнет, здесь, в Сибири, помещиков не было, администрация была немногочисленная, а дальность расстояний городских центров XVII и XVIII вв. и даже первой половины XIX века от сельских поселений — в значительной мере аннулировала для них влияние административного гнета». И далее: «Сибирь очень мало ощущала и церковный гнет». Откуда взяты эти картинки? Мы знаем факты, опровергающие это, и не знаем фактов, подтверждающих этот вредный, типично областнический вымысел. «Домыслы» областников, несмотря на наличие в книгах «общего руководства», упорно просачиваются в печать и создают из Сибири какое-то социально-экономическое эльдорадо в прошлом.

Вышеприведенные факты говорят за необходимость самого беспощадного критического подхода к весьма живучим областническим тенденциям, к сожалению, еще находящим себе путь даже в советскую книгу.

Вскрывая социально-экономические корни сибирского областничества, Круссер говорит, что оно «всегда контактировалось с буржуазией и, прекрасно понимая и сочувствуя ее задачам, прибегало к явной апологетике своей тактики, украшая ее иногда даже марксистской травкой. Выступив в 60-е годы XIX столетия, как паладины сибирского капитала, областники донесли свое знамя до колчаковщины, покорно сложив его к ногам «черного адмирала».

Под «марксистской травкой» автор имеет в виду марксистскую фразеровку некоторых писем Ядринцева, «которая ни в коем случае не отражала действительных взглядов автора». Эта фразеровка очевидно была того же порядка, как и пресловутый «мальчишеский задор», от которого Ядринцев так же легко освободился, как и от идеи превращения Сибири в республику.

В заключение мы должны сказать, что Круссер сделал большое и весьма нужное дело, шаг за шагом развернув эволюцию идеи сибирского областничества, показав его классовую буржуазную природу на всех этапах исторического процесса и обосновав все это подлинными, в большинстве случаев впервые опубликованными, документами.

Н. Феоктистов.

Эгон Эрвин Киш имеет честь представить вам американский рай. Автор. перевод с немецкого А. Арнан. ГИХЛ. 1931. Стр. 400. Цена 3 р. 5 к. в переплете.

Очерки об «американском рае» относятся к периоду, когда еще САСШ не были сжаты в смертельные тиски промышленного кризиса. В книге описывается Америка 1928 года, но это ничуть не снижает ценности очерков, правда, различных по своему качеству. Эгон Киш тогда уже улавливал начинающийся «душок» загнивающего «демократического рая». Экономика уже предсказывала глубокий промышленный кризис, грозящий захватить в свои когти «страну благоденствия». Американской буржуазии больше ничего не оставалось, как только найти человека, который бы смог своим руководством вывести страну из полосы кризисов и спасти капиталистическую собственность, уже не сдерживающую бурный рост производительных сил. Таким человеком оказался Гувер, выбросивший вымпел с известным английским словечком prosperity (процветание). Американская буржуазия накинулась на его кандидатуру, способную при занятии места президента Америки путем «планомерного преодоления кризисов» вывести страну из экономического развала. Но железные законы мировой экономики, несмотря на «волшебство» Гувера, привели страну к тому, что мы наблюдаем сейчас в Америке. Это падение курсов на биржах, сокращение внешней торговли (чему еще значительно содействует повышение пошлин в Канаде, в результате которых экспорт САСШ в Канаду сократился на 60%). Плюс ко всему этому миллионная армия безработных.

Эгон Эрвин Киш в своей книге остро подметил отрицательные стороны САСШ, благодаря чему «американский рай» вывернулся наизнанку и все увидели его скрытую сторону, замаскированную блестящими рекламами и мишурным блеском.

Принципы «широкой демократии», которыми американцы хвалятся перед всеми странами, соблюдаются очень тщательно. «Демократия американского рая» проявляется, начиная с пароходных уборных (!). Например, на уборных первого класса, предназначенного для состоятельных прослоек, висят великолепные вывески с надписями Gentlemen's lavatory (уборная для джентльменов) и ladies lavatory (уборная для леди). А в третьем классе, где ездят преимущественно бедняки, написано просто: For men (для мужчин), For women (для женщин). Даже в таких, казалось бы, мелочах соблюдается классовое различие в «демократическом раю».

Начиная с пароходных уборных и кончая Белым Домом, это библейское деление на «чистых» и «нечистых» тщательно блюдется. Эгон Киш в своих очерках остро подмечает замаскированность демократии и преподносит ее читателю освобожденную от маскарадного костюма и не прикрытую звонкими фразами о равноправии. Перед читателем проходят картины безобразных условий, в которых протекает работа портовых грузчиков. «Рабочие еще

с вечера собрались сюда (к прибывшему пароходу. — В. Б.), чтобы наняться на работы. Сегодня они ждут начала их. Приходит администратор, босс, подает сигнал свистком и начинает перекличку номеров. Рядом с ним — агент профессионального союза: он следит за тем, чтобы только члены союза, с голубыми значками на шапках, проникали через ворота пристани на пароход. Некоторые номера не вызваны. Они уходят с проклятием на губах».

Эгон Киш в том же духе описывает «быстрый и праведный» суд, капиталистические застенки, где узников кормят тухлым мясом, которого никто из заключенных не ест. Сотни бездомных бродят по городу и стоят длинными очередями у дверей ночлежных домов в ожидании, «пока» отоспит свое время «первая очередь. Каждые шесть часов идет высыпаться следующая партия бездомных».

Таким показан «земной Эдем». Рамки рецензии не дают возможности показать, насколько каждый втом «американского рая» пропитан убийственным издевательством над рабочим классом, над его «политическим равноправием» и «широкой демократией».

Очерки написаны довольно живо и читаются с большим интересом.

В. Борохвостов.

Травен. Сборщики хлопка. Перевод с немецкого Э. Грейнер-Гекк. Государственное издательство художественной литературы. Москва-Ленинград 1931 г. Стр. 192. Цена 1 р. 40 к.

До сих пор еще не изжиты романтические и экзотические представления о республиках Центральной и Южной Америки, обязательно связанные с ковбоями, гаучесами, дикими индейцами и т. п. — одним словом, со всем ассортиментом, заимствованным из романов Густава Эмара и Майн-Рида. Редким исключением являются переводы таких ярких и насыщенных произведений, как небольшая книжка Дж. Рида о революционой Мексике, как-то очень быстро промелькнувшая на нашем книжном рынке. Между тем, республики Латинской Америки, где происходят любопытные социальные процессы, заслуживают пристального внимания.

Можно вполне приветствовать появление перевода книги Б. Травена «Сборщики хлопка», трактующей о жизни рабочих в современной Мексике. Автор, уже знакомый советскому читателю по переведенному на русский язык роману «Корабль смерти», дает в своей новой вещи простое и безыскусственное описание «дел и дней» рядового трудящегося, в поисках скудного заработка, переходящего от одной изнурительной работы к другой. Рассказ ведется от первого лица, изобилует целым рядом весьма примечательных бытовых подробностей. Очень интересно описание работ на хлопковых плантациях, где за грошевую оплату приходится выполнять, буквально, каторжные работы с раннего утра и до вечера. Сильное впечатление производят страницы, посвященные описанию будничного обихода во время этих работ — безобразнейших условий жилья (герой повествования поселился в подвале, где занимаемую жилплощадь ему приходилось делить со змеями и ящерицами), крайней скудности пропитания, почти нищенского существования. Не плохо зачерчены типы отдельных рабочих — сборщиков хлопка. Жутью веет от описания «дуэли ацтеков» — дикого пережитка варварских времен, когда человеческая жизнь оценивалась в двадцать песет.

Весьма любопытна и вторая часть книги Травена, где действие разворачивается в небольшом провинциальном городке, типичном мексиканском захолустьи. Здесь описываются условия работы в кафе и пекарне. Очень ярко зарисованы здесь портреты хозяина и хозяйки предприятия — достойной четы самых беспардонных эксплоататоров. Живо и образно воспроизведены эпизоды забастовки кельнеров кафе, приведшей в конечном счете к капитуляции владельца заведения. Правда, здесь автор увлекается внешней, казовой стороной, во всех подробностях описывая боевые действия враждующим сторон, проводимые с чисто южным темпераментом. Далеко, однако, не все забастовки заканчиваются так идиллически. Вполне прав т. Пестковский, который в предисловии к книге Травена предостерегает против такого упрощенного взгляда, указывая, что на крупных промышленных предприятиях забастонки подавляются самыми жестокими мерами. Да и по маленькому провинциальному городку нельзя судить о деятельности профсоюзов в целом; если в данном случае результаты были положительными, то сплошь и рядом мексиканская профсоюзная бюрократия покорно раболепствует перед правительством и американским капиталом.

Жизнь трудящихся в кромечном захолустном городишке описана Травеном весьма красочно. Ярко воспроизведены и тяжелые условия утомительных работ, и незамысловатые увеселения, и пребывание на безработном положении в омерзительных гостиницах-ночлежках. В последних главах книги герой рассказа, бросивший занятие сборщика хлопка, фигурирует в качестве гуртовщика, с успехом руководящего переправой большого стада. Весьма занимательны все перипетии чуть ли не донсторических способов этого перегона, с неизбежными в мексиканских условиях столкновениями с бандитами.

В общем книга Травена, не претендующая на какое-либо целостное воспроизведение мексиканской жизни наших дней, представляет собой ряд интересных и запоминающихся очерков, чуждых какой-либо надуманности и фальшивой романтики. Перевод удовлетворителен. Неприятно лишь звучит передача речи китайца: «Доблое утло, синьолы, джентельмены. Я хотел у вас сплосить дологу» (стр. 8). Совершенно непонятно, зачем применяется этот жаргон китайского прачечника из «Зойкиной квартиры».

И. Бороздин.

Ис. Гольдберг. — Поэма о фарфоровой чашке. «Федерация». М. 1931 г. Стр. 364. Тир. 5070. Цена 2 р. 40 к.

Среди большого количества произведений, трактующих темы производства и быта, книга Гольдберга выгодно отличается той своей особенностью, что в ней производство и быт органически связаны, и как бы само собой, естественно, — производственным изменениям сопутствует преобразование быта. Социальная реконструкция вырисовывается с большой многогранностью: столкновение планирования центра с живой инициативой рабочих, «деревенский идиотизм», злобно сопротивляющийся успехам строительства, роль коллектива в создании независимого положения женщины и т. д.

Главное действующее лицо — хрупкая и нежная фарфоровая «чашка с голубой каймой, как кусочек неба прилипшего к фарфору». За ее прочность и красоту борется фабрика. И на фоне этой борьбы автор, скупыми, немногими словами, дает картины перерождения отсталой части рабочих и энтузиастов, уродливости старого быта, нарождения новых форм его, социализирующее влияние фабрики на деревню.

Сдержанность, некоторый холодок и кажущийся «об'ективизм» автора и контрастирующие с ними глубокие, острые и значительные в своей обыденности ситуации — драма деревенской девушки Степаниды, попытка ее на самоубийство, срыв старой плотины, угрожающий всей новостройке, поджог фабрики кулаками — делают книгу волнующей и напряженной.

Еще одной из отличительных черт «Поэмы о фарфоровой чашке» является отсутствие стержневого образа — традиционного «героя». Все действующие лица как бы равнозначны в сложном производственном комплексе. Показом героев в действии автор держит читателя в напряжении, заставляет его активно участвовать в развертывающейся борьбе.

Образ старика — рабочего Поликанова — один из наиболее ярких. Умный, с крутым нравом, сначала больше всех отстаивающий старое, он понемногу, присматриваясь, разбираясь, — убеждается в необходимости новостройки — идет навстречу всем мероприятиям фабрики по поднятию производительности труда, робко и несмело вносит рационализаторское предложение и, наконец, при разборе дела вредителя — старого мастера — он вместе со всем активом, резко и решительно выступает против него. Так же ярко, тонкими штрихами, очерчен оппортунистический предфабкома, — типичный «как бы чего не вышло», делающий все «по порядку, по плану, а не сгоряча». «Ему было привычней, чтоб все текло и развивалось спокойно и ровно... он знал, что надо своевременно составлять разные отчетные ведомости, иной раз вести по какому-нибудь частному случаю переговоры с администрацией, вольготно, не спеша, разрешать все вопросы на регулярных заседаниях фабкома». Он оказывается всегда в стороне, в хвосте, — и тогда, когда утопилась девушка, попавшая, как ей казалось, в безвыходное положение, и тогда, когда был организован смотр работы фабрики.

Образы красного и технического директоров, особенно образ последнего получились значительно слабее. Оба — энтузиасты, неутомимые упорные борцы, но одному — партизану и революционеру везет в личной жизни, а другому — спецу и интеллигенту — не везет. Они любят одну и ту же девушку, и она становится женой первого. Техдиректор бросает любимую работу и уезжает. И вот эта власть личной неудачи над сильным и настойчивым человеком, — незакономерна, не вытекает из его характера, из его образа действий. Также несколько фальшив образ простоватого художника Никулина. Положительные образы — Поливанов, Широких, Федосья — удались автору значительно лучше, чем отрицательные — Василий, Карпов, Афанасий Мироныч, — обычно бывает наоборот.

Автор не бьет на эффекты, и повествование идет спокойно и ровно, тем не менее сцены изгнания женщинами отца Степаниды, пришедшего за провинившейся дочерью, пожара, собрания о вредительстве ярки и остаются в памяти.

В соответствии с общим сдержанным стилем романа и язык его ровный, спокойный и гладкий. Но описывая чашку, обычно сдержанный автор становится лиричен: «Из-под проворных рук, из-под ловких пальцев возникают хрупкие формы. Сырые и нежные они длинными стройными рядами вытягиваются на досках. Они окружают работающих в молчании людей. Они господствуют повсюду, над всем... А назавтра, вынутые из печки яркие белые фарфоровые чашки, тарелки, чайники, блюда попадут в другой корпус, к другим рабочим, в другие руки. И нежные тонкие кисточки распишут на белых и чистых чашках... нехитрые, но яркие узоры. Невиданные цветы расцветут на белом фарфоре».

Пролог и эпилог заключают роман в строгую рамку сказа о монголе в степи, для которого (на экспорт!) будет готовить фабрика «чашку с голубой каймой, как кусочек неба, прилипшего к фарфору».

Е. Таратута.

Что вы знаете о Сибири? — Очерки о Кузнецкстрое, Коксострое, Сибкомбайне, совхозах, колхозах. ОГИЗ. Запсиботделение. 1931 год. стр. 140. Тир. 5000 экз. Цена 1 руб. 50 коп.

Что вы знаете о Сибири? На этот вопрос по мере сил и умения на протяжении 140 страниц в девяти очерках отвечают шесть очеркистов. И нужно им отдать должное: почти все они располагают интересным и достаточно обильным материалом о том грандиозном строительстве, которое в течение двух-трех лет совершенно преобразило, изменило до неузнаваемости многие уголки Западной Сибири, причем во всех этих очерках показано начало того гигантского планового строительства, которое к концу пятилетки превратит Сибирь в страну социалистической индустрии и коллективизированного сельского хозяйства.

Очеркисты рассказывают, что уже сделано и как идут дальнейшие работы по линии осуществления грандиозного плана превращения Сибири каторжной в Сибирь социалистическую.

П. Стрижков описывает строительство Кузнецкого металлургического гиганта и рассказывает о заводе черного металла, о возникающих на вчерашних пустошах грандиозных домнах и мартенах, попутно говорит об исчезающих под напором новой жизни старых сибирских деревнях. Знакомясь со строительством завода черного металла, читатель получает сведения о самом процессе производства и о тех людях, которые завод строят. В рассказе у него дано несколько интересных фигур — героев будней великого строительства. Показана переделка человека под влиянием большого рабочего коллектива, сознательно строящего новую жизнь и знающего свою дорогу.

В другом очерке, о кемеровском коксе, показывая старый, уже работающий завод, знакомя читателя с процессом производства кокса и со всеми таинствами превращения отходов каменного угля в нашатырный спирт, туол, антрацен, нафталин, светильный газ, бензол. В этом очерке достаточно хорошо определен удельный вес строящегося Камеровского завода в деле разрешения Урало-Кузнецкой проблемы.

В очерке «Второй гигант» М. Никитин пишет о знаменитом в Сибири Черлакском зерносовхозе. Среди зерновых фабрик нашего Союза он занимает второе место. Черлаковский зерносовхоз — это земельный массив в 99 тысяч га. Никитин рассказывает об освоении огромного степного пространства в течение одного года, о сплошном пшеничном море, о работе комбайнов и «Катер-пиллеров», о людях, которые, выполняя волю рабочего класса, под руководством партии, преодолевают препятствия, перед которыми спасовала бы напористость самых настойчивых капиталистов. Такие масштабы капиталистическому миру не по плечу и не под силу.

Другой очерк М. Никитина о развитии сибирского животноводства. После небольшой диверсии в область истории возникновения культурного овцеводства в Сибири, автор рассказывает о жизни Марьяновского совхоза «Овцевод». Перед вами проходит своеобразная жизнь хуторов, отары овец, фигуры чабанов, перспективы развития овцеводства, цифры шерстяной пятилетки. Очерк написан живо, читается легко, несмотря на обилие цифрового материала.

А Коптелов в очерке «Рапорт колхозных полей» говорит о «днях и трудах» одного из крупнейших алтайских колхозов. Автор близко знаком с этой жизнью, он, очевидно, соприкасался непосредственно с колхозным строительством и с колхозниками в течение довольно долгого времени, иначе он не мог так досконально познакомиться со всеми особенностями и трудностями развития колхозного движения в Сибири. Ценность этого очерка в том, что он, не ограничиваясь описанием положительной роли колхоза, говорит о том, что мешает его дальнейшему росту, что стоит препятствием на пути к дальнейшему развитию колхозного движения вообще в сибирской деревне.

Очерк М. Мишле «На лесах комбайнстроя» — самое слабое место всей книжки. Сюжетно-бедный, плохо насыщенный материалом очерк испорчен еще излишней литературщиной. Обидно, что при политически правильных установках, автор не совладал с материалом, а местами сам испортил его. К чему, например, стилизация рассказа рабочего «под Зощенку» и вся эта совершенно ненужная и лживая система «последних слов»? Комбайн у него — «канбан», пиджак — «спинжак». «Ну, конечно, ничего я ему тут не показал, а только стал сурьезней» и т. д.

Об организации пригородных хозяйств — огородном и молочном — убедительно и просто рассказывает в очерке «Зеленый комбинат» Н. Добычин. Комбинат этот расположен на левом берегу Оби, против Новосибирска. Назначение его — кормить доброкачественными овощами и поить хорошим, здоровым молоком западно-сибирскую столицу. Организация этого комбината прошла довольно быстро и удачно, а судя по последним сведениям теперь он разросся и весьма успешно выполняет возложенные на него обязанности.

Остается сказать еще несколько слов об очерках Л. Мартынова «Фабрика мяса» и «Степные коммуны». Тема первого очерка — животноводческий совхоз «Скотовод». Очерк дает представление о том, что делается для развития скотоводства в Сибири, какие трудности и препятствия встречаются на этом пути, какую роль играют всевозможные скептики, а попросту оппортунисты, опасающиеся, «как бы чего не вышло», как развертывается классовая борьба на почве ломки старых устоев.

Заканчивается книга очерком Л. Мартынова «Степные коммуны». Это самый эклектический очерк в книге. Здесь автор только слегка задевает несколько больших вопросов, не находящих в очерке необходимого разрешения. В последней главе «Люди и запахи» он рассказывает о знаменитом Комиссаровском саде. Комиссаров — это сибирский Мичурин. В 30 верстах от Омска, вверх по Иртышу, лет сорок тому назад, Комиссаров посадил большой сад, в котором вызревали всевозможных сортов яблоки, ягоды и цветы. Многие из них произрастают и поныне. Комиссаров умер в 1921 году уже глубоким стариком, но сад его остался, остались и выведенные им в Сибири культуры морозоустойчивых сортов яблонь и груш. Сад Комиссарова теперь в ведении одной из степных коммун, о чем только вскользь упоминает Мартынов. А между тем это большой самостоятельный и весьма интересный вопрос. Возможно, и даже наверное, И. В. Мичурин знал Комиссарова, потому что, насколько нам известно, Комиссаров в свое время переписывался со всеми выдающимися садоводами России. Мартынов прошел мимо этого вопроса, полагая очевидно, что это уже вчерашний день Сибири и сегодня говорить о нем не стоит.

Книга очерков в общем оставляет хорошее впечатление. Опыт выпуска таких книг следует признать вполне целесообразным, но в то же время нельзя не пожелать, чтобы сроки выпуска их были максимально ускорены, иначе они не смогут выполнять своего назначения, отставая от жизни и от темпов нашего строительства.

Н. Феоктистов.

СОДЕРЖАНИЕ

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Издатель: Государственное издательство художественной литературы